

Алексей ГРИГОРЕНКО

КОСТЬ РАЗДОРА

Малороссийские хроники

Исторический роман

ОТКУДА ПОШЛА УКРАИНА

Предупреждение редакции к «Малороссийским хроникам» Алексея Григоренко

Если вы хотите знать и понимать, что такое Украина и откуда она пошла, для такого знания и понимания будет мало даже родиться и вырасти на Украине. Вам потребуется для начала загрузить в сознание историю Украины из первоисточников и классических исторических трудов, а не из пересказов и интерпретаций истории идеологического, псевдополитического, мифологического, сказочного, басенного и прочего подобного свойства. Но и требуемого базового знания истории, будь вы хоть украинец, хоть русский, хоть американец, будет мало, если вы взыскуете исчерпывающего ответа на вопрос: что такое Украина и откуда она пошла? Это тот случай, когда весьма существенно проясняет дело художественная литература высокого качества, такая как предлагаемое вниманию читателей «Невского проспекта» эпическое полотно Алексея Григоренко под названием «Кость раздора» и с подзаголовком «Малороссийские хроники».

Автор убедительно и достоверно воссоздал в художественном слове выбранную им, по какой-то своей причине, историческую эпоху, а именно эпоху появления и формирования прелюбопытного исторического субъекта по имени Запорожская Сечь. Даже среди профессиональных историков мало кто может внятно объяснить, как вообще могла возникнуть та Сечь и что она собой представляла как живое историческое образование, воплощавшее в себе народный дух, будучи плотью от плоти народа, и ставшее, едва возникнув, живейшим участником большой истории, творящейся как судьба народов и национальных государств.

«Кость раздора» — это сказание о 2-й казацкой войне, занимающей свое место в череде войн между Запорожским войском и Речью Посполитой, охватывавшей тогда в своем составе Украину (до Днепра) и Белоруссию. Не помешает напомнить несколько исторических деталей фундаментального значения, в свете которых должна логически правильно восприниматься «Кость раздора», а коль скоро они прописаны во всех дельных учебных пособиях по русской истории, будет достаточно упомянуть о них предельно лаконично одним абзацем.

Спустя полвека после событий, художественно воссозданных нашим автором в его «Малороссийских хрониках», произошла Переяславская рада (1654), описываемая исторической наукой в русле крупномасштабных исторических процессов в таких терминах, как воссоединение Руси или воссоединение Украины с Россией, каковое воссоединение оставалось живой исторической реальностью три с половиной столетия, считая до распада СССР. Сие общее историческое бытие имеет корневой платформой Киевскую Русь, на базе которой в XII веке возникла Владимиро-Суздальская Русь с центром сначала в Суздале и вскоре во Владимире. Исторические пути Украины и России разошлись вряд ли тогда, когда образовались два центра Руси в Киеве и во Владимире. Развела нас на несколько веков наша общая историческая катастрофа, состоявшая в падении Руси под Орду в момент Батыева нашествия на Владимирскую Русь (1237-38), вслед за чем вся Русь, кроме Галицко-Волынского княжества, надолго стала, что называется, данническим

придатком мировой Монгольской империи, а точнее, улуса Джучи, именуемого на Руси Золотой Ордой. Самое сильное разорение от удара Орды по Руси претерпела Киевщина, имевшая в XII-XIII вв. многоговорящее самоназвание: Русская земля. Спустя века это второе имя Киевщины трансформировалось в Малороссию, а ближе к нашим дням — в Украину. После визита Батые в Киев (1240) цветущая Киевщина, эпицентр древнерусской цивилизации, развивавшейся в ногу или почти в ногу с остальной средневековой Европой, погрузилась в так называемые «темные времена», характеризующиеся минимумом исторических сведений о том, что в них вообще происходило. Историческая тьма на Украине рассеялась, когда Золотую Орду сотрясла Великая замятня, воспользовавшись чем, великий князь Литовский Ольгерд отторг Украину от Орды по результату битвы на Синих водах (1362): возникло Киевское княжество в составе Великого княжества Литовского плюс к Белой Руси, составлявшей этническое и цивилизационное ядро оногo. В момент династического объединения Польской короны и Великого княжества Литовского (1386) под скипетром Ягайло, рожденного Ульяной Тверской, Киевское княжество вошло в состав мощного государства Ягеллонов, владычествовавших в Восточной Европе два века: 1386-1572. Исторической наследницей двухвекового государства Ягеллонов является двухвековая Речь Посполитая (1569-1795), исчезнувшая в результате разделов Польши между Россией, Пруссией и Австрийской империей, а точнее говоря, Польшу расчленили три правящие династии: Гольштейн-Готторп-Романовы, Гогенцоллерны и Габсбурги-Лотарингские.

Напомненных в предыдущем длинном абзаце исторических подробностей будет достаточно для того, чтобы теперь сфокусировать мысленный взгляд на историческом моменте явления на авансцене общерусской истории колоритной исторической фигуры по имени запорожский казак (или козак, в транскрипции, предпочитаемой автором «Малороссийских хроник»). Запорожский казак — это тот, кто делал нашу общую, русскую и украинскую, историю на историческом юго-западе Руси в первой половине XVII века: 1595-1654, считая от вековой 2-й казацкой войны, воссозданной Алексеем Григоренко в «Малороссийских хрониках», до вековой Переяславской рады. Запорожский казак — это главный персонаж и вполне эпический герой публикуемого произведения.

«Кость раздора» — тяжеловесная конструкция, требующая от читателя ответственного труда, как и всякая дельная книга, касающаяся фундаментальных вещей и ухватывающая их самую суть, тем самым принципиально дистанцируясь от всякого рода занимательных рассказней на исторические темы на конвейерах масскульта и от софистического ля-ля-ля, имея в виду всякую-разную псевдофилософию и псевдопублицистику на тему истории, не считая лженауки вроде той, что попадает кое-где в школьные учебники. Если вы хотите понять, что такое Украина и откуда она пошла, такая книга, как «Кость раздора», поможет вам в обретении этого понимания лучше большой кучи околонушной литературы средней руки и масскультуровой беллетристики, если только у вас хватит усердия ее осилить и если вы имеете элементарные базовые знания по предмету общерусской истории.

В №5 «Невского проспекта» публикуется 1-я треть «Малороссийских хроник» Алексея Григоренко, в которой неспешно разворачивается объемистый свиток повествования как погружение в историческое прошлое, в событийность эпохи, в быт ее и в психологию героев. В №6 НП планируется 2-я треть книги, а в №7 — 3-я треть, в коей сказание о 2-й казацкой войне достигает эпической высоты и местами звучит как песнь в жанре исторического эпоса.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МОЛЧАНИЕ

Предупреждение автора

Пантелеймон Кулиш в книге «История воссоединения Руси» подводит довольно горький итог, рассуждая о начальных козацких войнах в Речи Посполитой, приведших через полвека к частичному краху как самого государства — утрате Малороссии, так и окончательному исчезновению Польши с политической карты тогдашнего мира — в результате 3-х разделов XVIII-го столетия:

*«Два только источника существуют для истории 2-го козацкого восстания (1-е — под предводительством гетмана Криштофа-Федора Косинского, 1593 г. — А.Г.), Гейденштейн и Бельский, да и те во многом противоречат один другому. Притом же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеем никакой возможности исполнить правило: *audiatur altera pars*. Вообще это важная потеря для русской истории, что украинские козаки, эти главные деятели торжества Руси над Польшею, оставили по себе так мало памятников своей деятельности. Кровь их пролилась, как вода на землю, и не оставила даже пятна по себе. Энергический дух их отошел в вечность, не заградивши уст хулителям своим; а их потомки лишены*

утешения слышать посмертное слово предков, каково оно ни было. И вот мы разворачиваем чуждые сказания о нашем былом и устами исторических врагов своих поведаем миру понимаемые до сих пор двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нелепо дела героев равноправности» (П.А. Кулиш, «История воссоединения Руси», т. 2, стр. 117, СПб, 1874).

Пожинаем же эти плоды исторического молчания народа: даже само имя собственное героя нашего повествования, гетмана и предводителя 2-й козацкой войны Наливайка, текуче, непостоянно и вариативно. Так в трудах и первоначальных изысканиях знаменитых историков XIX века имеем такую картину: анонимная «История Русов», приписываемая архиепископу могилевскому Георгию Конисскому, и Николай Маркевич называют нашего героя — Павло; Владимир Антонович и Николай Костомаров — Семерый;

Боркулабовская летопись — Севериня; тот же Пантелеймон Кулиш — Семен; другие источники, включая Википедию, соцписателей вроде Ивана Ле и марксистских историков уже несуществующего СССР, — Семерин, Северин и даже Северий (вполне на древнеримский манер — если сделать ударение на 2-м слог).

Так как же все-таки звали нашего героя? Ответом будет все то же молчание.

Я писал не историческое исследование, но роман, потому из всех вариантов избрал имя героя согласно анонимной «Истории Русов», с опубликования которой в начале XIX столетия и началось заинтересованное изучение образованным обществом далеких исторических событий Малороссии, давным-давно к этому времени интегрированной в процесс общерусской истории, общерусской политики и общерусской культуры. Потомки отважных воителей за свободу, правду и святоотеческую веру, о которых и рассказывается на этих страницах, стали мирными «гречкосеями» и мелкопоместным малороссийским дворянством со своим благодушным, зачастую химерным мирком, вошедшим в русскую литературу тщанием Н.В. Гоголя, предки которого — Лизогубы и Гоголи — тоже в свою очередь были отважными и заметными фигурами в давней военной истории края. Николай Васильевич не устоял перед искушением составить всеобъемлющий исторический свод: «*Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах*» (письмо к М. Максимовичу от 12 февраля 1834 года. Такая самонадеянность и безоглядность, вероятно, свойственна только лишь юности — Гоголю 25-ти лет), но уже к 6 марта того же года, т.е. всего через 24 дня, наступает отрезвление: писатель столкнулся все с тем же историческим молчанием — практически полным отсутствием достоверных материалов, о чем он сообщает в письме И.И. Срезневскому, и — отступил... «*Я к нашим летописям охладел, напрасно сиясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нурге ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого неволью (если бы он даже был недеятелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ...*» (тут Гоголь отчего-то прервал свою мысль, — но мы сегодня, через без малого 200 лет, можем поразмыслить все же о том, о чем в некоей печали и разочаровании не договаривает писатель, — А.Г.) *Я недоволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени унци, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начинавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади были уже украдены...*»

Так и неосуществленный шеститомник (или четырехтомник) преобразовался в «Отрывок из истории Малороссии» и в статьи «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление Малороссии», вошедшие в сборник «Арабески», ну и, конечно же, в бессмертную повесть «Тарас Бульба».

У Гоголя — оставались исторические и героические песни, туманные свидетельства, больше похожие на мифы и апокрифы, полученные из третьих-четвертых воспоминаний по восходящей от долгожителей козацких родов Гетманщины, которым прадеды что-то такое рассказывали, пока они сидели мальчонками под столами в крестьянских хатах. Что же имеем мы, насельники XXI века, кроме печальных известий о том, что сегодня происходит на Украине?..

Отступить ли и нам, как некогда отступил Гоголь? Или все же попытаться преобразовать художественной догадкой, метафизическим прозрением это историческое молчание, эти жалкие крохи известий, обрывков и лоскутов «чуждых» и «вялых» летописей, в которых высверками, на сущее мгновение, появляются

зачастую исполинские фигуры нашей безъязыкой истории, мужественные лица людей, каких больше нет и, вероятно, больше не будет, которые в неустрашимом дерзании и безоглядности закладывали основы нашей противоречивой, драматичной и зачастую трагичной истории, которая до сей поры происходит с каждым из нас. Но все начиналось — с молчания и мглы канувших, прошедших веков. Нам уже не услышать тех песен, которые так любезны были сердцам Гоголя и Максимовича, но мы все же — дерзаем *«понудить себя на художество»* — по слову древнерусского северного святого преподобного Кирилла Челмогорского, — ибо другого выбора у нас нет.

В своей многолетней работе над текстом я использовал все доступные мне источники, хроники и поминания, как русские (под этим именем я разумею триединый по моему убеждению народ — в сегодняшней терминологии: русских, украинцев и белорусов, в терминологии же описываемой эпохи конца XVI столетия — москвитов, русинов и литву), так и польские, но и в совокупности достоверный исторический материал весьма скуден, потому более всего я полагался на свою историческую интуицию, за возможные переборы и сгущения которой я заранее прошу прощения у читателя. Но в целом — даже не Павло (Северин) Наливайко является главным героем повествования, но то эпохальное событие конца XVI столетия, до основания потрясшее все общество Речи Посполитой, включая и поляков-католиков, расколовшее на более чем четыре столетия украинский народ и принесшее неисчислимые беды, — Брестская уния 1596 года, названная полемистами XVII столетия настоящей *костью раздора*, разорвавшая единое до того духовное средостение народа Юго-Западной Руси, который позже назывался черкасами (по наименованию крепости на Днепре), козацким народом, русинами, малороссами и затем уже украинцами. Развитие этой темы, быть может, с некоторым публицистическим заострением читатель найдет в примечаниях, разбросанных в тексте. Там же помещена и достоверная краткая информация об исторических деятелях, упомянутых на страницах романа, и отчасти о последующих событиях, произошедших уже за хронологическими границами этого повествования.

Отдельно надобно сказать о «Записках Арсенка Осьмачки», ставших неотъемлемой частью наших «Хроник». Они были обнаружены мною в древлехранилище Свято-Успенской Почаевской лавры в середине 1990-х годов прошлого века и требуют нескольких пояснительных слов для сегодняшнего читателя. Волею судьбы и сложившихся обстоятельств киевский бурсак конца XVI столетия, отягощенный схоластическим богословием и обрывками разнообразных познаний, не свершил свой жизненный путь, как тысячи его однокашников, затерявшихся в бескрайних просторах и бесчисленных селах Юго-Западной Руси, сегодня называющейся Украиной, где они научали грамоте козацких и селянских детей, сочиняли драматические и комедийные тексты для вертепных театров, колядки и песни, ставшие со временем основой «красного виршевания» и «красного письма», т.е. будущей литературы этого обширного и благодатного края. Некоторые из однокашников Арсенка стали со временем епископами и были призваны на служение российскими императорами, а прежде царями, на внутренние российские кафедры — в Архангельск, в Тобольск, в Ростов, где лучшие из них просияли чудесами и святостью и до сей поры почитаемы в общерусском сонме святых. Кто не знает великих имен святителей Димитрия Ростовского, Иоанна Тобольского, Иоасафа Белгородского, — а ведь они вышли из тех же стен малороссийских бурс-семинарий, что и наш летописец Арсенко Осьмачка, — только он опередил их на столетие, и Промыслом Божиим ему было суждено другое свидетельство, которое ныне развернуто перед благосклонным читателем.

Тютчев сказал: *«Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые»*, — в случае с нашим героем, а его «Записки» начинаются с 1593 года и завершаются 1635 годом, это были во всем судьбоносные времена для Юго-Западной Руси-Украины — усиление католического прозелитизма над православными землями, массовый переход в католичество русских и литовских дворянских родов; сползание почти всех тогдашних русских епископов к мысли о подчинении Римскому престолу, посредством которого, как им казалось, Юго-Западная Русь *«войдет в семью европейских народов»*, — как говорится теперь, а тогда благая покорность Риму мыслилась избавлением от бесконечных притеснений со стороны оголтелого короля, ставшего игрушкой в умелых руках ордена иезуитов, и правительства, — закончившееся печальной Брестской унией 1596 года; противостояние козачества и простого посольства колебанию епископов и окончательному закабалению панством, вылившееся в две первые козацкие войны, — во второй из них наш Арсенко Осьмачка принимает деятельное участие вплоть до трагического и страшного разгрома повстанцев в Солоницком урочище над Сулой, недалеко от Днепра. Принимает он и косвенное участие в событиях и итогах церковного собора в Бресте осенью 1596 года, оформившего окончательно унию с Римом и подчинившую на четыре века часть Русской церкви под папскую туфлю;

участвует в походе козацких отрядов в составе армии короля Сигизмунда III Вазы в Московию уже во времена Смуты российской, — мы находим его в осаде под стенами Троице-Сергиевской лавры, в осаде Переславля, он грабит с козаками и польскими жолнерами древний Ростов; затем, когда Смута в Москве завершилась, он принимает некое участие, по крайней мере как пристальный самовидец, в возобновлении иерархии Православной церкви гетманом Петром Конашевичем Сагайдачным и Иерусалимским патриархом Феофаном, и о том оставляет интересные заметки и записи в одном из своих письмовников... В 1635 году мы находим его в иноческой келье Никольского Самарского пустынножительного войскового монастыря, построенного запорожскими козаками для престарелых сечевиков, где старики, уцелевшие по воле судьбы в прежних походах и войнах, замаливали прегрешения своей молодости, а наш Арсенко систематизировал и продолжал письмом то, чему он некогда был самовидцем. Наш летописатель не дожил, по всей видимости, до Хмельниччины — Великой козацкой войны 1648-1654 годов, в корне изменившей геополитическую обстановку в тогдашней Европе и на века соединившую в единое государство Юго-Западную и Северо-Восточную Русь, Малую и Великую Россию, но и того, чему он стал свидетелем, много для жизни одного человека.

Конечно, я до сего дня не разобрал еще полностью десятков письмовников и разрозненных тетрадей, попавших в мои руки в Почаеве в 1990-е годы, — многие из них безжалостно объедены сотнями, а может быть, и тысячами поколений мышей, что-то размокало и не раз высыхало, превращая древнюю бумагу в сущие пепел и прах, какие-то крупные фрагменты и вовсе выпали из груд трухлявой бумаги, в самой «Хронике Луцкой», часть из которой я расшифровал к этому времени, вообще зияет обугленная дыра от «злой пули жолнерской», эта «Хроника» спасла Арсенка от смерти в Солоницком урочище в начале лета 1596 года и дала ему лишних 40 лет жизни, как пишет сам автор о том... Вторая часть «Хроники Луцкой» мною еще не разобрана и не расшифрована, но надеюсь все-таки в свой срок ее завершить, — там рассказано о событиях, произошедших с нашим героем уже после 1596-го злосчастного года.

Интересна и загадочна судьба самих этих «Записок». И здесь не обойтись без краткого рассказа о драматичной во многом судьбе монастыря, где была обретена эта рукопись. Самарский Николаевский пустынножительный монастырь основан запорожскими козаками как богадельня для престарелых сечевиков в 1576 году, неоднократно дотла и до основания его разрушали — во время Хмельниччины — русско-польской войны в 1650-х годах; затем — в 1688 году; в 1690 году монастырь постигло очередное несчастье: почти все насельники и большая часть жителей монастырской слободы погибли от эпидемии, после которой монастырское имущество, в том числе и архив, были уничтожены. Но рукопись Арсенка Осьмачки уцелела тогда, будучи предусмотрительно закопанной, по всей вероятности, им же самим в подклете деревянного храма Кирика и Иулиты — храм этот ныне не существует. В 1709 году в очередной раз монастырь был разрушен из-за гетмана Ивана Мазепы во время русско-шведской войны, — изменника поддержали запорожские козаки. В 1711 году монастырь уже был разрушен татарами. К 1739 году монастырь был полностью обновлен и вернул себе значение религиозного центра Запорожских земель, или *вольностей*, в терминологии той эпохи — при монастыре существовали школы и больницы, а численность крестьян и вотчинников достигала 500 человек. Монастырю принадлежали слобода Черненная, четыре хутора, озеро Соленое и речка Протовча, мельницы и пасеки, в общей сложности 18698 десятин земли.

В Самарской обители принимали постриг, умерли и были похоронены многие запорожские старшины: кошевой атаман Филипп Федоров, войсковой толмач Иван Швыдкий, войсковой писарь Дмитрий Романовский, войсковой судья Моисей Сухой и другие. Где-то в безымянной забытой могиле здесь пребывают и кости автора этих «Записок». За колокол, весом в 169 пудов 22 фунта, приобретенный в XVIII веке, запорожские козаки выложили огромную по тем временам сумму — 8320 рублей 90 копеек, колокольня же, возведенная в 1828 году, считалась самой высокой на Украине. Долгое время в монастыре сохранялись главная святыня монастыря — чудотворная Ахтырская икона Божией Матери и чтимая икона святителя Николая, патрона и покровителя обители, и четыре запорожских креста. Сегодня судьба этих реликвий неизвестна. В 1930-м году колокольню взорвали, братию выселили и расстреляли, Никольский собор перестроили под театральный зал, сам монастырь обратили в дом инвалидов. После войны обком партии Днепропетровска принял решение организовать здесь дом для престарелых металлургов. Дом-богадельня обзавелся большим хозяйством, и началось строительство разных пристроек в стиле «сталинского ампира», при этом весьма пострадали прежние монастырские постройки. Во время строительства и добыли на свет Божий замшелый проржакевший сундук, набитый истлевшими бумагами. Так как запорожского золота в сундуке не нашли, хотели было содержимое его

сжечь ясным коммунистическим пламенем, да в последний момент решили отправить в исторический музей Днепропетровска, носящий имя историка Дмитрия Яворницкого, который оставил потомкам фундаментальное трехтомное исследование «История запорожских козаков». В 1960-е годы в монастыре устроили интернат для психически больных девочек. С 1994-го года здесь возобновилась монашеская и церковная жизнь.

Нельзя сказать, что к разбору рукописей Арсенка Осьмачки никто не приступал, но у одних исследователей не хватало квалификации, других бдительные надзорные органы отстраняли на всякий случай из-за подозрения в украинском национализме, в конце концов в 1970-е годы так и не разобранные рукописи Арсенка Осьмачки из музея, ввиду реорганизации залов под диораму «Битва за Днепр» и последующего перепрофилирования под мемориал Л.И. Брежнева, днепропетровского партийного бонзы в 1930-х годах, а потом генсека и четырехкратного Героя несуществующего уже СССР, были переданы в Почаев, но и в тамошней Лавре некому было разбирать и рассортировывать эти груды слипшихся и истлевших листов, где они пролежали в забвении еще 20 лет. В начале 1990-х годов, когда я впервые приехал в Почаев для участия в Почаевской международной религиозной конференции, собранной тщанием Георгия Шевкунова (ныне митрополит Псковский и Порховский Тихон) для противостояния униатской агрессии на Западной Украине, монахи, прознав о том, что я составляю некий свод под общим названием «*Малороссийские хроники*», предложили мне попробовать разобрать этот архив и хоть что-то оттуда использовать. Выражаю им особенную признательность.

Сделаю и несколько замечаний по стилю «Записок». Понятно, что мне пришлось их практически переводить со старорусского на современный язык. Бурсацкая и схоластическая закуска лексики хрониста и виршетворца конца XVI столетия, нагромождение латинских, церковно-славянских и польских выражений и слов порою зашкаливали, и я безжалостно резал и выжигал длинноты, псевдокрасоты и славянизмы «Записок», упрощая и уплощая язык автора, дабы сегодняшний досужий любитель литературы мог хотя бы отчасти понять то, о чем он нам хочет поведать, своим «читателям и друзьям будущины», по его же терминологии. Само собой разумеется, что мне пришлось не только упрощать язык Арсенка Осьмачки, но и несколько беллетризировать текст, делая его удобным и связным для досужего чтения современного человека, с присущими ныне всем нам фрагментарностью и клиповостью мышления и восприятия (или, по слову литературного критика Сергея Чуприна, «фейсбучностью» нашего сознания).

И последнее — об этнической терминологии. Народы, населявшие Речь Посполитую, а также жившие по соседству, назывались вовсе не так, как теперь. Поэтому, предваряя законное недоумение читателей, укажу историческое, а затем — современное наименование народностей, о которых поминается на этих страницах:

русские, русины — *малороссы, затем украинцы;*

литовцы, литва — *белорусы;*

москвиты, москва и производное от «москвы» **москали** — *русские, россияне;*

жмудь — *литовцы, жители сегодняшней области Жемайтия и в целом Литвы;*

жиды — *евреи...*

(Приходится особо артикулировать на термине этом ввиду ранимости определенной части нашего общества и напомнить, что *жид, жидовин* и прочие являются производными от польского *Zid*. И в прошлом, и в настоящем — это официальный термин в польском языке и в литературе. Никакого другого обозначения *еврея* нет в Польше. Термин и слово не несут никакой эмоциональной нагрузки и пренебрежительной окраски, как может показаться кому-то, и *используются во всех официальных документах* Польской республики до сего дня. Для русского уха, может быть, звучит не очень хорошо, но такова историческая реальность, которой мы следуем.)

ляхи — *поляки;*

османы — *турки;*

волохи — *румыны и молдаване;*

угры — *венгры.*

Одни только татары так и остались татарами.

Картина 1. ЧЕРНАЯ РАДА, ЧИГИРИН, 1594

Мягкий, желт, как липовый цвет, медок на дне кухля. Цедя глоток за глотком, он отчего-то припомнил деда своего прозвищем Наливая, осавула при Шахе еще, знатного пияницу-питуха той славной, сгинувшей ныне козацкой поры. Улыбнулся в усы, не отнимая кухля от пересохших уст, — хлебал дедуган чиколдуху-мокруху вволю, однако и справу свою знал: пахал черноземлю и густо сеял хлеба, правил козацкий правеж, обустроивал родные пределы, и аулы крымские воевал, когда наступала войсковая страда, — с бою брал городки и глинобитные крымские крепостицы и на вечерней заре своей жизни дошел было до самой Кафы с летучим, легким стариковским отрядом — и в шестьдесят своих лет все еще молодецествовал Наливай, — в Кафе же и был страчен жестоко. Как липовый цвет к маковке лета...

Хорошо, не знали отец с матерью особицы лютой той казни: надрезали стариковскую кожу, стянули чулком, обнажив лиловые, все еще крепкие в старости мышцы, или по кусочку рубили пальцы, руки, стопы, голени, ноги, или еще что-то лютею придумали вороги в Кафе, — «Мне отмщение...» — и нам тоже — отмщение...

Павло прищурил на высокое солнце глаза.

Пусты небеса, глубоки. Словно неосажное синее око с расчиненной в предвечной слезе Божьей зеницей. Ты видел, один только Ты и видел, как это было, — тлео в Павле, — и не спас старого деда моего, не вывел его из-под Кафы, — ему пришла пора умереть?.. Да, скорее всего это так, хотя нам, оставшимся до поры на земле в этом вот текучем, изменчивом времени — не примириться со знанием этим, как не примириться с другими смертями, не привыкнуть к ним никогда. Жаль только, — думал Павло, — что сыновья (и мой отец среди них) не дознались про то ничего: весь престарелый и в старости легкий как пух дедов отряд разметало под глинобитными стенами Кафы. Как пороховой дым, когда прогремит выстрел и с воем каменное ядро полетит туда, куда пушкарь целился, — двинется тугой ветер невидимым сильным плечом, и следа от дыма не останется никакого. Так и от нас, и от наших забот, от нашего подневольного и вольного делания, — что останется?

А началось — с пасхального разговения. Запекли женщины дома пороса к Великодню, выставили ведро чистой хлебной горилки, — и разговелся на славу от брюха дед Наливай после великопостных молитв и трудов, после пуда соленой капусты и пуда соленых же огурцов, — плеснул через край в московитскую полоненную некогда братину из черногого серебра, взятую в давнишнем набеге на пограничный с Речью Посполитой городок Рыльск, — со стола воеводы и смел ее в свою дорожную торбу, — и заманулось деду Кафу на приступ попробовать, — ласковый шелк, душистый османский табак, звонкие пиастры и румяные дукаты повабили деда. О, хлебная эта горилка, прозрачная, как слеза, — затуманила ты око старого Наливая!.. Сыны с вервием бросились деда вязать — да куда там, справишься разве? Был бы чугой — успокоили бы кулачищами да плашмя саблюю в лоб неразумный, а на батька — мыслимо ли руку подъять? Разметал сынов по кутам: чуть ли не гикнул страшное слово проклятия «я вас породил — я вас и убью!», цыкнул страшно, вывернув набрякший яростью глаз. Знали они этот погляд — пощады не жди. Свистнул соседских дедов — из поредевшей от времени и войны наливайковской сотни:

«Покажем, панове, сим недоумкам, ни на что не пригодным, як Кафа аллаха своего благае за жизнь!..»

Дед Сиромаха, дед Выпывайло, дед Миняйло, дед Бастрюкайло, дед Выверникожух, дед Крыса, дед Червонець и иншие с ними деды, — и дед Наливай-осавул, — помни же их имена.

Сладок мед, но горько в душе. Пуст окоем и затаилась земля. Полуденный ветр ласков и шелковист, как трава. В знойном мареве висят черные птицы. Скоро им будет корм и пожива. И здесь я тоже не властен, думал Павло, разве я вольно выбираю войну? Прежде — дед Наливай. И я простил ныне Кафу, хотя в том бою с сыновьями его, моими дядьями, я сидел под тем пасхальным столом, что трещал от ударов их ног и рук, и помню, как ошметки поросычьего мяса сползали со стены, — я простил, когда старое и родное тело его разъяли среди равнодушного татарского говора на площади Кафы, а с ним — и тех дедов-добровольцев, кто не погиб под стенами от пальбы и был взят в полон. Никто не знает, чего это стоило мне. Трудно и невыносимо вот это: «*Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...*» — хотя чистой беззлобной детской душой, в козачатах еще, поклялся пройти дедов путь через Дикое поле и устроить поминальную тризну в той клятой Кафе... И замирился ныне с ханом на том, чтобы ясырь в пограничье не брал, — да чего стоят ханские обещания?.. Потому что где ему его еще брать, как не на наших землях? Знаю, знаю, братья мои, что ненадолго все это, потому что без живого товара оскудеет этот Богом отринутый Крым. Но мне нужно отдохнуть и собраться, всем нам — отдохнуть и собраться, потому

что грядет с другой стороны другая беда...

Он допил последние тягучие капли, утер уста рукавом и наклонился с седла, протягивая кухоль безродной девчонке, вынесшей ему из нарядной мазанки-хаты уютную дорожную жажду.

«Спасибо, доню...» — сказал привычно, забывая уже и медок, и ее самое, и ждущие чего-то глаза, глядящие на него неотрывно. Голубые и чистые.

Он и названия цвета такого припомнить не мог, — заглубела, как невыделанная шкура, душа у него за белесым, жарким огнем пылающих сел, за многой кровью, прибывшей за недолгий век его на земле. Разве что в храме, во время высокой и пронзительной литургии, наступал мир и упоение в душе у него, — и светлела печаль, и все то, что лежало за каменными церковными стенами, обретало название, место и смысл, — и тогда, неведомо как, душа будто стремилась к истоку, и близилось детство из памяти, из черной бездны его одиночества и молчания, — голубое, чистое, светлое, — и он знал, как жить ему дальше, но и не жил, когда выходил на паперть, привычно и уже отстраненно бросая несколько шелягов в черные ладони нищего-жебрака. И отъезжая от храма, оставляя за спиной густой гул благовеста, думал уже о насущном и неотложном, в котором предстояло прожить и выжить и где уже не находилось места высокому этому: *«Ненавидящих и обидящих нас прости...»*

И теперь осадил внезапно коня, крутанул его вправо и наклонился, грозовой тучей навис над девчонкой, глядя ей прямо в бездонную черноту кружалиц-зрачков:

«Чья?» — помедлив, спросил.

«Сирота, — сказала она, — со вчерашнего».

Глаза ее были сухи.

«Так плачь же!» — негромко сказал.

Она в отрицании повела головой.

Она была еще сущим ребенком, девчонкой, — что там она понимала в этом вот мире? Но уже была частичкой народа. Его — разноликого, странного, непокорного — народа со всем присущим ему добрым, злым, глупым и высоким, смешанным во единую взвесь.

Он удивился бы, если бы она заплакала.

Должно быть, сильно тогда хлестнул он коня, потому что, обернувшись в дороге, увидел темный запекшийся рубец на крупе, — так хлестнул, словно движение в окружающем его душу пространстве могло стереть эту девчонку с земли и из памяти, но он знал в себе глубоко, что теперь ему уже никуда не уйти от ее молчаливого взгляда, как и ей не уйти от своей неисповедимой сиротской судьбы, — и ее безымянное подорожное имя сливается неотступно с прозвищами тех давних дедов из его малолетства, сложивших неразумные головы под стенами Кафы, и с именами сотен и сотен других, ставших попраным прахом, разметанным по широким безгласным степям.

«Ненавидящих и обидящих нас...»

На чигиринской белопыльной дороге, в скляной затаившейся и обманчивой тишине, в крошечном окрестном безлюдье, его обступали безотчетные думы, сгущающиеся прямо из застывшего полуденного воздуха. Душа будто грузнела и в тяжесть каменела. Он предчувствовал, что и как будет на черной раде в Чигирине, куда стекались козачьи полки и войсковая старшина. Путь на Черкассы был перекрыт. Жолнеры польного гетмана пана Жолкевского стояли на шляхах и тропинах правого — Русского — берега, встречая коегождого всадника мушкетной пальбой, хотя, как извещали лазутчики, гетман отдал наказ брать живыми пытающихся пробиться к Черкассам, бить батогами и с кручи сбрасывать в Днепр на потеху. Но жолнеры были ленивы ловить и вязать — легко ли сказать, без пальбы, силой одной остановить конный вооруженный загон, идущий наметом к верхней столице Запорожского войска?.. Вот и стреляют свинцом из мушкетов, отгоняя и побивая тех неразумных, кто не знает еще оповестки полковника Лободы.

Павлу перед выездом в Чигирин хотелось побыть одному — он знал от доверенных, что предложится на раде в сиротском безгетманстве их, — и потому джур своих он отправил другою дорогою. Был ли готов? Он не знал. Потому что предстоящее дело отличалось от привычных забот, как дюжий добытчик-степняк отличается от хлопчика-козачонка. И в этом отныне, от достигаемого Чигирина, жить ему и трудиться, нынешнему генеральному осавулу, Наливаеву внуку. И, скорее всего, умереть. Мысль о смерти — смутная, солоноватая и в меру тяжелая — не пробуждала в нем страха, не тяготила болью от неизбежности. Никто из живущих в этих пределах от края до края не мог припомнить — за чаркой ли, в долгом походе или на промысле — ни единой покойной в старости смерти козачкой. Не водилось такого, хотя люди — братья, соседи по времени и по затратам любили грешный сей свет, любили землю, на которой они родились для тяжелой хлебной работы и жатвы. Кто из них хотел умереть по воле

своей? Разве что сиромаша безродный. Но так получалось, — и с этим ничего нельзя было поделаться. Это знал каждый воин, который в затишье ходил за сохой, вспарывая черноземные душистые недра, это знала каждая женщина, носящая под сердцем ребенка для жизни, чтобы в три малых годка посадить младенчика, обряженного в первые свои шароварцы и в крестильную рубашонку, на теплый круп войскового коня за широкую отцовскую спину и втайне молиться за сына, за мужа — чтобы подольше их смерть не брала... И каждый из них, людей народа его, посполитых и войсковых, был равно готов как жить, так и умереть. Смертью ненапрасной и славной для остающихся жить. Потому что нет смерти, когда за тобой в этом сверкающем и удивительном мире живого остается твое доброе, за что отдана твоя жизнь, и остаются те, безмерно любимые, коим ты дал жить в счастье и тяжести времени дней... Может, кто-то продолжит твое дело, пройдет до конца твой путь до цели, до которой ты не дошел. Да и как же иначе, если сыновья, подрастая уже зачастую в сиротстве, знают от материнской утробы те две работы, которые знаешь и ты: хлебопашествовать и воевать, — когда с низовьев Днепра, от Сечи, медной пеной докатится до окоема круглый, как ядро, стон колокола войскового. Так нечего здесь судить и страшиться. Божий промысел на все твои дни, ему и доверься с молитвой. И если судьба тысячеусто избирает тебя на святое служение христианской войны — радуйся, свете, за честь, и сражайся без страха.

Глядя в буерачные степи, где стояло в рост человека дурманное, раскаленное зноем цветастое разнотравье, Павло мог только догадываться, сколько всего видели эти места, как и прочие. Но молчит, от века немая и скорбная, эта земля, дававшая силы прадавним ратным и воям ее. Было ли так?.. «Как жить мне, Мати моя?..» — глубоко в себе, не раздвигая пересохших от степного дыхания уст, спросил он, — и вдруг ощутил, как встает в нем малиново пламя, словно бросовую солому ожигающее внутренности, и как огненная течь взвихренно поднимается до головы, охватывая ее раскаленными обручами. Он осадил коня, качаясь, как пьяный, в седле. Высвободил ступню из среброкованого стремени и на мягких, подгибающихся ногах, удивленный немало слабости внезапной своей, ступил в раскаленные жесткие травы, раздвигая лицом мохнатые пыльные листья и тяжелые грозди желтых цветов. Солнце валилось с небес белым невыносимым огнем, что смыкался с малиновым пламенем, изнутри жгущим. Пал на колени, уже услышав и поняв, что сказала ему безгласно земля. Уткнулся лбом в нее, горячую, жесткую и до боли родную, заплюснул глаза, чтобы былнки, цветы и копошащиеся в травах комах не увидели сухих его слез: да, так и жить тебе ныне, козаче, под бело-малиновым пламенем запорожского стяга, — смирись и прими сей крест, — с ним и умри... И видел, различая в зернах земли, в сплетениях былок, в корнях травы, словно глаза его пронизали пространства, — как смотрит издалека на него, сине и светло, с надеждой — Покрова Сичевая, чудотворная и великая войсковая икона, даровавшая не однажды перемоги над супротивными, — и шелестело, билось под сердцем, плавилось в воздухе предгрозовом:

«Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борюция нас, да уразумеют, как может православных вера, молитвами Богородицы, Егине Человеколюбче...»

Павло тяжело поднялся с колен, осторожно и боязно, словно до краев наполненную чашу, неся в себе отблеск далекого взора Покровы Сичевой. Бурьяны-будяки, сплещишиеся на пути, цеплялись за ступни и голени, опутывали сапоги до колен, враждебно не пуская его. Павло взмахнул нагайкой, взрезав, словно косой, плотную стену сорнячных стеблей, — несколько набрякших сорным и бесполезным семенем желтых головок упало на землю. Сцепив зубы до заушного хруста, он медленно шел к пасущемуся на обочине степного шляха коню. Паморочилось, темнело в глазах. Тронув затерпнувшей и бесчувственной ладонью холку его, хлопнул, лаская, по вороной, с серебряным отливом сильной шее. Фиолетово и крупноглазо конь покосился на господарчую десницу, понимая его. И уже до чигиринских пределов Павло не смотрел безгодно по сторонам, опаленный бело-малиновым пламенем, падшим в душу с небес. Думал уже о своем. Теперь был готов к предстоящему. Голова, не удручаемая прежде ничем, кроме как верней вывести битву или бой в приграничье, гудела от непривычных, необыденных мыслей. Так припомнилось Павлу все, что слышал он когда-то об иезуитском лазутчике прелате Куинском, сверкнувшем сатанинским огнем в Варшаве и Львове лет тому много назад, еще при Сигизмунде II Августе; о занявшемся было зареве козацкого восставания и мятежа, — когда другой польский король, Стефан Баторий, насильно ввел для украинских русинов римское, еретическое в отступлении, исчисление лет от сотворения мира, затем благоразумно отмененное, дабы предотвратить гражданскую козацкую войну и всенародное сгниение и погибель державы Речи Посполитой. Сейм, собравшийся вскоре после того, подтвердил привилегии права православного люда, уравненного с людом подляшским. Но как было верить тем ко-

ролям, что сидели в Кракове и Варшаве, когда выходили в друкарнях книги Скарги Петра, вредоносные для легких и неукорененных умов письменной молодежи? Смотрел однажды такую книжицу в крамнице еврея, близ Киево-Печерской обители: «О единстве церкви Божией под одним пастырем и о греческом от сего единства отступлении»¹, — где отцы его и деды его клеймились отступниками и еретиками за неподчинение римскому папе.

«Ну шо, пан молодой, купляешь мыстецтво друкарськэ? — цеплял его жидовин. — Выдано в Вильне... Дуже гаразд...» Павло тогда бросил ту книжицу в бочку со ржавой сеledкой, плюнул в лицо продавальщику и вышел из лавки.

«Что скажете, святые отцы?» — спросил он печерских чернецов, рассказав о виденной книге.

Старцы печерские только улыбнулись в ответ. Один сказал то, что запомнилось Павлу на всю жизнь:

«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...»

Другой же отговорился примерно таким, что у нас есть свой митрополит в Киеве, а в Константинополе есть и патриарх, — зачем же нам еще ихнего папежа?..

Уже после, пожив много лет, кое-что повидавав, он понял, в чем таилась причина умолчания старцами истины, — мудрые и печальные в днях мира сего, достигшие в подвиге и молитве непредставимых духовных глубин, что светились сквозь сухую их плоть внятным светом, познавшие как чудовищные искушения душ и телес, так и всеобъемлющую к людям любовь, они по любви и по опыту не стали смущать его изложением богоотступнического раскольничьего учения, книжной латинской гордыни, — видели, как он молод, доверчив, не мудр и по молодости, по быстротекущим дням и заботам своим в веровании не утвержден, исповедуя едино обряд, — и что ему, завтра уходящему в далекий поход к порубежью, до столь тонких раздумий, как нарушение Символа Веры, или, допустим, что земной, во грешной и грязной плоти человек, называемый *папою* где-то, кто смертен, как всякая вещь на земле, может быть безошибочным в вопросах веры и смутных обычаев, ежели выступает как учитель всей Церкви, отрицая всечеловечью соборность. Да и что это значит — раздумье и размышление — в сравнении с безбрежностью и бездонностью живой, теплой веры?..

Из тех дней, проведенных в обители на богомолье, выпавших на его долю перед первым войсковым выступлением, запомнилось, как сладко-тревожно, что заходилось сердце и паморочилось в голове, пахло первое его снаряжение — скрипкая перевязь сабли, сработанная из прочной, выделанной любовно свиной кожи, новое, с блеском, седло — отцов трофей и надбанок, взятый в коронном польском обозе, солнечный клин хищно изогнутой сабли с разводами прозрачного масла, бесшумно входящий в сереброчеканные ножны, — перед первым и страшным смертоубийством в бою султанова янычара, так не связавшегося с предыдущим, — что-то как бы сдвинулось в нем навсегда, когда под конским копытом плоско и сыро треснула только что снесенная турецкая голова с раззявленным в прерванном крике разорванным ртом, а он только немного спустя понял, что это было, — и все летел и летел со вздетой в низкое пыльное небо сияющей саблей в живой и гремучей атакующей лаве, в стуке и в громе копыт, в месиве криков и гнева, в стоне гудящей земли, будто несущей их на широкой, просторной ладони в вечность и упокоение от всего, — и только что зарубленный и растоптанный враг-человек, оставшийся далеко позади, замутнял и тревожил какой-то неизбывной виной отчаянную и легкую радость души, — эту первую смерть от себя Павло не спрмогся забыть. Тогда же, в тех тихих и солнечных днях, случившихся, как глубокое чистое озерцо в сухой и безводной степи, в преддверии всей его жизни, он вынес тонко-тревожное и донине болезненное чувство своего глубочайшего недостойнства и плотской греховности, удаленности от Христа и даже порой глубокой оставленности в беспробудном сыром одиночестве жизни, которое он ничем не мог утолить, — ни кровавой гульбой в чужестранных пределах, ни многодневным бражничаньем по возвращении на укрепленные днепровские острова, ни вымученными ласками полонянок, ни счастливой женитьбой и жизнью с чернокозой красавицей из-под Гусятина Ганной, родившей ему троих сыновей — Опанаса, Юрка и Тараса. Дни его жизни достигали зенита — приходила полнокровная, несколько горькая зрелость, опыт и мудрость. К ним копилось добро в сундуках, добытое пикой, секирой и саблей, реже — словом договорным со склоняющимися в покорности городами, — тонкие паволоки и с блеском шелка, тяжелые, шитые золотом плахты, венецийские воздушные хустки — для Ганны, а для него, для Опанаса, Юрка и Тараса — наборные уздечки и седла, пистолы с золотыми накладками, бьющие метко, и серебряные пороховницы, уставленные смарагдами и рубинами, да груда немалая полоненных сабель-домах, висящих без дела по стенам хаты и ждущих своего часа.

¹ «O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu», Вильна, 1577.

Поставлены водяные млыны — на Жидувке, на Стыре, на Луге. Есть винокурня под Вишневецом. И на круче кормильца-Днепра, от дома подалее, в крепком дубовом бочонке, схваченном железными обручами, зарыты надбанки главных походов: дукаты, взятые в Порте, арабские золотые дирхемы с купеческих кораблей издадека, браслеты серебряные кованые, граненые, червонцы великорусского господаря и царя Ивана IV Грозного, византийские золотые, гнутые плоской, и серебра — без весу и счету — сасанидского светлого, византийского темного, польского, крестоносного, разного... Ганна знала о кладе на Мушиной горе близ Терехтемирова, знала и на что потратить его, когда придет пора выкупать его из татарского полона или еще от какой-либо великой беды. И если бы все это собранное в походах и войнах грело или целило душу его — жить бы и жить. Пусть даже с войной, раздирающей судьбы и земли, — если написаны в предвечной Книге все эти горящие нивы. Ведь не он выбирал это время, плывущее, как высокие облака, над народом его. Выпало жить и страдать, веселиться и воевать, видя вокруг столько дыма, пожаров, смертей, сиротства и вдовства, — так и живет на этой земле, воюя на четыре стороны света, — и казалось ему, что время уже прочно забыть те давние, тихие и сосредоточенные, в меру печальные дни, проведенные в славной обители преподобных отцов наших Антония и Феодосия, когда до нутра содрогали его молодое и сильное тело, приутовленное к войне, благовестные звоны малиновых колоколов, звавших к чему-то иному, надмирному, свершаемому таинственно в литургии, — и так непохожи на обычных людей, с детства привычных ему по волынкам степным хуторам, были высокие и суровые чернецы, чей путь и чье делание не давались его разумению, но будили глубокое почитание.

Но до сих пор — в одинокой дороге куда-то, чему, как и прочему, завтра не будет ни памяти, ни доброго слова в душе, — тревожил его тот молодой и дюжий козак, стоявший на несколькоденном богомолье перед первым своим войсковым выступлением. Павло не мог почему-то забыть, отрешиться от себя самого, каким он был и вельми остался сейчас. Отрешиться и позабыть, — что-то временами шептало в душе, — и живи в полную меру, ты же богаче многих коронных панов, рыщущих жадобно по степям Руси-Украины, ты силен, ты могуч, ты с печатями осавул Запорожского вольного войска рыцарей низовых, что есть реальная сила и власть, — но забудь ту мару-вину, нет ее, но — печати, золотые дукаты, винокурня твоя... Тьфу ты, пропасть! — ругался Павло, отженная сатанину детель, что иссекала слабую и беззащитную душу его в шматы.

«Верно твориши, сыну, — сказал ему духовник Запорогов панотец Стефан на исповеди, когда неуклюже и со стыдобой Павло проговаривал свою необоримую муку и искушения детели сатаниной. — Празднуй сию вину недостойнства, ибо ею спасешься, если сподобит Господь...»

«Но как же жить, панотче Стефане? — недоуменно спросил Павло. — Дайте раду...»

Потускнел тогда старческий взор древнего исповедника, бессменного сечевика и служителя у Покровы Сичевой, затянулся чисто-прозрачным слезым стеклышком, и, помолчав, старец ответил:

«Помни о смерти, друже-козаче, и твори с молитвою свои дни, — даст тебе наш Господь милосердный умереть во славу Свою с покаянием... Ну, а там... свидимся в упованиях...»

Ветхие дни исповедника, коего Павло в юности своей знал еще в могучей телесной силе и здравии, подходили к своему завершению. И теперь, на белопыльном чигиринском шляху, в дрящемся и столь бесконечно сиротском безгетманстве православно-люда, ради чего он и правил на Чигирин, словно сквозь розовый и рассветный туман, затопивший белесо впадины и ложбины его первых дней на бескрайней груди Запорожья, встало перед взором его, как по оповестке прорвавшегося из вражьей облоги иссеченного козака, рухнувшего замертво с конского крупа на радном майдане, они поспешно выехали в степь к перехваченному крымчаками обозу, в котором, среди прочих, двигался к Запорогам с дальних отхожих треб на затерянных хуторах и зимовниках и панотец Стефан, коего Павло еще не видал, но о котором уже что-то слышал в курнях. Добравшись до злополучного места, с края высокого урвища, круто спадающего в смарагдовую речную долину, они увидели полукольцо рассыпанных, частью уже пограбованных и распотрошенных возов, подле которых метались со ржанием лошади с обрывками постромков. Внутренность полукружья была задымлена густой кисеей пыли — оттуда доносились победные иноязычные вскрики и одинокий стук сражающегося оружия последнего живого защитника. По всему было заметно, что ордынцы напали внезапно, и шедшие в обозе не смогли замкнуть круга возов, как обычно делали на Запорожье, чтобы обороняться за ними, как за крепостными валами. В стремительном полете по склону в долину Павло заметил несколько человеческих фигурок, копошившихся в одном из возов, — да, они опоздали, и

здесь все уже было закончено, — в глубокой пыли, кисельно сбитой копытами, лежали серые изуродованные тела убиенных, — то были пасечники, что везли разнотравные меды к запорожским крамницам, звероловы и рыбаки, шедшие в Сечь со своими надбанками, — виднелись среди их простых застиранных полотняных рубах синие и вишневые жупаны козацких детей, шедших с войсковой амуницией на посвящение в христоролюбивое вольное рыцарство Запорожское, но успевших попасть только на свой первый и скоротечный бой, дабы отдать свои юные жизни в подлой татарской резне.

Конные козаки с гиком и посвистом ввалились в окропленное кровью пространство, арканя и пиками прободая взметывающиеся испуганно постати на возах, подле возов, — убегающих, оскаливающих острые крысиные зубки на несущуюся синезупанную смерть. Это с козачатами легко было крымчакам справиться — с детьми, здесь же были уже закаленные, опытные вояки, — и козацкие сабли секли воздух на прозрачные большие кубы, подрагивающие и рассыпающиеся в осколки от ветра и криков. Краем набрякшего в ярости глаза Павло приметил на одном из возов ступок ненавистливой кутерьмы, где одиноко сражался последний защитник, оставшийся живым, — и теперь, будучи в десятке аршин от него, Павло увидел, кто остался в живых, — это был исполинского роста священник в разорванной рясе, высящийся черным столпом над крутящимися меднолицыми всадниками, — горячим серебряным светом сиял наперстный крест на груди у него, распущенные бесцветные волосы светились исходящим огнем, громово и набатно в сабельном перезвоне гудел густой и мощный священнический глас, покрывающий мелкие и как бы неважные в сем мире звуки:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и бежат от Лица Его ненавидящие Его...»

И направо, налево, перед собой гатил запорожский отец окровавленным бердышом по вражеству, повергая всадных людей на рыжую пересохшую землю, жадно вбирающую в свои недра капли черной пролитой крови, раскраивал войовничие черепа неотвратимым и непреложным ударом, гася стынувший возглас «алла» во вражеских гортанях, — и похож был на черный и крепкий днепровский порог, омываемый бурной, но бессильной в несправедливой ярости паводковой водой. Крымское вражество взять не могло этого человека, будто загражденного от стрел и арканов молитвой. Вздвигнув коня, Павло пикой сбил целившегося из лука в священника низкорослого воина в парчовой хламиде мурзы, что приседал на ближнем возу. Рыжий мурза плашмя грохнулся в пыль, под копыта Павлова коня.

«Так, сынку, так! — грянул священник, отмахиваясь от очередного сабельного удара своим бердышом. — Молись — и отженем сих бусурман!..»

Павло хотел было ответить ему, прокричать что-то сквозь смертную пыль, но спекшееся дыхание не пропускало оболочек словес, копошившихся в нем, и он отерпнувшей, усталой от рубки рукой, уже лезом плашмя, лупил по спинам и лбам разбегающихся, как тараканов, татар, даруя им жизнь вместо смерти, устав уже убивать.

Остатки чамбула, кто успел вскочить на коней, наметом уходили к реке. Другие же были спутаны вервием — позже их или продадут обратно в аулы, или обменяют на попавших в полон. Спешившиеся козаки привязывали их к возам, на возы же, кроме отбитого майна, поверх него, на чистые, выгоревшие на солнце холстины, клали козаки убиенных пасечников и рыбаков, козацких детей и гультяев, не дошедших до благословенной под небом Сечи. Спешился и Павло, подошел под отцовское благословение к отбросившему бердыш священнику-воину, утомленно и маетно присевшему прямо на землю.

«Прости, сыну, — сказал он, — что благословляю тебя, в немощи сидя...»

Тяжелая десница его едва поднялась навстречу ладоням Павла. Теперь, после горячки сражения, Павло смог достаточно его рассмотреть: глаза панотца потухли, ввалились вглубь головы, спрятались под черномохнатыми надбровными дугами, смертная бледность и утомленность лица проступали сквозь серую корку уже ссохшейся пыли, сухие бескровные губы шевелились безмолвно, могучие плечи опали, ссутулились.

«Отче, — сказал с улыбочивой шаной Павло, — вам бы в козаки...»

Твердый и отчего-то печальный отеческий взгляд пронизал его до нутра, вскрывшись из-под припорошенных пылью бровей, и тихо-раздумчиво сказал ему запорожский отец:

«По грехам своим и козаком быть недостойн, сынок...»

«Но вы же...» — начал было Павло, но священник властно остановил его речь неспешным, твердым движением:

«Злых слов да не износят уста твои: лоза не плодопринесит терний... — и спросил время спуста: — Чей ты, козак? Я раньше тебя не видал.»

«Павло, внук Наливая, панотче», — ответил Павло, разворачиваясь на козацкие

голоса, галдевшие над паковкой распотрошенных возов.

Священник кивнул:

«Я знал Наливая. Господь да упокоит смятенную душу его...»

Сколько лет сплыло во прах и ничтожество с той поры, — и вот слезым стеклом скрыты выпцветшие глаза, видевшие все, и могучая плоть обветшала, сносила, как старая одежда, иссохли, подрагивающие теперь, некогда сильные руцы, и — непокой в твердом и неизбывно печальном взгляде панотца, говорящего в другой уже раз:

«Сей виной недостойнства и спасешься, сынок, если попустит Господь...»

Сонмища лет талой водой стекли в то, чего больше нет. Что было с ним? Что было с запустевшей этой землей и людьми, живущими под этими безбрежными небесами? Черная, белая и зеленая колея чигиринского шляха, рассекающая волны диких трав, мерно уходила под копыта коня. Будто бы спал, — и плыли в нем разрозненные и перемешанные куски прошлого и отдаленного временем, — и звенели прадавние обрывки молитв и обесцененных гетманских универсалов, немо и страшно вставали под веками смертные стычки, коим числа не исчислить, — и сияли в блеклом, выжженном небе тканые золотом боевые хоругви, блистали в давнем солнце сабельные клинки, курились дымки из жерл отгремевших свое самопалов и затынных пищалей, и падали, как трава под косой, дети и братья его в смертных белых рубахах, гаптованных по грудям красным, черным, зеленым цветами-узорами. Вечная память вам, упокоенные от всего, безымянные, забытые и оставшиеся в распевных думках и песнопениях, — вечная память и слава вам, переможенные победители!..

Всего два лета назад, в 1592 году от воплощения Бога Слова, на место загинувшего от татарского ятагана гетмана Скалозуба на большом козацком кругу в славном граде днепровом Черкассах избран был Криштоф-Федор Косинский, урожденный шляхтич, и с того времени, как писали много позже козацкие летописцы, *«начала известная оная эпоха ужаса и губительства для обоих народов, польского и русского, которая потрясши Польшу до самого основания и колебавши ее более ста лет, низринула, наконец, в бездну ничтожества, а народу русскому давши испить самую горестную чашу, каковую и во дни Нерона и Калигулы не все христиане вкушали, преобразила его в иной вид и состояние»*.

Так напишут спустя двести лет, когда от жизни и делания Криштофа-Федора останется разве что звук, а от делания Павла, Наливаева внука, правящего ныне на Чигирин, останется одна только печальная песня, и все будет похоже на неверный и призрачный след на зыбком песке забвения, что затынет непроницаемо даже самое имя его, и хронографы будущей этой земли, ополоумевшие от потоков крови и слез, что составили бы целый Днепр за те истекшие двести годов, так и не разберутся: как же звали его, зачинателя великой народной истории, кой был то ли внуком, то ли правнуком какого-то легендарного мифического Наливая, — Павлом или же Северином на польский манер? — и величать, помянуть его по церквам и историческим фолиантам будут двумя именами, словно дела его слишком много было для одного человека, для одной головы.

Но ему не дано было проникать взглядом в толщу еще не свершившегося, но предуготованного к свершению. Он, как и те, рядом с ним, прошедшие вскоре по пыльным, окропленным смертным потом шляхам Руси-Украины, из небытия входили в бессмертие, не зная о том. На чигиринской дороге, на пути к славе, смерти и забвению, Павло еще смутно представлял себе, что выпадет совершить ему завтра. Да, в крошечке мыслей, где всякого было намешано, находилось место и винокурне, и земным судьбам детей, и в смутке стареющей Ганне, но и вполне ясному размышлению и представлению по множеству неложных свидетельств о том, что же реально произошло с Криштофом-Федором Косинским, коего король лестью своей назвал в Брест на так званный церковный совет братерский, на котором отцами-иезуитами и продавшимися православными епископами была придумана так званная уния — особливая форма исповедания Христова, приводящая постепенно, по мнению учредителей, из скотского состояния в человеческое, то бишь из православного в католическое, ибо католики первии, а папа их — известный наместник Христа на земле этой грешной. Разное говорили о смерти Криштофа-Федора, поднявшего голос свой против отступников в епископских мантиях от старожитной религии греческой. Кто толковал, что схвачен был гетман на братерском совете и судим сборищем римским и русским, кои, дав ему вину апостата и отступника же, осудили на смерть безотлагательную и, замуровавши в некоем кляшторе-монастыре в столп каменный, названный клеткою усмирительной, голодом уморили. Семь тысяч козаков ринулись с оружием к Бресту, сведав о заключении гетмана. Множество польских жолеров встретило их под местечком, называемым Пяткою, преграждая дорогу к совету братерскому, где и были наголову разбиты и разогнаны по степи. Но в живых Косинского козаки не обрели и, удовлетворившись разбоем и грабежом панских и иезуи-

тских маетностей, повернули на Запорожье, где был уже дан сигнал ко всеобщей отчаянной брани. Иные твердили, что убиен был гетман Косинский в славном граде Черкассах, за ревность свою к благочестию и спокойствию народному учинившись первой жертвою унии¹.

Павло в это время служил сотником в надворном войске князя Василия-Константина Острожского и в сражении под Пятком воевал против запорожцев Косинского, — через несколько лет пришлось искупать свою вину перед Кошем: вернувшись с добычей из Молдавии, он передал запорожцам громадный табун лошадей о нескольких тысячах голов и свою саблю — с предложением либо принять искупление за битву под Пятком против Косинского, либо этой саблей отсечь ему голову. Запорожцы не без колебаний простили его, а после и возвысили служением до генерального осавула. В это время Русь уже набухала тревогой о Церкви и полнилась разнообразными и невероятными слухами, — только слепой и глухой не мог заметить, как посольство вооружается дубинами, косами и гвинтами, как древние старики снимают со стен прихваченные ржой турецкие сабли: казалось, весь народ готовился воевать Корону на мятежных епископов. На Полтавщине горели уже панские усадьбы, освещая глухие, слепые ночные пространства на всем оставшемся пути до Черкасс.

Так сбылось пророчество умученного голодом гетмана, произнесенное в представлении к королю и сенату, что *«перемена в вере и обычаях народных, в Бресте заводимая духовенством без согласия народного, есть преткновение, весьма опасное и неудобисполнимое и что согласить умы человеческие и совесть каждого — есть дело почти не человеческое, а Божие, и он не надеется удержатъ народ в слепом повиновении духовенству и своевольно нововводимым в церковь правилам и просит правительство отвратить зло оное...»*

Да, собственно, и не смерть Криштофа-Федора нужно было осмыслить Павлу, — погиб ли он лютой голодной смертью или был предательски убит некогда дружней рукой, — смерть нашла Криштофа-Федора, потому что не грел сидницу на печке, а был воином, вольным рыцарем Запорожья. А что терять козаку, кроме воли, свитки, оббитой сабли и старой рушницы? — их не жаль, потому что в будущей жизни он обойдется и без сей амуниции. Она ведь потребна здесь, в этих вот степях, лежащих окрест. Душу бы не потерять на разъезженных путях к смерти. Об этом и старался думать Павло, отвлекаясь от страшной смерти Косинского, коего уже не вернуть, от винокурни под Вишневецом, от сокровенного бочонка, закопанного на Мушиной горе, набитого талерами и дукатами.

Что есть душа приходящего в мир человека и преходящего в нем? Отблеск горнего, осколок былой благодати и полноты павшего праотца, — и это смутное ощущение несешь в себе через дни, исполненные дыма, гнева и крови, стараясь уберечь и не растерять, не разменять на временное и якобы нужное, на вроде бы справедливое, принадлежащее дню сему, кой, как прочие, изыдет в серой песок забытья. В крике и плаче, слизью, а не оксамитом и кармазином покрытый, рождается человек от чрева матери своей, — свершается сокровенное и таинственное, чего до конца не понять, — и в крещенской воде нисходит на главу младенца невидимый голубь Духа Господня, — и зажигается в тельце его светильник бессмертной души. Если зрят твои глаза не только плотью единой, но духом, окрест себя — в темных безмолвных полях, в затаившихся селах и хуторах, в крепостях, в лесах, в шалашах рыбаей, среди дымных костров Запорожья — ты увидишь мерцание как бы зажженных свечей, прикрываемых от жесткого ветра ладонями, — это души живущих людей — тех, кто известен тебе, и тех, чьего имени ты не знаешь. Кто сии? Древние неубитые дедуганы, славящие былые походы и сечи под перезвон печальных струн кобз и бандур. Молчаливые скорбные женщины — матери живых и убитых, стоящие в ожидании на околицах сел. Статные красавицы-молодицы, не спящие в своих жарких постелях в ожидании ненаглядных своих гнездюков из очередного похода на турка и волоха. Разномастная ребятня — девочки в крохотных плахтах, в венках из ромашек и васильков, с разноцветными

¹ Так писали летописцы поздних времен, весьма и весьма ошибаясь в датах, совмещая разновременные обстоятельства, — так даже первая козацкая война, именуемая Острожской, произошедшая при гетмане Криштофе-Федоре Косинском, мотивировалась отступничеством русских епископов на Брестском соборе, который произошел только четыре года спустя и совсем при других общественно-политических обстоятельствах, когда и вторая козацкая война 1594-1596 годов закончилась поражением и разгромом: я привожу поминания об этих событиях, добытые воистину золотым песком из скудных летописей того времени, не синхронизируя ошибок и произвольных истолкований в датах, в именах и топографических названиях, и таковых несовпадений довольно много. Так, к примеру, война 1594-1596 гг. в «Хронике Натана Ноты Ганновера — Еврейские хроники XVII столетия» отнесена вообще к 1602-му году, ибо составлялась в 30-е годы XVII века, да и для этого хрониста вовсе не важна была какая-то точность, — он ведь писал о другом, и волновало другое его.

ленточками за спиной — грядущие матери грядущих людей, подкозачата, твердящие по воскресеньям под церковью затейливые славянские буквицы из «Апостола», забавляющиеся найденными в открытой степи обломками древних сабель, наконецниками истлевших в земле стрел, свинцовыми, сплюснутыми когда-то о козацкие кости комочками пуль, — в ожидании и преддверии взрослости и — опять же — войны. Ибо не было здесь на сотни лет вглубь и назад ни одного поколения, которое не знало войны. Потому столь родюча, на ощупь жирна и обильна плодами эта земля, что налита кровью до черноты.

Россыпи призрачных огоньков, как в небесном Чумацком Шляху, — души тех, из коих сложилось посольство, народ его родины. Все они — бедные и богатые, сирые, убогие и святые, воины, землеробы, священники, волопасы, шибенники, гультаи, подскарбии и дозорцы на речных переправах — дети одной матери.

*Помнож, Боже, на віки козацькую славу
І покори піг нозі врагів наших главу,
Та буде всігда плідна козацькая мати,
І гіти її в силі всігда процвітати!*

Неложно так сказано среди холода, убожества, одиночества, вдовства, работы от зари до зари, наездов татарских чамбулов, гаморных невольничьих рынков Стамбула и Кафы, среди карканья воронов, вынимающих лакомые глазные яблоки убиенных на бранных полях, среди жестоких панских расправ, хлюпанья невольничьих весел на турецких галерах, среди стона, плача, зубовного скрежета, во тьме внешней, в смятении отчаянных и обреченных восстаний, о которых польские сладкопевцы-поэты писали незгарбной латиной:

«Козаков низовых, впрочем, большее встретило лихо: они, яко град густой, убитые падали на землю, или как с дуба, если его потрясти, опадает жолудье. Остро железо сердца гордовитые насквозь пробивает, с уст запорожцев убитых течет кровь багряна ручьями» (Симон Пекалиг).

Здесь всегда все нажитое было тщетой, не стоило битого шеляга. Ярая и ненасытная на поживу орда тучей шла с юга, и ничем, кроме силы, нельзя было остановить этих оборванных диких наездников. С запада — в овечьих шкурах, но с волчьими горлами, топтали нивы и жизни легионы горделивых панов Польской короны, оттачивая вполне европейское искусство войны на земледельческом православном народе, который по забитости и вспомнить не мог, что есть он народ целокупный и неложно великий, будучи прямым спадкоємцем-наследником славной и могучей в веках Киевской Руси-Украины, павшей во прах и ничтожество. Здесь, на отцовской земле, в реве злых сил, можно было сохранить только душу в своем ободранном и ободранном до исподней рубахи теле, влекомом на немилосердные тортуры и смерть. И это все, на что мог рассчитывать даже и можновладец, не говоря о голоте... Каков залог правоты и несмущения духа дан был от Господа нам? — думал Павло, и, как ответ на безмолвное вопрошание, провалилась вниз монотонная стена полевых трав, и разверзлась — взгляда не хватало достичь — неосажное, иссиня-голубое и нескончаемое колесо мироколицы, и в нем, как в чаше, шли, будто из мрамора высеченные, горы облаков, и под ними — сердце остановилось и сжалось до боли от неземного благолепия и красоты — светился синий днепровский плес, простирающийся куда-то за оком.

Вот этот залог, — напряженно думал Павло, спешившись на высокой днепровской круче, — вот то, чего не преодолеть никогда никакой суетной мыслью, ищущей выгоды и оправдания в сегодняшнем дне. Этой великой и светлой водой шесть столетий назад омыт был народ — и началось время истории. Шесть веков из поколения в поколение передавались сокровенные и ненарушимые святыни, хотя и тогда горели окрестные земли и жизнь едва ли была легче и лучше. Разные люди и в разные времена отбирали войной у живущих здесь имущество, скот, детей и саму жизнь, но никто не заносил руку на святая святых, что превыше земного и брэнного. Ибо залог всегда был перед глазами и рядом. И вот из лона народа и Церкви самой, дьяволом наущаемые, явились, не стыдясь Божьего света, ложные пастыри ослабевших и колеблемых душ, — ведь представить себе невозможно: сам митрополит Киевский Михайло Рогоза с причтом и восемь епископов-бискупов, чьи имена достойны презрения, — хотя, конечно же, не мне их судить. Лестнейшим образом еще в 1590-м году сии пастыри были созваны в Брест-Литовский городок на так званный совет братерский. Нунций папы римского Климента VIII, который непонятно по какому праву председательствовал на этом «духовном греческой церкви соборе», как назвал сам себя совет братерский, ниспослал русскому духовенству благословение папское и воззвал к единоверию и сопричастию славы *обладающего миром* великого папы. В приданое к тому, как известили Павла, нунций папешский обнадеежил наддачею *соединенным* епископам и монастырям городков и селец от польской Короны, а белому приходскому священству — по

пятнадцати домов в послушание, рабству подобное, из ихних же прихожан. Это и было исполнено определением короля и сената.

«Духовенство русское, — как позже писал летописец, — прельстясь поработением себе толкового числа своих соотчичей и чад духовных и не заботясь нисколько о обязанностях своих пред Богом, пред общей Церковью и пред народом, их избравшим, подписали согласие на унию и присягою то утвердили».

Только трое епископов — северский Иоанн Лежайский, переяславльский Сильвестр Яворский и подольский Иннокентий Туптальский — возвысили свой сан папский благодаримым и твердостью:

«Сии мужи, исполнившись ревности по вере своей гревней апостольской и по отечественным законам и обрядам, возражали соборищу оному, препирали его и, наконец, торжественно пред ним и пред целым светом протестовали, что они, бывши членами великой католической Церкви греческой и иерусалимской и не имевши от ее патриархов и всего духовенства согласия и позволения на перемену догматов и обрядов, гревними Вселенскими соборами утвержденных, не признают вводимых в нее новостей и творцов их законными и правильными и весьма от них, яко от самозванства и заблуждения, отрицаются. Соборище оное, по многих словопрениях и угрозах, не поколебавши сих столпов Церкви, предало их оскорблению и, урезавши им бороды, изгнало из сонмища своего, осудив на лишение сана их и должности».

Тяжко и маетно поднимать со дна души скорбь и обиду свою и других и вспоминать, вновь видеть то, чего лучше не видеть, не знать, теша душу вроде бы миром, покоем, обычным течением дней. Зла как бы и нет, если не думаешь, не вспоминаешь о нем. Но не ему — в преддверии большого чигиринского круга — не ему не знать о том, как новоявленные униаты, дорвавшись до дармовой и освященной из Рима добычи, имея за спиной кварцное коронное войско в поддержку, захватывают и разоряют древние монастырские обители, грабят ризницы, оскверняют православные храмы, выкалывают в помрачении глаза на лица чудотворных икон, — и обозы, груженные драгоценной храмовой утварью, через всю сплюснутую Русь-Украину тянутся в Варшаву и Краков, где награбленное перебивается на монету. Да, он знал, что священников, добровольно не покинувших своих храмов, убивали даже и в алтарях, при свершении литургии, церкви же русские гвалтом обращались на унию. Знал и видел, едва сдерживаясь от одинокого и бессмысленного нападения, как духовенство папешское, наводнившее край, с триумфом разъезжает по земле его родины и любви для надзора и понуждения к униатству, — и возят их от церкви к церкви людьми, запряженными в фуры по двенадцати человек в цуг, — верно число апостольское неслучайное это, а сидящий в коврах прелат или бискуп ощущает себя Христом Спасителем заблудшего мира... И на прислугу сему духовенству, — так говорят, — выбираемы староством красивейшие из девиц народа его...

Среди всего этого выстоять, — в безлюдье, на оскверненной земле, в виду покойного днепровского плеса думал Павло, — не дать черному гневу затопить солнечный свет, — иначе только прибавится зла на нашей несчастной земле... Но что делать?.. Стоять в Запорожье, залепив уши воском, чтобы не слышать стонов людей, мучимых на тортурах за веру? Вынуть глаза из зениц и положить их в подножие Покровы Сичевой, дабы простила за то, что отдаю землю Ее на пагубу и осквернение? И — не видеть. Не слышать. Не знать. Мы — подданные польского короля Сигизмунда III Вазы. Как скажет король — тако и сотворим. Покоримся былому пастирю нашему митрополиту Михайле, променявшему спасение в будущем веке на нынешний Ватикан. Что могут сказать нам сии — Сигизмунд и Михайло? Что все — велелепно и бардзо, — и пусть обители, славные при дедах и прадедах наших, отдаются в аренды под винокурни и путевые шинки народу от иудейстех пределов, коему Сигизмунд поспешествует во всех начинаниях?.. Да не будет!..

Счастье, когда просыпаешься во взвеси плотного света, рвущегося в слепые оконца батьковой хаты, и тебе тринадцать-пятнадцать годов, и на дворе — зрелое лето, Спас Яблуневый, и нету войны. Отец ладит сбрую в белом и ослепительно солнечном, в прозрачных, благорастворенных воздухах тонко струится зеленватый дымок турецкого зелья из его глиняной люльки. Отец еще жив, и мама еще так молода. Вон под рясным вишеньем накрывает трапезу: на чистой отбеленной холстине в крупно нарезанных скибах блестит ноздреватый и черный, как земля, хлеб, в обливном глеке желтеет жирная парная молочная пенка, и рядом — изумрудная, промытая проточной водой зелень. Так бы и жить, чтобы детство длилось всегда. Это замершее мгновение, высвеченное покоем и радостью, запомнилось, застряло в Павле, хотя потом, очень скоро, все отменилось. И стоя на крытом персидским ковром радном помосте в ряду козацкой старшины, слушая и наблюдая все, что происходит внизу,

думал отчего-то о том же: потом все отменилось, перечеркнулось... Что же есть правда сей преходящей жизни? То ли счастье, мгновение коего застыло в нем навсегда, или же то, как мгновение это нарушилось, было разбито в осколки неумолимой десницей судьбы и изошло в прах, как бы и не было? Истинно ли то, что было потом? Или все же истинно детство его, когда случилось так много солнца и тишины, каких не было потом никогда? Где суть нерушимого и постоянного, в чем жить, или хотя бы к чему стремиться душой?..

Так думал в себе глубоко, а вокруг гомонила черная, тысячеустая рада козачья, Великое Коло Запорожского вольнолюбивого воинства. Бритые головы, оселедцы лихие, усы, прищуренные глаза, будто выцеливающие сквозь прорезь затынной пищади, куда положить следующий выстрел, проблеск серебряных серг в ушах заслуженных старых вояков, живой и подвижный лес пик, секир, хоругвей и бунчуков, стрельба из мортир, глухое ритмичное уханье бубнов под билами войсковых довышей, рассыпчатый и нестройный звон жалованных прежними королями литавр, треск саксонских мушкетов, сотрясающий поднебесную, — и дальше, до самой грани окоема, — россыпь костров, войсковых походных наметов и шалашей, обозы старшины, возы посполитых и чумаков.

И потемнело небо от взброшенных враз в летнюю синь шапок, магиров и капелюхов козацких. Черная рада нестройно и вразной ревела одно: Наливаево имя.

Выраженная цветно и стройно войсковая старшина шанобливо расступилась, ломая собольи шапчины, уклоняясь ему, новому гетману православной Руси-Украины. Миргородский полковник Григорий Лобода, старый и верный товарищ, мерно, с превеликим достоинством поднес ему тяжелую гетманскую булаву, а генеральный бунчужный Матвей Саула — белоснежный бунчук. Мушкетные выстрелы покрыли разноголосые крики — плотным пороховым дымом на время заволкло Великое Коло. И волна света, тепла, упоения постепенно гасила душевную тяжесть его, влекла в предощущение времени, которое как бы готово было отразить и продолжить то давнее, детское, когда было так много солнца и отца его еще не избили до смерти гайдуки пана Марциана Калиновского в споре за землю в Гусятине, после чего детство его и закончилось. Предощущение света...

Он снял шапку с малиновым оксамитовым верхом и тяжело уклонился войсковому товариществу.

Дожил бы дед Наливай, дожил бы отец, дожили бы убитые дядья его до чигиринского Великого Кола, до черной рады козачества и посполства, — увидели бы, как каменеет в вечности имя Наливаева рода, и как он, последний и недостойнейший из них, обретает право на имя, право на честь и бесчестье, право на жизнь, смерть, славу и забытие... Не дожил никто, кроме брата Демьяна, священника в славном граде Остроге, духовника светлейшего князя Константина-Василия Острожского, к которому после смерти отца они и перебрались из Гусятина. Не увидел никто. И в будущей жизни неупокоенный дед Наливай только, вероятно, хитро усмехнется в желтые прокуренные османским зельем усы, прищурит глаза на своего гетмана-внука и скажет разве что:

«От по жопи лозынякою тоби надаю, — ич, який гетьманок!..»

«Нет, братья, — и тверже, отсекая и уже не желая повторения прошлого, — да и как что может повториться в этом текучем, обманчивом мире, замешенном на кровавой сыворотке, когда нет уже тех, коих безмерно любил. — Нет...»

И твердой рукой отвел от себя булаву и бунчук.

Разноголосые крики, говор и смех как бы откатились от него к поднебесному краю, — и остался в широких просторах земли один только ветер, в коем тяжело, натруженно всхлывали гаптованные золотом и свинцом древние войсковые хоругви. Великая, мертвая тишина непроницаемо окружила черную раду, будто земля снова была безвидна и пуста, и тьма зияла над бездной.

И повел снова рукой, как бы отделяя теплый свет от холодного мрака, и сказал тихо, едва слышно, как бы себе:

«Не могу, братья, по достоинству своему...»

И люди молчали.

Смотрел в ноги, склонив непокрытую голову, но как бы и видел голубые, от века и мудрости скорбные глаза Лободы под клочковатыми седыми бровями, пронизывающими его до нутра.

«Знаю, что не смерти ты опасаяешься, — сказал Лобода, — знаю...»

Павло поднял глаза на него. Медное, прокаленное огнем и солнцем лицо, усы, висящие чуть ли не до широкой груди, тронуты изморозью годов, твердый голубой взгляд. Он повел головой, — совсем как подорожня та сирота, вынесшая ему попить на чигиринском шляху:

«Нет».

Блеснула в движении серга Лободы, и он непривычно и как бы замедленно,

неуклюже встал на колени, склонив перед ним тяжелую многомудрую голову:

«Брат Павло, не оставь нас в погибели... Возглавления чаем... Не отрицайся...»

Войсковая старшина, неловко откидывая полы кармазиновых, подбитых дорогими мехами кафтанов, тоже вклякла вслед Лободе.

Снова смотрел в ноги себе, не смахнув наверху теплой слезины, — и слышал, как рада словно сбросила оцепенение и пришла в некое странное движение, — и когда поднял глаза, увидел, как оседают козаки на землю, будто стебли скошенной травы, и нивы людские клонятся долу до самых возов и наметов, — и шорохом над склоненными головами пронеслось единым дыханием:

«Батько, не лиши нас в погибели и позоре...»

И увидел перед собой, сбоку от Лободы, старческий, твердый взгляд духовника Запорогов панотца Стефана. Старец благословил Павла твердым знаменем, дал приложиться к кресту, кой держал пред собой, и сказал:

«Ты все знаешь сам. Все видел. На этой земле множится зло и множится скорбь. Ты назван гетманом ныне, дабы противостать скверне и злу, — но это не люди призвали тебя, но Заступница наша небесная — через них и для них. Благословляю тебя на служение это. Смирись и приими сей крест».

Осенив в другой раз крестным знаменем, он плеснул святой водицы в корец из серебряного походного бутылка и дал испить на силу Павлу.

И тогда Павло приял из рук Лободы тяжелую драгоценную булаву.

Снова ожила черная рада: запумпали бубны, рассыпчато зазвенели литавры, гаркнули гаковницы за возами и за наметами, сухо затрещали мушкеты:

Слава, слава и прослава!..

Старшина грудилась на самом краю помоста, его сторонясь, — знали, что воспоследует дальше, — полковники улыбались, как малые дети.

И вот первый ком жирной тясминской грязи ударил в грудь и мягко упал в ноги. Другой ком влучил пряником в лоб — шапка слетела долой, грязью забило глаза. Пока продирал, несколько комьев ударили в плечи, в грудь и в живот. Таков ты, тяжкий крест Запорожья...

Двое гультаев, выпивших уже по дармовой праздничной чарке, лезли вверх с тяжелой двуручной корзиной сочащейся мокряди. Он улыбнулся: да, в Тясмине достанет грязи на всех новых гетманов до скончания века... Не пресекай бы только этот народ... Между тем, раскрасневшиеся от толикой напруги и горилки козаки, крикнув, подыали корзину и, перевернув кверху дном, нахлобучили Павлу на голову под хохот, свист и стрельбу всего войска. Да полноте — они ли только что на коленях просили его принять сие гетманство?.. Они ли?.. И, может быть, завтра половины из них не будет в живых — но сегодня — живы они, живы и веселы, будто бы большие дети потешаются исполнением древнего войскового обычая.

«О, химерные, лукавые братья мои, — от века для вас жизнь и смерть — жарт и пригода, а Великое радное Коло — сродни рождественской коляде, — так сказал, выйдя из намета в чистой расшитой рубахе и в алых шароварах, бросив смятым комом прежний свой одяг, — и в том провижу я величие ваше, бессмертие, несгинение в тяжких этих часах. Господь да будет с вами всегда!..»

«Да будет всегда!..» — выдохнуло ответно Великое Коло.

«Ныне ниспослано нам испытание на прочность и непоколебимость: вы знаете про недостойных высших пастырей наших духовных...»

«Смерти!» — кричали из козачьих рядов.

«Пастыри наши знают, что делают, — выкрикнул некто тщедушный с серым лицом, в платье чигиринского мещанина. — И не нам, грубому быдлу, судить пастырей наших!»

«Смерти!!!» — разнеслось по округе.

И:

«Разве пастыри древних времен были дурнее, чем эти запроданцы?! Разве испрошены мы, христиане, о перемене древних соборных установлений и дедовских обычаев?!»

Павло краем глаза видел того крикуна, из чигиринских мещан. Двое козаков уже мяли его кулачищами по голове. Лицо его кроваво подплыло. Бедолага слабо всплескивал ручками — совсем как тряпичная лялька в ярмарковом вертепном театре.

«Эй, вы! — гаркнул Павло тем молодцам. — Еще нет сечи, остыньте! Нет его в том вины, что сказал!»

«А чья ж то вина? — ослабился дужий детина в белой свитке. — Може, и наша?»

«Бес глаголет устами его», — промолвил панотец Стефан.

«Так мы и хотим того беса выколотить из его дурьей башки!» — зареготал детина и так турсанул мещанина, что ноги у того поддомились и он упал в сбитую пыль.

«Такой был розумный, — кто-то сказал. — По грамоте чел в батьковой лавке...»

Видать, не в коня корм пошел...»

Червоточинка гнева засквозила в груди у Павла, но он пресек, остановил кровавую пену, что готова была выплеснуться на виновников, — в такой день — и защищать униата!.. Пропади ты без следа, еретик!..

Козаки уже подхватили мещанина за руки и ноги и поволокли к багнистому берегу Тясмина. Набив заблудшему бедолаге полную пазуху тяжелой грязи, они раскачали его и зашвырнули чуть ли не на середину невеликой реки.

«Остынь, грамотей!.. Предстань пред Богом-Отцом в тясминских кармазинах — хай рассудит, скажи, и про бискупов засратых твоих!..»

«Скоро и они приплывут за тобой в будущину!..»

Несколько мутных пузырей лопнуло на том месте, куда упало обреченное тело.

Рада возбужденно ворчала.

А Павло подумал о том, что вот как получается — словно сакральную жертву какую-то на черной раде принесло войско молоху скорой войны, — и войны не обычной, но какой-то особенной, не бывавшей доселе.

Это была обычная, рядовая запорожская казнь, — сколько даже старшины и кошевых запорожских утоплено так в водах отцовских Днепра и в притоках его, не считая посполитых и охочекомонных, чинивших неправды, либо дрогнувших душой в этом суровом мире и времени.

«Вот и вы уже множите зло, — сказал козакам Павло, что вернулись от Тясмина. — Или мы — ляхи?»

«Так что же, пан гетмане, — выкрикнул русоголовый молодой козачина, — подставим левую нашу ланиту?! Альбо пойдти ныне и сдайся на милость панам и сверх приими костел, — гадаешь, не уморят они твою милость по подобию Криштофа-Федора?»

Кто-то на это смеялся.

Лицо Павла потемнело. Красные круги застили свет, небо и землю.

«А ну, джуры, — кивнул он гайдукам, — подайте сюда того умника!»

Джуры прыгнули прямо в толпу. Козачина пытался бежать, но смеющийся люд так густо стоял, что джуры быстро настигли его.

«Скидывай шаровары! — приказал Павло, сматывая с пудового кулака нагай. — Посмотрим, что у тебя там за ланиты!..»

Рада подзадоривала крикуна и смеялась.

«Батьку, я краще накладу дурной своей головой, — сказал козачина. — Но позорить себя не дам!»

«Добро, — в душе Павло уже отошел, смотрел на хлопца лукаво. — Милую тебя данной мне владой. Но милуй, сынку, и ты, если будет змога и сила. Бога, имя чье носим, — не забывай».

Козак спрыгнул с помоста, сверкнув белозубой усмешкой.

«Ну, козаки, как поступим с теми епископами?» — спросил просто так, ибо знал, каким будет ответ. Но, может быть, кто-то, как тот химерный чигиринский серяк, по-другому распорядится своей душою и совестью?.. И как остановить ползущую эту скверну? В его ли то силах и власти?..

«Смерту!!!» — ревела и бычилась черная рада. Взблескивали в солнечном свете обнаженные сабли. Грозно развевались бунчуки и хоругви. Пыльная хмарь застила блеск и сияние солнца. И виделось отчего-то: вороны, жирные громадные вороны, раздобревшие, как хряки, на белых козачьих телах; толпы вдовиц и незамужних девок, проклинающих имя его и готовых хоть бы и на унию ту, только бы рожать на погибель себе ни в чем неповинных детей, — и с другой стороны — такие же толпы панянок варшавских, люблинских и краковских, — и нету в этой хмари живых, кроме них, этих женщин безмужних общего сарматского корня, которым уже не рожать сыновей на славу этой земли... Но что, что он спроможен свершить, чтобы не было этого?.. Он — всего лишь орудие во всемогущих руках, — и путь неведом ему. Орудие — но не слепое?.. Он должен без жалости карать отложившихся от народа, занесших мерзennую руку на святая святых. Да, это так. Но как взыскать в этом мире и на этой земле те сокровенные милосердие и любовь, которые есть основы сущего и непреходящего? Как воплотить это «*Ненавидящих и обидящих нас прости...*» — здесь и сейчас?.. Бога просим простить, — думал Павло, — а сами — прощаем ли? Старец печерский также говорил: «*Дух Святый есть любовь, и Он дает душе силу любить врагов. И кто не любит врагов своих, тот не знает Бога*». Значит, за незнание подымаем ныне оружие на единокровного брата нашего?.. Да, мало кто из нас по крепости духа и по глубине потаенного знания достоин чина чернецкого. Но хотим послужить верой малой своей и предстательной правде Церкви единой, святой и апостольской, нас берегущей и путь указующей истинный. Но милосердие — выше. Даже сейчас, когда осквернена и сплюндрована наша земля. Сейчас, когда теряем в

жестокости казней и сеч спасение душ наших... *Смерти!* — так преисполнена чаша. Ничем, никакими словами и властью, никакими универсалами не остановить лавину гнева и боли, копившихся столько лет. Казненные гетманы и пастыри Церкви. Тьмы козаков, павших в битвах за упрочение Польской короны в войнах на четыре стороны света. Тьмы тем простых посполитых — замордованных, загнанных и забытых, — они, их бессмертные души обступают меня — и сурово молчат... Как и кого — за все это простить?.. Милосердие... Слово легко, да жизнь тяжела.

И сказал твердо в неистовство рады:

«Легко начать войну, но трудно закончить. Каждый из вас — больше унии, важнее мятежных лжепастырей наших. И знаю одно: несмотря ни на что я должен вас сохранить, братья мои и войсковые товарищи...»

«Так что же — не будет войны? — крикнул кто-то из тесных рядов. — Будем и дальше терпеть?!»

Он ничего не ответил. Смолчал.

Ночью писано было письмо королю Сизизмунду. Скрипело писарское перо. Чадил и мигал каганец, Потрескивали в огне, налетая, комахи. Усталый, выкрикнувшийся днем Чигирин храпел на всю поднебесную. Звезды лучили холодный, призрачный свет, и будто бы не было времени. Сопел, пыхал глиняной люлькой бессонный Григорий Лобода, слушая смятенные слоги послания:

«Народ русский, быв в соединении перве с княжеством литовским, потом и королевством польским, не был никогда от них завоеванным и им раболепным, но, яко союзный и единоплеменный от единого корене славянского, альбо сарматского происшедший, добровольно соединился на одинаких и равных с ними правах и преимуществах, договорами и пактами торжественно утвержденных, а протекция и хранение тех договоров и пактов и самое состояние народа вверены сим помазанникам Божию, светлейшим королям польским, якоже и Вашему королевскому величеству, клявшимися в том при коронации пред самим Богом, держащим в деснице Своей вселенную и ея царства.

Сей народ в нуждах и пособиях общих соединенной нации ознаменовал себя всемерною помощию и единомыслием союзным и братерским, а воинство русское прославило Польшу и удивило вселенную мужественными подвигами своими во бранех и в обороне и расширении державы польской. И кто устоял из соседствующих держав противу ратников русских и их ополчения? Загляни, найяснейший королю, в хроники отечественные, и они госвидчут тое; вопросы старцев своих, и рекут тебе, колико потоков пролото крови ратников русских за славу и целость общей нации польской, и коликия тысячи и тьмы воинов русских пали острием меча на ратных полях за интересы ее. Но враг, ненавидяй добра, от ага исшедший, возмутил священную оную народов едноть на погибель обоюдную. Вельможи польские, сии магнаты правления, завиствуя правам нашим, потом и кровию стяжанных, и научаемы духовенством, завше мешающимся в дела мирские, до их не належныя, подвели найяснейшего короля, нашего пана и отца милостивого, лишить нас выбора гетьмана на место покойного Косинского, недавно истраченного самым неправедным, постыдным и варварским образом, а народ смутили нахальным обращением его к унии! При таких от магнатства и духовенства чинимых нам и народу утисках и фрасунках, не поступили, едгак, ни на что законопреступное и враждебное, но, избравши себе гетмана по правам и привилегиям нашим, повергаем его и самих себя милостивейшему покрову найяснейшего короля и отца нашего и просим найуниженнише монаршего респекту и подтверждени прав наших и выбора; а мы завше готовы естымы проливать кровь нашу за честь и славу Вашего величества и всей нации...»

«Даром», — сумрачно сказал Лобода, когда закончили сочинять.

Павло знал об этом и сам. Но сорвал со стены плеть, рубанул в сердцах что было силы столешницу, — только щепка полетела в белое со страху лицо писарчука. Отбросил плеть прочь, вышел на двор. С околицы городка слышалось протяжно-тоскливое слаженное пение девок. Смотрел в непроглядную, бархатисто-черную ночь, вдыхал густой пряный дух окрестных полей и лесов, видел бессчетную россыпь звездного Чумацкого Шляха над всем этим миром, и думалось ему отчего-то о ложном величии человеческом здесь и повсюду, сейчас и всегда, когда так ощутимо и непреложно, нескончаемо мерно течет река времени. Что остается? Видел многожды сирые камни, обитаемые разве что зверем, на месте некогда богатых, могущественных городов, чьи имена тоже погребены в непроницаемой толще забвения человеческого. В открытой степи и посеячас стоят на курганах пузатые идолища, — где те, кто рубил их из дикого камня, и где те, кто с молитвою к ним обращался?.. Плывут высоко над землей белоснежные горы облак. Молчат небеса. Неисповедимы мировые пути. Пришли сюда новые люди, принеся со своими заботами и свое время. Откуда пришли? И о том не

знает никто. Молчат книги, в которых гремит и сверкает мечами, стенает, подплывая кроваво, разве что история последних столетий. И выходит, история и память людская свершаются только войной и насилием, рекомым воплощением небытия. Мир и покой неявны, их как бы и не было вовсе, — мертвая тишина, немое молчание. Да и было ли это — мир, покой и молчание?.. Если молчит давнина, то вольно ли прозреть будущину?.. И кто ты, гетман Руси-Украины, безродный и безымянный, в этой реке времени, подставляющий усталое, бессонное лицо свое под неверный струящийся свет недостижимой россыпи звезд? Кто ты и где?.. Прейдет сей Чигирин, спящий за земляными валами. Иссохнет когда-нибудь Днепр, отравленный в источниках вод по неложному Иоаннову слову падучей Польшью-звездой, чернобылкой. Прейдет сей народ. Забудутся тужливые думы и песни его. Уйдут в недра земли, рассыплются храмы и дома его. Прейдут это небо и эта земля... Ничего, кроме смерти и одиночества... Ничего. Как с этим смириться? Как это принять? И среди этого, с этим, — следует выжить свои дни без остатка и преодолеть в меру (безмерность) сил свое одиночество, молчание, смерть. Преодолеть рабскую немоту. Защитить сирот, вдовиц. Защитить от сатанинской руки соборную душу и правду народа. Но — не жестокостью, не насилием, не войной.

Милосердием.

*Йшли ляхи на три шляхи,
А татари на чотири,
Запорожці поле вкрили,
Чобітками зачорнили,
Шабельками заяснили,
Шапочками закрасили.
Попереду гетьман іде,
В правій ручці держить меча,
В лівій ручці горить свіча,
Горить свічка восковая,
Тече річка кровавая...*

Доносилась песня из тьмы. Да только, видать, не девки на вечернице пели ее, а сама судьба его маетная.

Картина 2. СУДЫ И РАСПРАВЫ. ЧИГИРИН, 1594

К полудню другого дня, когда Лобода с отрядом козаков повез ночное письмо королю, гневный, мятущийся Чигирин судил униатов, стаскиваемых с окрестных земель на местечковый майдан. Захваченных ночью в пуховых постелях комиссаров-папешников били батогами, валяли в пыли, купали в Тясмине до сопельных пузырей и выбрасывали за городские валы полуживых и растерзанных. Захараченных и непотребных русского племени, принявших *костел*, убивали даже до смерти. Никто из них не умел объяснить, почему согласился на унию. Люди пьянели от праведного суда, от первой взыскуемой крови. К вечеру подорожные рассказывали в Чигирине, что некто из православных духовных зарубил сокирою прямо в храме наставленного попа-униата, обагрив кровью священный алтарь. Другой, то ли беглый монах, то ли в прещении, поправивший свои добра при помощи комиссаров, был спасен от смерти козаками и приведен в Чигирин для расследования. Его приковали железной цепью за горло к городской сигнальной гармате и обмазали дегтем.

«Какие вины его?» — спросил Павло у генерального судьи Петра Тимошенка, прийдя на майдан. Тот мрачно ответил:

«Вины известные... Нечего о них толковать... Присуждаю на страту...»

«Смерть, Петро, его не минет стороной. Но хочу слышать о винах его...»

«Богохульство, — сказал Тимошенко. — Смольно захватил приход в Надточном-селе, а попа тамошнего Методия отдал на поругание и ганьбу комиссарам. Заложил за несколько золотых еврейям-орендарям святые церковные чаши причастные. Разбойничал среди прихожан, склоняя на унию, несогласных же сек до крови...»

«Да, смертидостоин, — сказал Павло, — но что скажешь в оправдание собственное?» — спросил у прикованного.

«Яко пастырь соединенный, аз повинен непослушных и сопротивляющихся карать и до послушества их приводить, сполняя доточно реченное Павлом-апостолом: *«Неведжу страхом спасати»...*

«Будешь спасен и ты по-апостольски, — мрачно промолвил Павло. — Почему зрешься святейших патриархов восточных и принял папежа?»

«Вещь мы давно утвержденную обновили и восстановили, — белькотал прикованный, — полутора года назад на Флорентийском соборе решенную

Сидором-митрополитом со причтом, и наивысшему пастырю Христову послушество отдали, а патриархов одбегли, яко тех, от коих нет утехи, науки, порядку и просвещения. Оне-бо токмо за шерстью и молоком до нас приезжали и вместо покоя меч между нами кидали, новые и неслыханные, канонам противные братства поразрешали, как ув Львови та Вильне, котри грозятся епископам поскидати тех со влады духовной... Что молвить за тех патриархов, коли поганин-турок ими владеет! Маемо бегать такого пастыря, кой и сам в неволе, и нас ничем рятовать не спроможен...»

«Богомудрый есть ты на злое, — сказал Павло. — Но чтобы разуметь доброе, не увидел ты истины, яко молвит пророк... Провинились пред тобой патриархи... Но разве школу греческую не патриарх ли нам заложил со греками же? И грамматику грецкую со славянским письмом не Арсентий ли, митрополит еласонский и димонитский, во Львове, от патриарха приехавший, учил детлахов наших в школе целых два лета? Просветилась наша земля книгами грецкого и славянского писем, что размножились от друкарей — братчиков киевских, львовских, острожских и виленских. Было ли от крещения такое? Не учился народ наш — церкви токмо Божии муровали, спустосые ныне от вас. Жить бы в мире и в злагоде, но полезли несытые вы, от дьявола рождшиися, на Православие наше, — и справу церковную ныне разорвано и поневолено, люд даньми обложено и посольство к уничтожению приведено, и убожество всюду намножилось!.. Что же сказал ты о недостойном митрополите Сидоре-отступнике давешнем, что убежал от кары после Флорентийской той унии до папежа вашего в самый Рим, покатоличился там, — сам знаешь это, — и возведен был в кардиналы за ревность костелу! Разве сей зрадца и здирца в пример был отцам нашим — и нам через них?..»

«Кому, брат Павло, все это говоришь и припоминаешь? — сказал Петро Тимошенко. — Сладко жрать да спать в перине пуховой — во что надобно этому пройдисвиту! Но да уснет!..»

«Да-да!!! — плел, как пьяный, расстрига. — И буду сопричтен к мученическому чину небесному! Поддай се, Боже, шоб мог я за Христа, за веру соединенную, за Церковь та за первенство папы жизнью оддати!..»

Сплюнув от омерзения на судный майдан, Павло отошел от сигнальной гарматы.

Миловать — этих?.. Распускать их по свету, как саранчу, — народу на посмех и на позор, ибо и сей от корня его, — готовых загрызть и мать родную, чтобы только властвовать, властвовать — над душами и телами захарашенных блудливыми словесами, над землею, над реками и лесами?!.. За что, Господи, ниспослана скверна на нас? За что орудие казни — бывые блюстителы душ и сердец?.. Да, избраны они — по достоинству нашему. Припомнил он: когда святейший патриарх антиохийский Иоаким, извергший прочь митрополита Онисифора-двоеженца с говорящим фамильным прозвищем Девочка, и наставивший на его место по просьбам посольства Михайлу Рагозу, сказал в Вильне при том: «Аще достоин есть, по вашему глаголу, будет достоин, аще же не достоин, а вы его за достойного удаете, аз чист есмь, вы узрите...» — то как в воду глядел. Теперь и увидели Рагозу в отступлении... И выжечь крестным огнем этот гнойник должны мы сами, — если здатны не только дудлить без края горилку и поставные меды, но и служить, как против поганных, силою Честнаго Креста. И кто-то в нем, скользкий и жалостный, с тоненьким голосишком, говорил, что они, коих считает он вражеством, — тоже ведь христиане, но толка иного, с неким повреждением совести-веры, — и как это ты, вельми несовершенный духом своим, дерзаешь поднять на них вооруженную руку? Ты же пытаешься стяжать милосердие и любовь к ближним, дальним и даже к врагам — к миру всему. Вот и яви милосердие ныне, сейчас, — милуй мерзеного расстригу того и отпусти его на четыре ветра. Господь рассудит его по винам его. Зачем тебе напрасная кровь, гетмане?..

Сидел в одиночестве, в полутемной мещанской хате, ощущая засасывающую и звенящую пустоту. Старался не слышать криков и ругани, бессмысленных бормотаний, доносящихся с проезжей дороги, где властвовал человеческий суд и где торопливо спешил к завершению сегодняшний день. Ему хотелось заплющить глаза и оставить все это — забыть, отрешиться, исчезнуть — и вынырнуть в дне наступающем, в других уже временах. Тело наливалось каменной тяжестью, болью. Отстегнул дамасскую саблю, положил ее на столешницу, ближе к руке, и прилег на лежанку. Тихий матово-желтый свет струился сквозь пергаментный воловий пузырь, падая на желтый же глиняный пол, на кострубатые лавки вдоль стен, на стол, пропечатанный ночью нагаем. Уже погружаясь в неверный и обманчивый сон, ватно, скучливо и безнадежно подумал о Лободе, прямующем путь на Варшаву, — если он доберется до столицы Речи Посполитой чрез беспокойные ныне пространства земли, если примет его Сигизмунд, а не сразу же заточат его в замок тюремный, то в лучшем случае устроит король еще один шумный и галасливый сейм из панов, который ничего не решит. Война неизбежна, как неизбежна предначертанная история земли и народов, ее населяющих... Нет

совершенства и цельности в текущем сем мире... — и уже погрузился в серый морок, в ничто, — и как бы очнулся в неизвестном месте, в каменном городе, где властвовал над застроенной хорамами впадиной древний большой монастырь. Обесцвеченная дождями затейливая колокольня, венчанная бескрестным ржавым, в пробоинах, куполом, подпирала высокое синее небо. Посреди обомшелых, отливающих зеленью стен высилась церковь, еще сохранившая следы былой красоты. Улицы, ведшие в гору, к полуобвалившейся монастырской бреме, были пусты и безжизненны. Окрест, сколь хватало взглядом достичь, не было ни души, ни тела живого. Над каменной впадиной, над достигающей небес колокольней шли высокие белые облака. Сияло холодное осеннее солнце, заливая город призрачным и ртутноподобным светом, — камни, дома и деревья не имели в нем тени. Он подумал, что таким и должно оно быть — время печали и осени. Шел в гору, спотыкаясь о камни, стертые тысячами подошв прежде прошедших, — знал, что идет туда, к отверстой всем ветрам бреме запустелого монастыря, — и не мог пройти и достичь, — путался в кривоколенных, заплывших грязевым месивом улочках, переулках и тупичках, заросшим окаменевшим сорным бурьяном, стучал в пугливо зачиненные челочечьи ворота, звал и кричал перехваченным судомой горлом хоть кого-то из сущих, но зовы его гасли в пространстве, как бы разбиваясь о невидимую стену отсутствия, небытия. От видимого в отдалении монастыря шли к нему волны горячего света, похожего на огонь, — они будто звали, манили его. Сиял съеденный ржой купол церковки — он видел, как сквозь дыры его вылетали черные и белые птицы. Безгололая колокольня качнула единственным уцелевшим от неведомого погрома колоколом, но тужливого одинокого звука так и не случилось над этим вымершим городом. Шел и шел, перебрывая калюжи, — под сапогами давилось и чавкало едва ли не болотное багно, — тащился из последних сил в гору, и глаза, заливаемые едким потом, различали уже какие-то химерные тени, торчащие под монастырскими стенами. Когда приблизился, тени, прежде будто вырезанные из пергаментного куска, ожили, сказались людишками. Замахали ему ломкими ручками, забелькотали что-то, глотая окончности слов. Трое из них так и не ожили — двое лежали прямо под брамой, одна — вроде женщины, прикрытая полуистлевшей хламидой, шевелилась под самой стеной, мостясь поудобнее на куче разновеликого мотлоха. Один из стоячих был преклонного к исчезновению века, — полуслепые глаза отливали красным вином. Другой возраста не имел, — лицо его казалось ссохшимся и скукоженным. Старик уже булькал в граненую склянку чем-то коричневым из зелена стекла красоули; набулькав до половины, протянул склянку Павлу:

«Трудовой привет труженикам от искусства!» — сказал он московским наречием.

Судом ледяной струей медленно стекла в низ живота. Павлу казалось теперь, что и солнце, и день какие-то ненастоящие, призрачные, — и из этого вразумилось муторно, но и с облегчением, что каким и быть солнцу, обливающему непокрытую голову его холодным, физически ощущаемым светом, и дню, в котором стоит перед облезлыми рыгами под монастырской руиной, — ежели все это сон, ложь и неправда, — и вот шевельни затерпнувшего правицей, сминая рядно на чуть теплой лежанке, и гнилая короста, где впечатаны сатанинские тени, спадет с матово-желтого, тихого света мешанской хагты, и снова прорежуся: Чигирин, застенные стуки и крики, привольная ширь могучих бескрайних степей его родины и любви, где прямует свой путь к златоверхой угрюмой Варшаве миргородский полковник Григорий Лобода, везущий грамоту королю Сигизмунду, — и не мог разлепить тяжелых повек, видя землистые лица и слыша химерное бормотание:

«Так ты в самодеятеликах главный по гопаку?.. А ну — врежь, шоб земля застогнала!..»

«Та не, он, видно, поет... А ну, народную, козачок, заведи! А мы подпоем, как сумеем... Ой, на горі та й женці жнуть...»

«Где люди? — едва слышно сказал им Павло. — И что это за кляштор?..»

«А мы шо тебе — не люди? — скукоженный ослабил гнилые пеньки на месте зубов. — Мы, може, остатние люди и есть! Верно, дед?»

Старик в поспешности затрусил головой.

«А шо то есть кляштор, шо он сказал?»

«Кажись, монастырь так по-польскому называется... Еще полска не згинела! — глумливо прогнусавил старик. — Так шо, пан есть поляк?..»

Павло не ответил.

«Та русский, — сказал скукоженный за него. — Токо со странным акцентом. Щас все уже русские... Даже жидаы... Ты доклад ему про монастырь прочитай — ты ж экскурсии водил тут када-та, — може, даст на бутылку?..»

«Момент! — сказал дедуган и судорожно выпил из склянки. Закашлял, ломаясь бесктошно напопалом, прокашлявшись и вытерев вылезшую соплю, долго нюхал кусочек хлеба. — Так шо пана интересуе? История данного монастырища? Так?»

«И де люди?» — добавил скукоженный.

«Люди все на работе, — сказал дед, — строят красивую жизнь. Про политический момент распространяться не стану...»

«Та не надо, — одобрил сморщенный. — Он и так газеты читает».

«Про данный монастырище я в детстве золотом еще книжку читал, — вел далее дед, монастырь этот для паломников, када их было до черта, брошюры тада выпускал, — с историей, значит. Так от, такую брошюру я и читал. Про чудеса умолчу, бо наукой они опровергнуты, а факты, значит, такие: запорожцы монастырь этот фундовали — ще за царя Гороха, ниhto не знает — када... И наименовали его громко и видно: Самарский Святоиколаевский пустынножительный, — отак-от...»

«Нет такого монастыря на Запорожье...» — тихо сказал Павло.

«Та как нет! — рассмеялся дед. — А это — шо? — ткнул дрожащим скрюченным пальцем в облезлую стену. — А само Запорожье — он там! — махнул рукой в глухое, оплывающее влажным туманом пространство. — Тут недалёко...»

«Та давай уже выпьем!» — не терпелось скукоженному.

«Та подожди-зачекай, — товарищ интересуется шо было дальше. После известного переворота, вошедшего безвозвратно в историю, монахов тех толстопузых, шо книжки печатали и распространяли, как опиум для народа, всех разогнали — кого послали на север отечества грехи замаливать прежние, а кого и на юг, но в основном — под земную кору отдыхать, а кто выжил, тот уже как мог приспособивался к новой жизни и новому счастью: кто канал на севере родины ломом долбал, на папиросах увековеченный, кто желтое, кто белое, кто черное золоты добывал, а кто лес вывозил в Магадане, шоб больше не рос никада, — короче, заставили пустынников наших принимать участие в общественной жизни, строить совместно со всеми, кто не хотел, светлое будущее. Монастырь же сам разорили — золото-серебро запорожское на голод в Поволжье ушло, та все едино — было оно за царя Гороха награбленное у трудового народа из Турции, — ободранные же образа люди растаскивали: у кого скотина тягловая была, тот и телегой возил... Вот мужик у нас был тут очень хозяйственный — так у него стена в хлеву вроде иконостаса гляделась — всю сколотил из икон... Прошлым летом преставился, бедолага, — и не пил, не курил, а червь в нем какой-то завелся, да и выел ему все кишки... Криком кричал...»

«Ото надо было пить и курить, — червь бы тот и не выдержал», — сказал сморщенный.

«Ото ж и я говорю... Так от, — после того, как кресты поскидали, устроили тут тюрьму для народных врагов. А потом как-то сами собой враги перевелись подчистую, и учредили здесь больничку для дураков — ходили, помню, все по двору и цветочки разные нюхали. Потом и дураков почему-то не стало, перевезли их куда-то, чи може, все стали умными. В монастырище том тогда детей поселили — уродов и инвалидов, от которых родившие их отказались. Головки беленькие, — как сейчас вижу их, — оченята синенькие, смеются, бывало, и бегают друг за дружкой, — в квача, значит, играют, только не рукой пятнают, а ножкой, потому что вместо рук у них как бы малые крылышки за спинками были, — ну чистые ангелята!.. А теперь — нет уже здесь никого, кончается жизнь... Разве что мы вот еще... не допили пока что свое...» — в винных глазках его отразилась тень сожаления, жалости — к детям ли ангелам, к пропащим врагам, или к тем, что тихо бродили в вековых этих стенах, погружившись в себя навсегда, — то ли к себе и плывущим над ним, исчерпавшим себя без остатка временам?..

Павло качнулся на каблуках, преодолевая ледяное оцепенение, повел ладонью по своему сырому и как бы расплзшемуся лицу, обернулся назад, но города уже не увидел — на его месте дымилась гигантских размеров воронка, засасывающая пространство и время. И тут мозг небесным трескучим разрядом разорвала даже не мысль, но скорботно немой вопль о спасении, и, обернувшись к своим совопросникам, он поднял руку прочь отодвинуть эти гноящиеся глаза, тухлую закваску дыханий, россыпь сгинувших безумных словес о неизвестной ему земле, выдаваемой за родную его, — и увидел, как человечьи фигурки, подрагивающими клочками еще не размытых сочлений, пожираются серой прорвой тумана, — в осязаемо ватном и влажном последней красной искрой зажглись и погасли винные глаза старика, и на месте, где толкса скукоженный, уже расплывалась мутная лужа, в коей мок затерханный папиросный окуроч.

Павло, ослепленный туманом, протянул руку вперед и сделал прочь несколько торопливых шагов, пока пальцы его не уткнулись в шершавую монастырскую стену. Придерживаясь за нее, он пошел по направлению к броне. Кирпичи размокшим хлебом крошились под его скользкими пальцами. Вскоре плоскость заострилась углом, и Павло вошел внутрь стен. Здесь тоже господствовал туман, и только с большего приближения были различимы купы рослой крапивы и битого камня.

Шел по направлению к храму, — воздух здесь скис, словно старое молоко, и его приходилось разгребать пред лицом ладонями, — и если думал о чем, то только достичь крепких храмовых стен и сотворить в них едва ли не последнюю в этом мире молитву. И, может быть, умереть с ней, застыть навсегда, достигнув заветной домовины для усталой души. Ступни его ощущали уже заплывшую многолетним слоем земли церковную паперть. Между пальцев вытянутой десницы что-то высверкнуло теплым свечным огоньком, когда он дотронулся до холодной металлической двери, разошедшейся надвое от прикосновения. И тут грянул протяжно и одиноко колокол в небе, и развернулось отовсюду, будто веером, божественное песнопение, наполнив пространство, — удивленными немало глазами Павло увидел внутри рассыпчатый свет многих возженных свечей на медных почернелых шандалах и паникадилах, и множество молящихся в храме, — перед отверстыми Царскими воротами рослый диакон, облаченный в золотые одежды, возглашал великую ектению, а по узорчатому чугунному полу, едва касаясь его босыми ступнями, двигались дети в белых рубашках до пят, — и у них как бы не было рук, или, может быть, они были просто неприметны в свободных складках рубах, но на спинках у них ткань оттопыривалась так, как если бы под ней были спрятаны малые крылышки. Тихо и счастливо Павло ощутил, как неземной благодатный свет отогревает душу его, заполняет объем ее, — и больше не вспоминаются оставленные где-то там, в далекой дали, Чигирин, вчерашняя черная рада, выкрикнувшая его гетманом Украины-Руси, и насилие этого дня, когда пролилась первая кровь; и не думается, не страдает над тем, как повернуть ветрила начальной войны козачества и поспольства, и как среди этого стяжать, воплотить милосердие вживе, — и тем более не думается над блудливыми словесами тех пьяных химер, что остались в тумане. Может, и не было их, как не было ничего до этого тепла и любви, исполняющих душу.

Он наложил на грудь размашистый крест и опустил руку в кишению, чтобы добыть оттоль полгроша на свечку. Нашупал монету и, зажав ее в кулаке, вынул на свет. Может быть, улыбался, потому что слишком отчетливо зрело в нем то, что называемо счастьем. Стоящий рядом обернулся лицом и посмотрел прямо в Павловы глаза. Был он высок, седовлас, стрижен не по-козацки. Помеддив, тихо сказал:

«Не тревожься нами напрасно, гетмане, — и ничего не страшись в священном деле своем...»

Павло смотрел в его незнакомое худое лицо — на крупный нос, в светло-серые и неотмирные глаза, сидящие глубоко под бровями, — он не знал этого человека, но вместе с тем в лице его было что-то очень знакомое, степное и воинское, — и был он Павлом почти позабыт в громокипящих днинах войны, — и имя его, имя... И вспомнил, сказал ему:

«Знаю тебя и помню, старый товарищ мой: ты... распят под Пятком, после Острожской войны гетмана Криштофа-Федора, — распят жолнерами на манер Первозванного Христова апостола святого Андрея... Знаю и помню тебя, славный брат мой Опанасе! Радуюсь, что ныне спасен!..»

«Нет, гетмане, — сказал на это ему человек, — не Опанас я Криштофа-Федора, но от плоти и крови его в двадцатом колене, смертью умученный здесь...»

«В двадцатом колене... — оторопел Павло, — так, значит, тебя еще, получается... нет?...»

«Нет. При тебе — нет. И потом еще долго — после тебя... И вместе с тем — есть, — и мука уже принята».

«За что же муки приял?»

«А за что приял их незнаемый тот Опанас? Или ты, гетмане?...»

«Тебе ведомо и обо мне?...»

Седой Опанасенко ничего не ответил на это, будто не слышал, и говорил все свое:

«За что принимали от века здесь муки мужчины, которые пытались исполнить то, что ты заложил, как священный завет?»

«Я? — тут Павло еще более удивился. — Бог с тобой, человек, — ничего-то я не закладывал, — жил и был, как прочие все».

Опанасенко снова молчал, глядя на него испытующие, и сказал:

«Ты — просто жил?»

«Да, — ответил Павло. — Просто жил. Так жили все до меня, и так будут жить, когда я умру».

«Всегда ли?»

«Нет, не всегда. Но не мне тебе объяснять».

«Да, — сказал Опанасенко тихо. — Теперь ты видишь — все завершилось».

«И — исполнены времена?...»

«Ты сказал», — так же тихо ответил тот, оборачиваясь лицом к алтарю.

Неслышно, как бы по воздуху, шли дети мимо него, иногда прикасаясь к рукам

его складками белых одежд, словно дыханием света; низкий глубокий глас диакона числил уже ряд заупокойных имен: Тарас и Богдан, Иван и Ганна, Мария и Тимофей, Самойло и Опанас...

«Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащая и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй...»

И исчисленные сии тоже составляли единый и неделимый народ его родины и любви, — пусть он не знал здесь никого, *пусть они даже еще не пришли*, не увидели блеска и глубокой сини небес, не узнали на ощупь сужденной на жизнь и смерть им земли, распростершейся привольно там, за стенами, за туманами, за великими воздушными толщами, — но он, стоящий среди них и ими забытый, гетман без имени, один из многих, из многих — один, ожидающий, когда придут они в мир для жизни, славы и смерти, несет их в безмерном памятовании сердца, в чреслах своих, в гуле струящейся в венах неупокоенной крови, хранит их малые души, как немая до веку земля хранит и несет в себе семя, из коего произрастет хлебный злак, или дерево, или зелена трава-мурава, будто несет на плечах своих неустанные их дороги, пути и тропины, их скорботные, не облегченные его жизнью судьбы, и в нем столько же будущего, сколько и прошлого. Он — средоточие мира, креста, как средоточие мира, креста эти малые дети с крыльями вместо рук, проходящие в тишине и молчании мимо него, как средоточие рода своего и этот двадцатый вверх, в немыслимую и непредставимую высоту глубины бытия Опанасенко, отразивший в лице своем (и судьбе, и судьбе...) распятого в давние 1592 года Опанаса, в смуту-войну Криштофа-Федора, — и тоже принявший смертную муку уже по делам, Павлу неведомым. В белоснежных одеждах, омытые от кровавой пены и грязи, все они будто стоят на перекрестке миров и времен, — здесь и нигде, сейчас и никогда, — и легче ли тебе в этом родном и чужом стало, гетмане?..

Так было спрошено как бы со стороны, и полуда спала с очей, — и увидел: синий вечер окрасил белой желтый свет, и в хате мешанской загустевают смерклые сумерки. Все по-прежнему — домаха без дела покоится на столешнице, чуть тепла лежанка под спиной у него, и за стенами — Чигирин, родные пределы. С радостью, с облегчением и чуть ли не со слезами он снова услышал человеческие родные слова, голоса, ржание и пофыркивание лошадей, брязк оружия — тусклый и пока прикровенный, — извечные звуки войны. Все было по-прежнему, словно в мире не существовало ни смерти, ни бранной погребели, ни ответа на Страшном судилище, не существовало ни самое истории, ни той бездны, куда он заглянул, — но длился и плавился все тот же сегодняшний день, коему конца не предвиделось, да и быть не могло. Потому что иное — превыше сил человеческих.

Встал, не вспоминая уже о химерах, посетивших его, — да и было ли то, что увидел?.. Поднял правицу, вытирая лицо от испарины, — на пол с тихим звоном упала монета.

Медный литовский полгрош на свечи.

* * *

Что-то странное, неизвестное прежде, зрело в нем, когда стоял в густой и пряной остатными летними запахами чигиринской ночи, и пытался пугливой и слабой мыслью своей, перемежаемой молитвой Иисусовой, как бы залепить воском уши свои и не слышать треск и лягз в глубоких колдобинах череды смертных возов, наваленных застылыми мертвцами прошедшего дня, которые плыли мимо него один за другим. Единое слово билось в нем подраненной птицей, не способной взлететь в небесную глубь и обреченной на муку гнетущей земли, — *жизнь, жизнь, жизнь* — не знаю, что это, не знаю даже, что есть та малая вереница дней, которые прожил сам есть на свете, — вспомнить, что было: стычки, битвы, война и расправа; и было: убийство купцов и мерзненных орендарей, и ограбление коронных обозов, походы в Угры и Балахию, чадающие дымной копотью маетности иноязыких панов, — и когда удачливо все получалось, — переметные сумы, набитые чужестранной монетой и серебряной утварью, — что знаю еще о себе, кроме этого? И было еще кратким солнечным сном: как жил на хуторе с Ганной, с малыми детлахами своими, как возился на пасеке с колодами в медвяном и мирном гуле роев вечных тружениц-пчел, пахал черноземлю, — да только бросить семя в раскрытую борозду не всегда успевал, уходя к Запорожью, и оттуда — к синему морю разорять тогбочные пределы османские, резать и жечь сорную погань, бурьяном нарастающую в прибрежных аулах, — и снова надбанки: бочонки с ароматными винами грецкими и груды персидских шелков, кармазинов, парчи, снова брязк навоеванных червонных дукатов... Виновен ли? Турки, татары, единокровные ляхи, угры и волохи, с коими воевал, — мир весь, лежащий в кордоне с землей его родины, товарищество его тоже не миловал. Это и есть наша жизнь, наш удел, наша жестокая судьбина-беда: убийство, добыча и смерть... Но — ради чего?..

Возы со скрипом проезжали мимо него, уходя нескончаемой чередой в

черную предосеннюю степь. Возницы, сидя на стылых телах под горящими дымными смолоскипами, освещающими неверным и миготливым светом дорогу, переговаривались о своем, обычном и страшном:

«Тройко детлахов у меня...» — донеслось тяжким вздохом.

«Та у тебя ж чотыры по лавкам сидят!» — откликнулся тот, что двигался сзади за ним.

«Та на возу — вбыти лежат, — пойняв тепер?..»

«Та пойняв, — хай йому грець, тому гетману! — и помолчав, снова сказал: — Чи есть в тебе зелья — хоч люльку од жаха того запалю?..»

«Самому треба — не дам!»

«Шоб ты здох, чортыло таке! — взъярился просивший. — Хай бы оте детлахи униатськи воскресли та й задавили б тебе!..»

«Эгеж! За зелье те на яки прокльоны ты ще здатен?..»

Голоса в ругани затихали, отдаляясь, и из темноты прорезался свет нового смолоскипа, новый говор: погоньч клял тещу свою за то, что борщ пересолила в обед, а сотоварищ его посмеивался и покрикивал «цоб-цобе!» на серых печальных волов.

Третий, раскинув рогожку на трупах, лежал, глядя в звездное небо. То ли думал о чем, то ли мыслью витал, то ли дремал в мерном ступе волов. Грохотали, трещали, скрипели возы, груженные смертной добычей, — и Павло снова думал о них, — что убитые эти, растерзанные и изувеченные в злобе слепо-ответной жили в стрежне судеб своих на этой земле, в трудах, радостях и печалях, были людьми — живыми и разными. Но убиты. Мертвы навсегда. А что — с душами их? Куда определил их Суд Божий — за грех отступления от святоотеческого закона церковного? Может быть, то, что претерпели они ныне, это сущее мученичество, омыло сей грех, оправдало их как-то неведомым образом?..

Подошел к проплывающему в-третьих мимо возу, тронул погоньча за грубый дерюжный рукав, — тот оторвался от созерцания звездного неба, сел и равнодушно посмотрел на Павла.

«Как их имена?»

«Яки имена?» — не понял погоньч.

«Этих... Как звались они?» — Павло положил ладонь на рогожку, еще теплую от тела возницы.

«Та хто их знает? — погоньч с хрустом за ушами зевнул. — Може, и были у них имена. Може, и прозвища были. Теперь как ни назови, не откликнутся...»

«Есть ли дети среди них?»

«Та были вроде, если по дороге не выпали.»

«Их-то — за что?»

«А я — знаю? Тимошенко казав, шоб род поганский вывести навсегда, шо-то такое, — не розумиюся я в тех мудрых словах по письму, шо учена старшина говорит... А тебе шо — по пути, человекче? Так присажуйся, подвезу, — и добавил: — Путь прямуюем в самое сердце земли...»

«Да, — ответил Павло, — да, поедем. Поедем...»

Как был — в полотняной белой рубахе, заправленной в шаровары, перетянутый в поясе широким шелковым кушаком, без домахи, оставленной на столешнице в хате, без шапчины своей с оксамитовым верхом, сел рядом с погоньчем на рогожку, под которой лежали враги. Полно, подумалось, гетмане, враги ли те, у кого уже отнято дыхание жизни по войсковому суду? И если был какой-то особый настрой в пропавших их душах, если и было некое несуразное и немислимое вражество к общей крестной судьбине народа, то где они ныне, как осязать их и как не простить?.. Откинул закраину полога, заглянул в запрокинутое, отливающее голубым от звездного света лицо: стылые, пустые глазницы, глядящие в запредельное, куда не проникнуть взгляду живому, обострившийся нос, впалые щеки, вздернутый подбородок, крупно-острое адамово яблоко горла, в спутанных волосах — ком запекшейся крови и черная впадина раны-дыры. Крест по недостойнству сорван с груди.

Никто. Словно не жил никогда. Ни следа, ни могилы, ни памятливого теплого слова вслед отлетевшей душе. Будто и не был зачат в давней горячечной ночи любви, не возрастал в чреве безвестной степнячки, не выходил в ее муках в белый сей свет, не рос среди подкозачат, не шел в борозде, ступая в отцов след в теплой и мягкой родимой земле, не любил никого и никого по себе не оставил.

Никто. Без имени и без жизни. Как понять его дни, изжитые до сегодняшней кары? Верно, тлел без талантов, без нажитых надбанков и добр и безоглядной удачи — серяком и голодой, тяжко в наймах работал на разворотистого господаря, — на Запорожье не близко и боязно было уйти, да и страшился, что век невзначай укоротит — так бы и дотлел, дочадил до конца своего, до сивины и хворобы, за коей ушел бы как жил, как бы и не было вовсе, — или попал бы в лихую годину в татарский ясырь — довели бы в путях

его до синего моря, продали бы тогобочным купчинам в ханской столице, — хоть и рабом, но увидел бы свет за околицей господарского хутора, — умер бы там, но достойно и мученически, по-христиански, — и безмолвное тление и ничтожество изглажено было бы из небесных скрижалей. Да и если размыслить, то не всем воевать на четыре стороны ветра, не всем добычливо уходить от наступающей на пяты погибели, не всем обладать гетманскою булавою, — хотя, как воин, не однажды прошедший огонь, Павло не мог оправдать затхлоу, бесцветной, бессмысленной жизни, прожитой как бы в бессильно-злой насмешке над здравым смыслом и смятением бесконечной войны. Но, — еще раз сказал он себе, — не всем дано дело стояния за Отечество вооруженной рукой, но ведь можно иначе, как киевские подвижники... С переметными сумами и проржавевшей от крови домахой, в реве чуждого и враждебного мира, в пищальном дыму, в осажденных, вымирающих от жажды и голода, но не сдающихся таборах, мы как бы неразумные дети, безрассудно играющие судьбой, промысленной свыше, — в сравнении с совершенными ними, укрепляющими не только себя, но и нас глубокой и высокой беспрестанной молитвой в пещерных церквах... Да, или это — немыслимое по тяжести совершенства и духовного устроения. Но тление — серединный ли путь для немощных духом и телом?.. И может быть, требовалось немного: не творить зла. Он, наверное, и не делал зла въяве, питая химеры, гордыню и злобу в ущемленной и иссыхающей в бессилии душе, — и нужен был только прилог в меру сокрытой его ущемленности, чтобы химеры, гордыня и злоба взорвали кору благопристойности, тихости и покорности и открылось мелкое и клокочущее русло этой бесцветной жизнишки, чтобы конечно взъярилась она мутным сатанинским огнем — и сгорела дотла. И дан был прилог, достойный носимых химер и жажды не заработанной власти, невозделанной, не взрощенной силы, когда подпираемые жолнерами, пришли в его селище, где влек он свои тусклые днины, комиссары-папешники, приманивая земными дарами на унию с Римом. Дары те пришлось по нему — за них потребовывалась самая малость: предав Церковь Христову, увлекать и других в пропасть погибели. Тех же, кто твердо стоял на камне веры, следовало примучивать и до смерти самой, ежели не отрекутся и выдержат злые тортуры. И властвовать, властвовать, поднявшись из праха наемной работы, из собственной скверны, бессилия и ничтожества, судить и рядить над душами и телами тех, кто жил рядом с тобой и, может быть, сострадал тебе, когда питал ты до срока немые химеры свои, выплеснувшиеся наружу в годину иудиного предательства... Но недолги были дни, непрочно химерная пьяная власть, невелики оказались дары — битого шеляга, мелкого пенязя иль лоскута оксамита варшавского не уносишь ты в то запредельное, куда уставлены ныне освинцовевшие очи твои. Так сбывается реченное Господом: *«а иже неимать, и еже имать, отнимется у него»*... Простить — не могу. И знаю, что грех... Но — не могу...

И думал, все думал, закрыв рогожей лицо убиенного, думал рядом с молчаливым возникшей в скорбной ночи, думал, двигаясь в мерной и бесконечной чреде, думал, видя во тьме миготливые смолоскипы, и понимал, что неведомо как — судным словом, свершенной казнью и нынешним непощением — они, Тимошенко, кат-цыган, весь день надевавший петлю на головы присужденным на страту, и он, гетман Руси-Украины, как бы свершили, не понимая и не зная того, сокровенную милость небесную к этим прельстившимся, — и оправданы ныне они принятыми муками, возвращены в обитель благих — и помилованы. Да, прощены и помилованы. И вовсе не потребна им, бывлым зрадцам священного, наваленным купами на эти возы, его человекье прощение, — это беда и грех несовершенной и омраченной страстями души его собственной, потому что прощены они как бы насильно Тем, Кого предали, — посредством его, неразумного и недостойного гетмана третьего удела Пресвятой Богородицы, лежащего ныне в ночи. И как бы приоткрылся звездный полог покрывающей их мироколицы, и милость эта безбрежная и неисповедимая к брэнному и неразумному человечеству так въяве встала пред ним, что Павло на мгновение зажмурил глаза в слабом и охранительном страхе без следа раствориться в этом кратком и ослепительном проблеске кипящего светом, теплом и любовью мира иного, не называемого неразворотливым словом языков. Мысль, слово, суждение, памятование о пути к завершению дней отступили, как бы и не были никогда, и единое смиренно осталось, неизносимое устами, но напечатленное неизвестно откуда огненными буквицами в раскрытой к небу душе, — мытаревое прошение: *«Господи, милостив буди мне грешному...»* — углем света прожегшее смертное вещество и остов его до самой земли. Когда растворил снова глаза, увидел ночь, небесный Чумацкий Шлях, где чертили в разные стороны лучики путевые срывающиеся со своих мест на тверди небесной мелкие звездочки, увидел снова миготливые смолоскипы, освещающие крутые воловьи бока и бессонные, сумрачные лица погонячей-посполитых. Мироколица была прежней — великой, неисследимой и всеобъемлющей, — и кто ты здесь, странник, и для чего, и как имя твое в сотворенном столь совершенно, мудро и благостно мире?.. То, что открылось, осталось в душе, — так

отбивается в ослеплом подвечье красный рубец, когда невзначай примешь во взгляд грозовую стрелу пророка Ильи, — рубец мытаря в замершем сердце и сладостная тишина, прервавшая самое дыхание. Если бы так, в таком и сейчас ему умереть, — не было бы счастья больше, полнее... Но разве ты, путник в ночи, взыскующий милосердия и любви, властен над сроками?..

Когда расстегивал ворот рубахи, улыбался блаженной улыбкой — совсем как юродивый киевский Петря, предсказавший среди прочего еще при Стефане-короле на наступающий век невиданную доселе войну, великих воителей от плоти народа и великую же народную кровь, — помнил он Петрю киевского того, в тяжких веригах взыскующего креста и спасения вот уже тридцать лет у восточных врат обители славной Печерской, — и, верно, так улыбался он сам, снимая с груди своей крест червонного золота, даренный в крещении дедом еще Наливаем, ибо возница косился на него удивленно, подъяв на лоб клочкастую левую бровь. Но молчал до поры, пока Павло приподнимал с головой все задубевшее длинное тело убитого униата, и, поддерживая локтем, другой рукой неуклюже надевал и спускал по лицу до шеи гайтан, и возвращал крест на грудь со спины, и после мостил безымянное тело сие на другие тела. Впору сложить с себя уряд и податься до Киева, в сотоварищи к Петре под монастырскую браму, — так подумал усмешливо, — и возница буркнул севшим от молчания и бессонницы голосом:

«Дай покой людям!.. Мало тебе?..»

«Чего — мало?» — не понял Павло.

«Возишься, возишься... Хай лежат!..» — в его голосе слышался шелест, как от точильного камня, когда остришь синее лезо домахи.

«Так чего мало — ответь, человече?»

«Крови, гетмане», — погоньч посмотрел ему прямо в глаза.

Благостыня и милость были явлены, приоткрыты, дабы помнил о них и не впадал в уныние, отчаяние, лень, — но так хотелось удержать в себе этот свет, и тепло, и любовь, — удержать и пребыть внутренне обновленным, иным, — но явленное истекало из несовершенного вещества, из души, не завершившей свой путь, умалюсь, затмилось вздымающимися страстями, памятью, где изжитое сохранилось нерушимо раздумьем о завтрашнем, о дальнейшем токе войны и взыскуемым ответом на погоньчевы неразумные словеса, — и опять становилось одиноко и холодно, — и сказал:

«Сколько тебе — и всем вам — заплатил подскарбий войсковой за эту работу?»

«Еще не считал!»

«Считал, — сказал Павло, — иначе не трудил бы волов... Крови, может, немало — да только разная кровь проливается ныне».

«Какая — разная? Красная она цветом у всех, человечья...»

«Да, красная и человечья, — раздумчиво молвил Павло и добавил: — Я-то, может быть, плох и жесток, но и ты ведь не лучше...»

«Я не убивал никого!»

«Не убивал — но от крови сей и ты часть имешь. Ну, да что тут рядить — дело такое. Война, брат, — и не мы выбираем, а нас. Так что не нам здесь об этом судить. Будем жить, пока живы, и делать, что делать должны. Погоняй!..»

Вороново крыло ночи подспудно разжижилось на окоме до густой синевы, голубеющей неприметно для глаза.

Ехали молча.

Из усталого растрясенного тела Павлова и скорботливой души явленное небесами так непреложно к предутреннему часу сему совсем истекло и исчезло. В открытой степи, готовящейся приять первый луч света, было росно, свежо. Погоньч добыл из скрыни дрянной пропыленный кожушок и набросил на плечи Павлу. В достижении взгляда становились все более различимы остекленелые травы, тронутые то ли серебряной изморозью, то ли белой росой. Череда лета катилась напрямик в осень, венчающую годовую круг изобильными плодами земными, благорастворенной прозрачностью чистых воздушей, козацкими и посполитыми весельями-свадьбами на богатых степовых хуторах и в людных полковых городах, багрянцем и лиственным золотом перелесков и заповедных запорожских лесов, — вересень, жовтень и листопад, — одиночеством и печалью свершившей свою работу земли, пустой тишиной сна и умиротворения. Через две-три седмицы потянутся на полковые земли Руси-Украины толпы сидней и гнездюков из дымного Запорожского Коша и с отхожих летних промыслов низовых, возвращаясь в родные гнездовья свои зимовать, зачинать новых здешних людей — будущих посполитых и козаков, приводить в лад запустевшее господарство, раздаривать матерям, женам, сестрам и дочерям дарунки заморские, побрехивать долгими вечерами в тихом светле каганцов и шандалов про войсковые запорожские свары, про шумливые рады, про волю... И ожидать начала вес-

ны, поднимать лежалое поле, на развороте сохи у соседского межевого валуна-камня, поглядывая через плечо ненароком в сторону, где уже — чу!.. — гомонит среди Великого Луга вольный Кош... Но до этого еще далеко — осень ступает неслышной стопой на пажити, леса и степные притоки Днепра, — завершение года земного 1594-го от воплощения Сына Божия в мир, — и на забубенном галасливом Базавлуке, на Чертомлыке останется к месяцу листопаду лишь горстка бездомовных лихих отчайдух оберегать войсковую армату, запасы жита-пшена, жалованные прежними королями литавры и святыню свою — церквицу Покрова Пресвятой Богородицы. Время свершает свой круг. Сколько жовтней и листопадов прожить доведется ему до скончания срока земного?... Кто скажет?..

Когда совсем развиднелось и незнаемая округа обрела очертания и приметы, смертный их поезд остановился у большого кургана, на вершине которого стояло иссеченное ветрами и временем пузатое половецкое идолище. С передних возов что-то кричали. Погоньчи спешивались, доставали заступы и шли к подножью могильника-капища. Павло спрыгнул на землю с воза и пошел по обильной росе, измолившей шаровары едва ли не до кушака, в голову, к передним возам, уже вычленив из снующих там посполитых и вооруженных козаков постать генерального судьи Тимошенка.

«Что, гетмане, не спится тебе? — неудовольно сказал Тимошенко, когда Павло подошел. — Хочешь увидеть, как это все кончится?»

«А ты, Петро, думаешь — это конец?..»

Тимошенко пристально посмотрел на него красными от бессонной ночи и крови глазами, затем крикнул и отвернулся к возам, с которых козаки сбрасывали в траву тело за телом.

Среди тех, кто занимался этим делом, был и возница Павла, набросивший на плечи ту рогожку, на которой он просидел весь долгий путь. В суетливой и мерзеной этой возне Павло заприметил вчерашнего расстригу-запроданца, схожего на хазара от дегтя, покрывающего его оголенное тело. На шее расстриги серел железный ошейник, на котором, позвякивая, болтался обрывок цепи. Подбородок чернел запекшейся кровью на месте выдранной бороды. На темени головы его неразумной немилосердные шутники из козаков выстригли и даже выголили острым ножом католицкую монашью тонзуру и детем же навели на ней крест. Химерная постать расстриги слонялась среди возов, — он пытался помочь козакам, хватал трупы за ноги и отволакивал в сторону, — козаки, уставшие за ночь, гнали его от себя, ругаясь по матери, — в сером утреннем свете наступало отрезвление от вчерашнего кровавого пира, и то, что веселило и забавляло вчера, над чем издевались и хохотали, сегодня вызывало стыд и, может быть, даже раскаяние. Над расстригой вчера потешились вволю, но до конца не убили зачем-то, — по неисповедимой и тайной тимошенковой думе протасили живцом до самого сердца земли, до окаянного идолища половецкого, — был он как бы уже и не живой, не отсюда, но бегал, брэнча псиной цепью своей, путался под ногами, белькотал что-то жалкое и презренное, к чему никто и не прислушивался даже, — тень с того света, воскресшая прежде времени в сером мороке потаенного утра. В молчаливом сосредоточии люди, сбросив свитки, кожухи и рогожи, копали в склоне кургана погребальную яму, и Павлу показалось, что каждый из них понимал, что происходящее в последние дни есть только начало великой и страшной войны, каковой не бывало доселе даже в воинственных и многострадальных этих краях, — войны не с поганью крымской, не со владетельной польской Короной, коей все они верно служат и подданы — до известных поры и предела, не с жадным шляхетством, но с расколом тела народного, с прелестью сатанинской, что устроилась изволением высших церковных сановников среди братьев по крови и по судьбе.

Пока посполитые и козаки заступами вынимали землю, отец Стефан с двумя псаломщиками служили панихиду по убиенным:

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих...»

Тихие слова моления о душах усопших, сладковато-прогорклый кадильный дымок и нестройное пение клириков в струях легкого ветра доносились до Павла, как бы удостоверяя открытое ночью. Тимошенко, стоявший с ним рядом на краю углубляемой ямы, кривился, как от боли зубовой:

«Как собак их зарыть!.. Как собак!.. Бесы принесли того старого Стефана!..» — белая и пронзительная ненависть, как роса на траве, горела под насупленными бровями его.

«Долог и многотруден путь предстоит, Петро, — сказал он, беря в горсть тимошенково предплечье и глядя в глубину его глаз, где малыми сполохами будто отсвечивала душа этого человека, волею судьбы и волею рады поднятого из куренных атаманов на уряд-служение генерального судьи Запорогов. — Побереги свою пристрастную силу для достойного дела!..»

Тимошенко сбросил его руку, обжег взглядом:

«А это что — не достойное дело?!.. Или что-то было не так?»

«Ты сделал свое, — ответил Павло. — И больше нет твоей власти над ними. Ты сделал, что мог и что был, может быть, должен. Теперь черед не твоя...»

Сычание, клекот вышли из груди Тимошенка, будто не хватало слов в языке, и белым, лихим светились глаза, устремленные на Павла.

«Почему... — тихо и медленно, справившись с собою насилу и потому чеканя каждое слово, сказал он, — почему эти выблядки, христопродавцы и зрадники отпеваемы по канону Церкви, от которой вольно отказались?.. Я тащил их сюда, трудил людей и скотину, чтобы от них не осталось никакого следа в Руси-Украине, чтобы их не было, не было, чтобы никто никогда не узнал нашего позора — ведь это мы — через них — предавали Христа иезуитам... Где еще было такое?.. Где?!..»

Павло молчал. Ему нечего было ответить судье.

«Мы, гетман, должны остановить это, пресечь, уничтожить!» — он будто бы заклинал некие силы. Но разве круг времени на земле возможно остановить и стронуть назад?..

«Да, — сказал Павло, — это так. Но посмотри на этих своих — они уже мертвецы. Ты их остановил, уничтожил. Так не труди над ними души...»

«Но правосудие, гетман, еще не закончено. Они должны быть зарыты как падаль — и без прощенья!.. Нечего здесь делать попу!..»

Павло горько усмехнулся, сказал:

«Здесь ты не властен. Ты — судом своим никаким — не отменишь Господня суда. Панотец знает, что делает. Этим убитым ты ничем не сможешь уже повредить».

Павло видел и знал, что Тимошенко не вразумился, — да и разве словами кого вразумишь? — что потребовалось ему самому этой ночью, чтобы хоть отдаленно что-то понять, чтобы хотя бы приблизиться к чаемому? Ничего не изменяют человечьи слова, произносимые худыми устами, — так думал и слышал, как отец Стефан уже завершает панихиду:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братьев наших...»

Козаки и посполитые яму уже тем временем завершили работой и выбирались наверх, подавая друг другу руки и заступы. Вскоре на дне ее совсем никого не осталось, кроме голого, заходящегося хрипом расстриги. Он безуспешно сучил слабыми ножками по осыпающейся земле, с разбегу бросался на высокую стену, цеплялся ногтями за край, за клочья травы, но падал, скатываясь на дно, брэнча цепью, скуля и хныча о взыскуемой помощи. Никто на него не смотрел, никто не подал ему ни заступа, ни руки. Козаки в хмуром молчании отходили к возам, к груде закоченевших тел, наваленных в высокой траве. Отец Стефан, не глядя на подходящих, сторбившись сидел на ближнем возу, перебирая четки, сработанные из пересохлых от давности ягод шиповника.

«Можно ли, панотец, нам начинать?» — спросил один из козаков, подошед к нему.

Он ничего не ответил, как бы не слышал вопрошания козака. Понуро отвернул лицо свое в открытую степь, к встающему из-за черты окоема большому багровому солнцу.

«Ну, что вы там баритесь?! — силло разнесся голос судьи. — Начинайте скорее!..»

Расстрига так и метался внизу, пытаясь увернуться от падающих на дно ямы тел.

«Проклятые смерды! Холопы! Быдло козацкое!..» — визжал он, плача в голос, уразумев, что задумал о нем Тимошенко, бросался к высокому краю, скребясь по глине наверх, но тяжелые, как бревна, мертвецы, падающие на него, сносили его снова на дно. Расстрига извивался, придавленный тяжестью упавшего тела, и едва выскребался из-под него и выбирался наверх, как новый мертвец, сброшенный козаками, налетал на него.

Было, сказывали, и с ним: тяжесть постов и долготы молитвенных служб, невозможность по данности к духовному совершенствованию и особливому подвигу — и ложно-смирненное подчинение ересиарху на митрополичьей кафедре киевской с епископами-клеветрами, развязавшей руки на злое. В кратком владычестве, освобожденный от служб монастырских на волю, которая вышла хуже последней неволи, дорвался он в орендарских шинках и броварнях до сладкой медовой варенухи, до деренивки, дуливки, калганки, паленки, до самой дрянной чикилдихи-мокрухи, не говоря о грабованных винах церковных, о пенных пивах и крепких медах-поставцах. Раздобревший на немонастырских дармовых, обильных хлебах, сыто в голос рыгая, ездил он по селам в мягком шляхетском *берлине*, запряженном кровными — не его — рысаками, ездил, как почти комиссар: в богатой, тяжелой оксамитовой рясе, в сапьяновых чоботках, с подборорами, подобранными серебряными подковками, в уставленной жемчугом великодной епископской митре, утянутой под шумок из

церковной ризницы в Киеве, у самого превелебного Михайла Рагозы; паном-хозяином заходил в церкви, мурованные коштом посполства, трепал за бороды забитых сельских попов, бил их кийком по потылицам да по бокам, лишал добр и дворов, выгоняя за села, — и снова пил и гулял, испродал посполитых, требовал, чтобы местные девки танцевали перед ним, пока он заливался вином, знаменитый осенний танец «Ходит гарбуз по городу», кострубато и пьяно белькоча ту брыдню про вселенское первенство папы, под высокое слово свое запуская за пазуху девкам и даже молодайкам нечистую похотливую руку. Наконец, остановился для жительства в Надточном-селе, иссек розгами до полусмерти попа Методия тамошнего и отдал на подальшую расправу комиссарам-папешникам, кои заточили Методия того безвестно куда. Снова насильничал девок, снова безустанно пил и гулял, заложив друзьям-орендарям безвыкупно причастные потиры, диски, чаши, сколько их ни было, в той церкви надточенской. Мог делать и больше того по благословию римскому. Потому что почиталось все это отнюдь не грехом, а напротив, едва ли не апостольским подвигом — как возвращение из греческой схизмы в лоно истинной Церкви, под ватиканскую длань заблудших надточенских парафиян.

Ныне же наступал час расплаты. Расстрига скавчал битым цуциком, просил о даровании жизни, клялся в оставлении богомерзкого дела. Силы покидали его. Униатские трупы в падении вздымались на-попа, переворачивались и застревали в общей куче на дне. Жалкий сей человек уже не пытался вылезти из-под них и выскрестись наверх. Сидел, заваленный по поясицу телами, и по-звериному выл.

Дело шло к завершению, — на траве подле возов осталось одно только тело, — был это посиневший от смерти ребенок, мальчик пяти-шести лет, пробитый в беге пикою со спины и скорчившийся в муке предсмертной, будто хотел спрятаться от настигшей его боли в себя самого. Козаки стояли кто где, опустив головы долу. К чему им было оружие, воинственные оселедцы, замотанные лихо за уши, широкие шаровары — если начавшаяся война не щадила и малых сих, невинных в родительских прегрешениях? Никто, даже судья генеральный, не мог вспомнить и объяснить, кто и за что прободал пикой этого подкозачонка. Козаки стояли недвижно. В яме нечеловечески завывал отступник-расстрига. Убитый ребенок лежал в примятом круге травы. Невесть откуда стугилась и пала на них тишина, — только неумный ветрец раскачивал разноцветье высокой зеленой травы. И потому оглушительно и положливо заскрипел, закаямкал колесами, ступицами и растрясенным начиньем тот воз, где сидел панотец со псаломщиками, разворачиваясь на прибегую колею, которой пришли они утром, отъезжая прочь от незарытой могилы.

«И малого этого ты не можешь простить?» — сказал тихо Павло насупленному Тимошенку.

Судья скрипнул зубами, цыкнул на землю желтой цевкой слюны и хрипло сказал козакам:

«Кто-нибудь! Бросьте пашенка на место его!»

Никто не двинулся к посиневшему от смерти ребенку, никто глаз не поднял, никто не услышал сего, кроме Павлова погоньча. Он обернулся к судье и тихо сказал:

«Вот придем назад в Чигирин и скинем обоих вас с уряда...»

Тимошенко горячей рукой схватился за саблю — и лезо ее будто само по себе с тихим посвистом выблеснуло из ножен.

Павло едва успел сбить погоньча с ног, свалить его сильным ударом в плечо, как сабля судьи со смертным шорохом рассекла воздух над их головами, дохнув сухим, колким жаром. Во мгновение Павло бросился к Тимошенку и успел удержать вздетое для другого удара запястье, выкрутить черен из сведенных судорогой пальцев.

«И это тоже — твое правосудие?..» — выхрипел он в налитое кровью лицо Тимошенка.

Судья едва ли не рычал по-звериному, пручался в крепкой хватке Павловой, рвался к скрючившемуся на земле погоньчу, прикрывшему обеими руками голову в ожидании немилосердного боя, но вырваться Тимошенко не мог, силою уступая Павлу. Погоньч помедлил и встал, отряхивая от праха порты и затравленно поглядывая на козаков. Те стояли недвижно, каменно — за оружие не взялся никто.

«Хватит, — сказал Павло. — Не доводи до греха, Тимошенко. Верши дело свое — да возвращемся до тьмы в Чигирин...»

Растрига в яме примолк, почуяв нарождающийся раздор и разброд. Выскребся-таки из-под трупов, подлез на карачках по ним к краю, зацепился пальцами за траву и высунул тонзурную голову с начертанным дегтярным крестом.

«Панове козаки! Милостивии господари! Дозвольте мне деталха того вкинути в халдейскую печь сию — достин-бо кары небесной... — залепетал нечто по письму, и в желтых, как у кошки, глазах его высверкнула надежда. — А за то — милуйте мя, неразумного, чернеца недостойного, бо клянусь в вышних Богом, шо вернусь в

кляштор свой, рекомый монастырищем, приму епитимью, а по-вашему — *прошу*, за-творюсь навек в мрачных хладных печерах, одев даже тяжки вериги и путы на выю! Милуйте, братчики, Христом Богом нашим, — пробачьте за папу того, — не хочу бо страдати за его первенство, — хай йому грець!..»

Красным своим сапогом, словно сшибая с гряды капустный кочан, Тимошенко с силой ударил расстригу прямо в лицо. И тот, крича и волая, провалился на дно ямы, как в преисподнюю. Затем судья подошел к тому, что в жизни было ребенком и чему не дано было времени вырасти в парубка, в мужчину и воина, взял его за ногу и поволок по траве к яме. Тельце, сведенное судорогой смерти, так и не распрямилось в движении, не разогнулось, глухо упав на трупы изживших свое под небом этой оскверненной земли. Расстрига боком лежал на других и уже не стонал, не скулил, но плакал тихой слезой. Спина его на мгновение замерла, когда упал на нее первый ком земельного праха. Козаки и посполитые завзято принялись забрасывать яму, чтобы скорее закончить эту нечеловечью работу. Идолище на вершине кургана безучастно и каменно внимало кутерьме у подошвы, как бы свидетельствуя равнодушно пред небесами о начале новой, без счета, войны, — войны со своими, где гибнут, как и в войнах других, дети и старики, юродивые, не причинившие зла никому, и монахи, старцы и воины без числа.

Павло отвернулся от ямы, ступил в открытую степь замедленным шагом, как бы во сне, оставляя за спиной сухой шорох падающей земли. Дни его были еще не изжиты, не совершенно главное дело, и, может быть, где-то на дне души его зрела, набухла в предчувствии тихая зависть к этим убитым, изувеченным людям: они упокоены ныне, и нет больше боли, разрывающей тяжести выбора, нету страдания жить, сползая в небытие и возможное не прощение, — под этими небесами, на этой суровой, не знающей пощады земле, — они упокоены, отпеты по канону Церкви апостольской и преданы земле, что их породила.

И они прощены.

Так ли умрет и он, гетман Руси-Украины, выброшенный слепую судьбиной на гребень людской в эту лихую годину, в эту смуту, каковой не бывало от века здесь, близ великой крестильной купели — Днепра, близ матери просиявших в веках городов русских — златоверхого Киева, — дарует ли время, судьбина и Бог и ему со славою умереть, быть отпетым, отмоленным в заупокойной панихиде по исшедшей из тела душе и прахом вернуться в лоно материнской безгласной земли?.. Тот странный сон вчерашнего дня, отбивший в подвечье сквозь толщу времен несуществующий ныне и разрушенный в оконечности лет большой монастырь, встал из его воспаленной души, и он подумал о том не родившемся еще двадцатом вверх Опанасенке, про то, что он сказал. Знал, знал он о смерти его, Наливаева внука. Но не поведал ни слова. Да и как ему было поведать, вмешиваясь смертным, плотским словом своим в ток приуготовленного к свершению силами, неподвластными человеческому разумению? Но если тот двадцатый в черед Опанасенко в исполненных временах, в оконечности их помнил и ведал о смерти его, значит, все это было (и будет...) не зря, и умрет он со славою и с достоинством, и, даст Бог, смерть его будет красна...

А может, страшна? — да так, что на века содрогнутся живые, прикасаясь воспоминанием к этому утру, в котором он бредет по росе среди трав и последних цветов лета 1594-го, среди крепкого настоя пахощей открытой степи, заливаемый малиновым солнцем?.. Но он не знал ни о чем и ни о чем не догадывался и к восставшему в памяти сну отнесся почти что легко и с усмешкой, подумав: плачет-зовет тебя киевский Петря под монастырскую браму *лазаря* петь... и все-таки что-то в нем было не так.

Вскоре вышел на колею и увидел недвижно стоящий воз отца Стефана. Панотец не было в нем, псаломщики же беспробудно спали на дне, подложив под головы скуфы. Торкнул одного из них:

«Где панотец?»

Причетник хлопал спросонья белесыми ресницами, щурился от света высокого солнца. Рот его неудержимо распирала зевота, и сквозь нее он едва спротогся ответить:

«Панотец в степь отошли помолиться, дабы никто не мешал... Приказали дожидаться обоа... А что, поховали уже соединенных?..»

Павло не ответил, сел на землю под воз, склонив тяжелую голову на колени. Саднило в глазах, будто вместо слез был в них песок. Он прикрыл веки и провалился в ничто.

Вскоре с отхожей молитвы вернулся отец Стефан и сел на землю рядом с Павлом. Белое солнце поднялось уже высоко. Широкая безбрежная степь наполнилась звуками жизни, для которой не существовало смерти. Панотец смотрел в колыхание трав и цветов, слушал птиц, внимал тишине сердца земли. Он думал о том, что такого покоя и такой тишины с ним еще не случалось, хотя дни его были долги и отдалчивы. Еще думал, что жизнь уже прожита, почти что окончена. Скоро отправляться в другую

дорогу. На кого в этой смуте оставит он святую Покрову Сичевую и церквичу светлого Ее Имени?.. Впрочем — что он и кто?.. Пресвятая Дева распорядится и без его слабой заботы...

Двадцатилетним парнягой, молодым козаком, сбросив червонный жупан и изломав в куски каленую тяжелую саблю на *проще* в Киево-Печерской обители, он отошел душой своей от войны так внезапно и скоро, что до сих пор не мог для себя уяснить, что же с ним произошло в той давнине. Стал послушником, затем чернецом. Потом и кровью, веригами и бодрствованием искупал он прегрешения своей юности, но не с полоненными волошанками, что можно было бы объяснить и оправдать по слову Псалтири «*Грех юности моя и неведения моего не помяни*», но страшные грехи убийства в походе на Яссы, — и он молился о них, о безымянных душах троих врагов-человеков, которых тогда зарубил. Душа в покаянии просила затворного подвига по примеру древних великих отцов, но архимандрит Лавры Феофил распорядился иначе его жизнью и жаждой духовной... На той давней и памятной *проще* казалось ему, что с этой поры не увидит он больше низовьев Днепра, как и не вернется в мирскую, послушную жизнь, — да и как совместимы друг с другом иноческое сокровенное житие, *инакое* во всем, и кровавый подвиг вооруженного воина? — но довелось-таки возвратиться ему на беспокойную многолюдную Хортицу, в Кош Запорожский, где к тому времени уже не осталось в живых ни единого, с кем он некогда отправился под Яссы когда-то. Но были другие вояки, новые отчайдухи, — днепровские острова не оскудевали на люд. Вернуться, чтобы стать служителем у главной святыни вольнолюбивого рыцарства Запорожского, у знатной в веках Покровы Сичевой, — и духовным отцом каждому православному, здесь обретающемуся. С тех пор минуло полвека — и жизнь изжита без остатка. И больше не довелось ему увидеть зрением плоти свой монастырь, сияющий россыпью куполов на зеленых киевских кручах.

Тревожная, трудная и лихая выпала жизнь панотцу — но и счастливая. Да... И счастье это было не только духовным и прикровенным, когда молебствовал в переполненной вооруженными козаками церквиче пред славным образом Пресвятой Девы, ощущая лицом и душой исходящую от Нее силу нетварного света, огня, но было — среди разливанного моря смертей и походов — и тихое счастье сотворенных, исполненных солнца и земной красоты дней, когда он чувствовал, знал, как течет река времени над благорастворенными воздухами, над этой землей и над миром, лежащим в неправде, — и река эта милостива, покойна и величава. Теперь он мог обернуться назад, в прошлое, в старые добрые дни, — потому что стал как бы тенью ушедших или их полноправным посланником в будущину, которой они не достигли. Разве он не понимал того Наливая со стариками, сложившими головы в Кафе? Если бы не был облечен саном духовным и дожил до такой вот преклонной поры, он был бы в числе тех дедов, совершивших последний смертный свой подвиг, — да, безумный в меру трезвого размышления, но не безумнее тихой и мирной кончины в родной хате под образами. Оглянуться пред смертью и снова увидеть их, как живых, в обретенном бессмертии. Вот они, его бывшие товарищи-дети: множество, тьмы разноликих и разноголосых, объятых одним устремлением к воле, свободе Отечества и к войне за нее. Вот они снова: сильные, непреклонные и бесстрашные, с усмешкой и последними матюками всходящие на смертные плахи, — такими они остались во вместилище памяти. Эти люди старых времен, когда турецкий султан, сидя в Константинополе, слыл гетманом Запорожским, исполнинскими и непримиримыми даже до смерти тенями восставали в крутой высоте взвеси воздухов и смотрели на покинутое ими дымное Запорожье, — он видел их иногда прямо под солнечным шаром и под россыпью звезд, над мраморными глыбами облаков, привольно плывущих по небесному океану, — он помнил их имена, хотя не каждого смог он отпеть, но за каждого и доселе молился, — прощены ли их души там, в другой уже жизни, где свет светел, а тьма черна и безжизненна? Изглажены ли из книг судьбоносных их прегрешения, малые и великие?.. Он остался в жизни один нести тяжесть знания и печали. И теперь в расцветающем дне у безвестного степного кургана, где кончали свое дело их дети и внуки, ему по-стариковски казалось, что те, отошедшие в смерть и по неимению его рядом с ними исповедовавшиеся Богу, Днепру и своему кошевому, были другими во всем, — и не было горестней смуты. И не было бы — если бы и они, чьи имена им не забыты, достигли будущины, как он, их духовник. Впрочем, кто знает о том?.. Каждый несет свой крест и живет в назначенный срок. Если попущено свыше — стало быть, для вразумления, за грехи, за неусердие и забвение долга. Разве не оскудела благочестием русская Церковь за последние времена? Сравнить ли, как все было при русских князьях, сыновьях и внуках святого Владимира?.. Озимело православие русское, в гордыню пришло и в упадок. Потому-то панство отечественное католичится, слепнет от лакомства властью, даруемой королями отступникам... И теперь — эта смута... Выстоять, обновиться духовно в страданиях, отсечь ветхое и истлевшее, выстрадать *волю и истину*... Я мал и недостойн судить о Промысле вышнем, хотя про-

жил долгую жизнь и скоро отправляться в другую дорогу, — но что есть моя жизнь в сравнении с тем днем, что как тысяча лет, и с той тысячей лет, что как день?.. Так сидел, прижмурив на солнце глаза, на теплой земле, в тишине, не зная о том, что эта тишина, исполненная звуков живого и вечного, ныне последняя на многие и долгие годы, когда не станет уже и его самого, не станет Павла, спящего рядом, не станет детей и внуков его, но и правнуки и другие за ними не доживут до такой тишины... Не знал панотец ни о чем и, казалось, ни о чем таком и не думал, но видел только всегдашние непримиримые тени, стоящие под зрелыми облаками дня месяца августа-sierpien'a и смотрящие с укоризной на происходящее здесь, на оставленной ими земле.

Отлетевшая было душа вернулась в смертную плоть, и Павло будто почувствовал со стороны жгущий взгляд чужих глаз. Он вскинулся, встряхнул головой и окончательно проснулся. Увидел рядом с собой отца Стефана и немного смутился. В остаточном, в отлетающем прочь сне понял, что не священник разбудил его взглядом.

«Простите, панотец, что не дождался вашего возвращения...» — сказал Павло, но отец Стефан словно не слышал его, погруженный в иное.

Волнами на них накатывались изнурительные, горячие запахи сердца степей — распаренная солнцем трава, остатние цветы пахли в последнем как бы предсмертно, отдавая воздухам все, заключенное в них. Вот эта жизнь, — подумал Павло, — которой нам никогда не понять, не охватить разумом, волей и словом... Можно только смиренно взирать на все это и быть частью сей красоты, неминуемо изгибающей в срок, уступающей место другому и обновленному... Но так ведь и есть?.. Мы заступили место и землю отцов, и мы делаем то, что должны — укршаем отчизну оздобами и бороним от нашествия иноплеменных, не жалея дыхания и живота; в срок придут наши дети и будут делать все то же, — и жизнь никогда здесь не прервется, не кончится, — и в этой непрерывной и ненарушимой цепи, в *обреченности* на жизненный толк и уклад прародителей есть та счастливая мера красоты, гармонии и совершенства, что здесь и сейчас дает одинокому сердцу влиться в ток общего соборного бытия, стать бессмертным, ибо здесь — смерти нет... Так живы те, что ушли, живы и те, которые еще не пришли, но чьи пути уже приуготовлены и предназначены. Нет смерти — когда ты часть этого мира, часть целого, пылинка в солнечном свете, — и за тобой стоят полки древнерусских дружин великого князя в тяжелых кольчугах на киевских кручах и рослые козаки давнины в смертных рубахах с опущенными долу домахами, — и среди их исполненных бесплотных теней ты видишь до боли родных: деда Наливая со стариками-товарищами, и отца, и дядьев, старших братьев; и пред тобой — воины времен наступающих, среди которых тебе никто не знаком; воины всюду, везде — ибо *воля и вера* всегда взывают к защите... Но — что же ярыги под монастырской руиной из вчерашнего сна? И двадцатый вверх в будущине седой Опанасенко?.. И сказал отцу Стефану:

«Панотче...»

Тот немо и скорбно смотрел на него, будто без изнесенных словес знал, о чем хочет Павло его спросить.

«Да, сын мой Павло, неисповедим о нас и о нашей земле Промысел в вышних... Есть и пребудет дикое мясо на нашем поспольстве, на нас... Но что тебе до того?.. Ты зван для дела, тебе предназначенного, как зван и я для служения Богу и Покрове Сичевой. Свершим же свое — и да возвеселимся душою!.. Смотри, сын мой, на благолепие Божьего мира, ибо знаю: не будет больше сего...»

«Да, панотец», — сказал тихо Павло.

«Я слишком долго живу, — сказал немного спустя отец Стефан как бы себе. — Долго жить ведь не надобно, ибо можно дожить до такого вот утра, за которое не сможешь ответить...»

«Но мы ли знаем о сроках?» — сказал Павло.

Блекло-голубые глаза панотца проницали душу до дна. Неизъяснимое, горестное и усталое исподволь сгущалось в священнике, и само собой вставало из памяти евангельское чтение, изнесенное бессчетно за жизнь, о человеке праведном и благочестивом Симеоне, кой, в молодости своей будучи переписчиком священных писаний, единожды усомнился в грядущем воплощении Сына Божия, и было за неверие то предсказано ему Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа. Благо ли — долгая жизнь?.. Нескончаемое время жизни лишило Симеона всех, прежде родных и любимых, обретенные бесконечные днины, заполняемые до краев новыми и новыми поколениями, были чужды и печальны, — и хотелось ему одного: глазами плоти увидеть Христа, чтобы затем упокоиться, умереть. На третьем веке своем *«прииде гухом в церковь. И егда введоста родителя Отроча Иисуса, сотворити има по обычаю законному о Нем, той прием Его на руку своею, и благослови Бога, и рече: Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей...»* Какое облегчение,

радость и счастье преисполняло Симеонову душу, когда воочию увидел он Вечную Жизнь, так неразрывно соединенную со смертью его!.. Зачем же ему, недостойному запорожскому панотцу, суждено уцелеть, не быть убитым в самой сердцевине бесконечной войны, на низовых островах, где сама жизнь человеческая не ставится ни во что, когда изгибли жившие прежде, изгибли от сечей, от свинца, от каменных ядер, от татарских ножей и панских расправ, от годов, что сплыли, как льдины весной по Днепру, в небытие, — нет, давно уже нет никого, с кем начинался путь его на этой земле: изгибли други-козаки, убиты, утоплены, сожжены духовные чада, ушел в мир иной тот давний архимандрит Феофил, благословивший его на служение в вольном гнезде Запорогов, — но нет смерти ему, хотя не исчислить стычек и сечей, где он сражался с молитвой и крестом, да и зачастую — с тяжелой домахой в деснице плечо к плечу с козаками в боевом крепком ряду, — и не исчислить шрамов на ребрах его и в душе... Для чего, для какого *свидетельства* бережет его Бог?..

«Неведомы сроки... — сказал панотец. — Неведомы...»

Полный день плавился, колебался разогретыми струями воздуха над степью. Сквозь пение и пересвист птиц и шорох трав в рост лошади близилась звуки людей: стук колес, поступь волов, редкие возгласы погоньчег — обоз правил обратный путь в Чигирин. Павло встал, глядя в сторону сущих, — и стеклянная тишина в нем и вокруг распадалась кусками, гибла, уходя в корни травы, исчезая, и душа, как открытая рана на солнце, исподволь затягивалась некоей мутной пленкой вроде пергамента, будто бы подсыхала, утрачивая глубину и объем, — и он снова погружался, как в омут, в смуту, в отмищение, в гнев, что кроваво пузырились в нем, зывая к силе и деянию, — из гибнущей тишины, из обманчивого покоя снова восставали сатанинские тени: комиссары, везомые запряженными цугом девками и молодницами; оскверненные храмы; расстрига в украденной у Рогозы митре, пропитой затем орендарям; экзарх патриарший Никифор, высохший до скелета от голода; погребенные ныне, — и дети среди них...

Подождал к возу, на котором сгорбившись сидел темный лицом Тимошенко, — все ли? — безмолвно спросил он судьбу, — и тот ответил:

«Все, гетмане...»

Двинулся кобрию и воз панотца, — священник шел рядом с ним, положив десницу на верхнюю жердь борта. Павло отыскал взглядом своего погоньча и дождался, пока его воз поравнялся с ним. Сев рядом, спросил:

«Как там все было?..» — хотя знал, все знал о том, как все завершилось. Была ли в том правота, — и жестокость казни — разумна ли?.. Пенилось, рвалось что-то в душе, не находило выхода и исхода, — вина ли, сострадание ли? Непримиримая ненависть? — или усталость от перевернувшегося вверх тормашками мира, от невозможности отделить теперь правду от кривды, белое от черного, казнь от милости, ребенка от взрослого?

«Попа соединенного живого зарыли», — сказал равнодушно погоньч.

«По праву ли сделано так?» — спросил Павло.

«Не знаю, — ответил погоньч. — Лучше бы, наверное, зарубили...»

«Ты ведь давеча ночью о крови, брат, говорил, — так не много ли ее ныне?..»

«Много, гетмане, — перехлестывает через край, — а что делать?.. Только детей вот — не надо... Не надо детей убивать...»

Павло ругнулся по матери, сплюнул на землю:

«А кто сказал: надо?! Кто сказал, чтобы детей убивали?! Война без спросу, без разуму и без разбору берет то, что ей суждено!.. Дай-ка заступ, погоньч, и кнут тоже мне дай, — и подожди, пока я вернусь!»

Спрыгнул с воза, — кипело, пузырилось нечто внутри, мышцы сводило судорогой упрямой и неведомой силы, — в глазах рябила розовая кровавая взвесь, и громадный день до небес давил его солнцем, жаром и невыносимым удушьющим запахом трав, — взял заступ, сжал в кулаке кнуровище и скоро пошел назад, к пуповине кургана.

«Куда ты, гетмане?! — взъярился над гремящими возами глас Тимошенка. — Куда ты — вернись!..»

Он не ответил, не обернулся на крик и ругательства, что неслись ему вслед, — шел по траве, по мелким цветам без названия, шел по оскверненной земле своей родины, с неумной, клокоущей силой внутри, которая вышпирала воню, в этот прекрасный и страшный мир, лежащий вокруг и везде и называемый Русью, которую призван он сохранить ценой своей жизни и жизнью других, об этом не ведающих до поры.

Здесь, у подошвы поганого капища, густой горьковатый запах чабреца и чернобыля перебивался духом прели и сырости стронутой с места земли, поднятым полем чернело притоптанное козацкими чоботами и посполитыми пятками бесславное погребение. Торчал каменный истукан, подпирая большой яйцевидной башкой небеса, бугрился склон, недвижно замерла стена трав, — и дальше — простиралась в запредельное,

в туманном небоземе сливаясь с блеклой синью, зеленые, в первых подпалинах осени степи, где не ступала еще нога вооруженного человека, — и никто не придет молебствовать этому идолу, никто не придет поминать погребенных сегодня, ибо и потомки их лежат вместе с ними.

Когда втыкал заступ в мягкое и податливое, на душе было одиноко и сумрачно: что-то снова происходило не так, как должно, — и сквозила легкая и недоуменная боль, — но что? Что?.. Ведь он вернулся сюда ради милости... Или милость так невыносима и тяжела?.. Отбрасывал мягкую землю, натываясь время от времени на склоненные головы мертвецов, на их вздетые в подземном молении руки. Вскоре, чуть в стороне, он воткнул острие заступа в живое, содрогнувшееся вяло от боли... Смерть, цепко охватившая полузадохшуюся добычу, ослабила хватку, в недоумении отпрянув в глубь и сумрак земли. Павло осторожно, чтобы не перебить ненароком лопатой расстригино горло, обкопал голову с залепленной землей шутовской тонзурой, пальцами обмел серое неживое лицо, откопал плечи по грудь, — тело расстриги леденило ладони, и ему показалось, что он опоздал. Подхватив под руки и поднатужившись, Павло выворотил, как пень из земли, бездыханного, взвалил его на спину и отнес от общей могилы. В осыпающейся лунке-гнезде виднелись распяленные мертвые пальцы, что тянулись вслед за расстригой. Павло бросил тело, как куль, на траву, сдвинул в сторону обрывок цепи и приложил ухо к молчащему сердцу. Ничего не услышал, кроме шума собственной крови. Взял в ладонь мясо грудное, под которым недвижно лежало расстригино сердце, сжал несколько раз, ощущая, как выделяются масло и жир из ошметков земли, затем бил с силой по серым обвислым щекам, — прошло достаточно времени, прежде чем сердце расстриги слабо затрепетало и тень оживления прошла по лицу. Вскоре приоткрылись веки, и Павло увидел мутно-желтый цвет его глаз. Расстрига вздохнул и приоткрыл рот, заполненный густой черной слюной, — сплюнув жижу, он выкрикнул:

«Сопричтен ныне к небесному чину мучеников за правую веру, соединенную... Хай живе во веки веков святой папа с Риму...»

«Сопричтен», — сказал Павло, взяв кнут и огорошив расстригу по ребрам раз и другой. Расстрига встрепенулся, признал видом Павла и попытался приподняться с травы, но ноги и руки плохо повиновались ему — сил хватило только встать на карачки. В таком жалком положении, залепленный черной землей, с болтающимся обрывком цепи на железном ошейнике он не вызывал ничего снова, кроме омерзения, — и Павло стоял над ним, с руганью охорашивая спину его кнутом вдоль и поперек, а расстрига, очухавшись уже окончательно, воал что было мочи:

«Ой, не надо! Ой, не надочки! Ой, больше не буду вовек! Ой, больть дуже сильно! Ой, не бейте, пан превелебный! Ой, я вже покаюся в отступлении! Ой, вже больть! Ой, не бейте так крепко, бо вмру вдругорядь!..»

Павло бил что было мочи, видел, как на грязной спине вздуваются темно-багровые рубцы от ударов, — один из рубцов лопнул, и вывернулось, как веко глазное, красное мясо. От омерзения Павло засек бы его снова до смерти, — хотя вернулся помыловать, даровать ему жизнь, — но хлипкое погонычево кнутовище преломилось в руках, — в запале Павло пнул еще под ребра извивающееся в траве презренное тело, затем взялся за обрывок цепи и поставил расстригу на слабые, подгибающиеся ноги.

«Ой, пан, не убивайте заради Христа! Ей-бо, покаюсь и вернусь в монастырь!..»

«Нечего тебе, собаке паршивой, в монастыре делать, паскудить стены святые! — сказал Павло. — Убирайся отсюда куда хочешь — хоть в Рим, хоть к самому сатане! Чтобы не было поганой ноги твоей на этой земле, — попадешься еще, с делом или без дела, — за уды будешь повешен! Запомнил?..»

«Сам повешусь, аки Иуда, — ныл расстрига, — только больше не бейте!..»

«Иди. Потрудись, чтобы никто тебя здесь не вспомнил».

«Иду, уже нет меня! Дзенкюю бардзо пану за милость!..» — и будто бы провалился в густую трясиину трав и цветов.

К вечеру добрались до Чигирина. Закатная непокойная взвесь, словно налитая будущей кровью, затопила окрестные степи, высокие козацкие могилы на них, озера и реки, городские валы, Замковую гору и чигиринские улочки под нею, мещанские хаты и судный майдан, — жизнь затихала в надежде на пробуждение.

Картина 3. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ЧИГИРИН, 1594

Течение времени словно приостановилось, — и длился сон: полудрема тяжелила повеки, нечто скорботливое, мутное и неустранимое тлео в груди, изламывая душу в куски, как венецийское тонкое стекло. Дни загорались усталым солнечным светом, кратко длились в пространстве и уходили в предвечную тьму, словно мимо него, сидящего то в хате мещанской, то на приступке крылечной, то у помоста на радном майдане — в ожидании полковника Лободы с королевским ответом на их давешнее

ночное послание. Зачем? — думал он иногда. — Что решит этот жалкий кусочек пергамента с затейливым гербом Сигизмунда III Вазы в наверху и словами латиной, которые легки, как пух тополиный в месяце червне, вздымаемый в воздух случайным дыханием в слогах *Liberum veto* — «*не позволяю!*»?.. И ощущал, что со дня черной рады что-то в нем сдвинулось и нарушилось не к добру. Был ведь всегда козаком, рисковал своей головой, бросаясь в гущи татарских чамбулов, в толпы вооруженных цепями и дубинами волохов, — и не было скважины страха, — да, но ведь нарушение в нем — это не страх, не опаска, но некое промедление в ожидании, когда дотлеет и рухнет в бездну и тьму последняя мостовая тесина, единящая *цоб* и *цабе*, *десно* и *шуу*, и тогда, только тогда возьмет начало свое неведомая будущина войны. Нужен — мертвый или живой — старый полковник Григорий Лобода.

Вокруг его смутного ожидания господствовал непокой. Отчайдухи, дейнеки и реестровики сбивались в разбойные ватаги, гуляли по обоим днепровым берегам — судили, рядили и правили на свой кшталт селянство и чумаков, отлавливали в степях мандрованных дяков и киевских школяров-пиворезов, побирающихся по селам, и испытывали их на крепость души. Все это заканчивалось миром, жартом и гоготом, — и война пока не казалась страшной и безысходной. Одна из ватаг разорила польское гнездовище — шляхтичей изрубили в куски, панянок взяли силком и натешились вволю, маетность же предали огню. Мелкая шляхта, сидевшая на окрестной земле, паковала возы и ночами снималась долой, уходя на Волинь и в Подолию, ближе к подляшским кресам и коронной защите. Отчайдухи время от времени наезжали на шляхетские караваны, но до смерти не прибывали там никого — только пугали мушкетными выстрелами, гиканьем диким своим, криками, да уводили породистых лошадей на войсковую потребу. Дейнеки же грабили шляхетское нажитое майно на бедность себе: у Тимошенка только и дела было, что разбирать жалобы эмигрантов да выискивать в толпах ночных виноватцев. Те же божились Христом Богом, что спали, не ведали ничего воровского, — и в другую же ночь опять наезжали на уходящих в Корону.

Над землей плыл глубокий и синий вересень-месяц — и желтела трава на покотинах и на лугах, занимались тихим холодным огнем перелески и рощи, клекотали журавли на багнистых и топких тясминских берегах, сбиваясь в перелетные стаи, избирая сильных и опытных ватажков, способных довести их за море, в пределы османские и даже к Гробу Господню, в продолжение лета, тепла. По утрам земля прихватывалась хрустким ледком, и прозрачный во все стороны воздух пробирал в дыхании до нутра. Павлу отчего-то хотелось продолжения летней поры, блеска теплого солнца, знойных, пыльных запахов стоящих несжатых хлебов, трав и цветов, — хотелось, как в давние дни, хлеборобствовать на этой земле — пахать, бороновать, сеять, рассыпая щедрой горстью зерна озимого хлеба, лелеять буйные статные нивы в ожидании жатвы, косить на лугах густые сочные травы, скирдовать, забираясь, как в детстве, на верхушку стога, и лежать в мягком и теплом, наблюдая, как предвечно и до трепета нерушимо в своем бесконечном движении плывут над миром и временем невесомые глыбы облак. Какая тишина, какой глубокий покой обнимали его душу тогда, в светлой заводи детства, и казалось, что и не может быть по-другому, не может быть зла на этой благословенной земле. Но сколько бы ни сидел на мягкой вершине стога, сколько бы ни пылился в небосинь, приходилось соскальзывать на заднице по крутому упругому склону на землю — к деду своему Наливаю, к отцу — и жить по-земному... Когда были те дни — сейчас и не вспомнить. Теперь же, в бесцельном и мутном ожидании Лободы, все это припомнилось, встало из забытого и пережитого — и по-детски хотелось того предвечного света, всегдашнего бесконечного лета, мира без зла и насилия, тишины нерушимой. И тлела, жила в нем надежда, что высоким и властным Сигизмундовым словом еще можно будет избежать полития крови и всеобщей беды.

Но старый полковник не возвращался.

Буйные ватаги приумножались приходящими с Великого Луга сиднями и гнездюками, стекающимися с промыслов своих низовых к Чигирину по гетманскому универсалу, — войсковому народу требовался прокорм, постой и достойное дело. В бездействии зрели лишь смута и воровство.

Двое отчайдух были казнены козацким обычаем в Тясмине по приговору войскового судьи — смуга развязала им руки на злое, и смерть они приняли за грабежи и убийства, чинимые над беззащитным посольством.

«Война! — кричали они в оправдание. — Правим на достойное!»

«Война, — отвечивал им Петро Тимошенко, — да только с кем? С серым посольством? Со своим кровным народом, от коего вы, смердящие псы, взяли свой корень?!»

«А с кем же? — удивились те отчайдухи. — Со своими и воюем!»

«За что же?» — полюбопытствовал тогда Тимошенко.

«А то гетман знает — за что. Наше дело малое есть: колоть и рубить... — и высверкнуло в голове одного, во тьме и в вооруженном довольстве, когда получивший меч на добро возвышается по неразумию своему над боронимыми, становится *значным*, забывая свой долг и обязанность, и сказал: — А мы от противу Церкви воюем!»

«То-то и видно», — сказал Тимошенко на это и кивнул расправщикам-гайдукам.

Без похода гибли буйные головы: один захлебнулся горилкой в шинке — еврея-орендаря за то изрубили в куски, как будто это он под локоть козака подтолкнул, другого посекали шляхтичи в обороне, третий был подступно убит, когда воровская ватага делила добычу. Отдал жизнь за седло. За него же и казнили убийцу.

В эти бездельные дни приходил кто-нибудь из старшины. Кто молчал выжидательно, кто спрашивал прямыми словами: доколе стоять? Ежели войскового похода не будет, не лучше ли распустить козаков по домам? Ждите в терпении, — говорил гетман на это, — еще натрудитесь вволю... Доколе же?... — спросил он и себя самого, оставшись один и вынужден из ножен домаху, пробуя ногтем синее острое лезо. — Ежели стратили Лободу, что же стоим? Даем шляхте оттянуться на кресы, на коронные земли? Ничего, — успокаивал сам себя, — если понадобится, и на тех землях достанем: хватит запалу и сил, хватит и козаков. И будто бы встало внутри — твердо и непреклонно — единое слово, чаемое во все эти дни ожидания: до Покрова Пресвятой Богородицы... Да, перетерпим до Покрова, запорожского светлого праздника, — тогда и начнем, ежели не прибудет к сроку сему Лобода...

Завершился год осенью, и грянуло малиновым перезвоном вересневого новолетия, — какое по счету уже в жизни запорожского панотца? — надтреснутым от старости голосом, но торжественно-внятно, распевно чёл он по памяти на молебне кондак годового индикта:

«В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и Зиждителю, Иже дни и ночи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, Многомилостиве...»

И просил Господа даровать им всем силу выстоять в смуте, в раздоре — и выжить. С угасающей силой молился панотец Стефан о переможении зла — но зло было велико, бездонно, черно. Что мог он немощным словом своим, грешный и недостойный чернец войсковой, переживший себя самого?... Другое застило прежде внятныи солнечный свет: непокой и какое-то тягостное томление духа, усталость от дней, ему уже не принадлежащих по жизни, исполненных странной, не утихающей болью. Этой осенью зелени увядали невыносимо долго и скорбно, как бы что-то вещуя, и панотец обостренно думал о смерти. Благостно уходить в мир справедливейший в срок, — в срок, с самой маковки полдня судьбы. Он пережил — плохо ли, хорошо ли — время жизни своей, и полдень его отошел в некий дальний солнечный край, в кипение холодного света, где отжившие люди в молчании ждали его. Как ответить теперь на их безмолвное вопрошание?... В том краю памяти, где все неизменно, отошедшие в полдне не отбрасывали теней на вечнозеленой земле, были все молодыми, нетленными и могучими, — он когда-то исповедывал их во грехах — но в каких? — ныне ему следует исповедываться перед ними, дабы исходатайствовали прощение для него у Творца. Ныне — он знал — омыты они от напрасно пролитой крови, от черного гнева, от преступления заповедей. Он всегда внутренне пребывал вместе с ними, с родными по времени полдня, силе стояния противу тьмы, набредающей от полуденных стран, — и многие дни, после них, слились как бы в один — долгий день его жизни, где не было тайны малейшей под светом небесных очей чудотворной иконы, оставшейся ему на почитание и бережение опять же от них, изгибнувших в смертном подвиге жизни.

И был он жив, силен и не стар, труждался пред Покровой в храме, молебствовал словом и душой за всех и за вся, и некогда, зайдя по забытому делу в курень, увидал, как козаки привечают захожего кобзаря из бродящих по мироколице слепцов, сивого, убежденного долгими и многотрудными зимами. Глазами ничего не видел кобзарь от дней юности своя, но дан был ему острый слух, острая память, дар глагола о жизни и днях, коих другие по обычности не замечали, и слагал кобзарь песни-думы, долгие, как зимние ночи в открытой степи, тоскливые, как завывания ветров в осеннюю непогоду, расцвеченные лукавым усмехом сквозь вологую дымку одиночества и печали. Знал нечто лирик-кобзарь о потаенной, скрытой от досужих мыслей и глаз сердцеvine дней человеческих — панотец, присевший в круг козаков, отчетливо это почувствовал, — и песнопения, думы его были как будто об этом, — но при всем даре своем, при полной мере одиночества и печали, не было единого слова о сей сердцеvine, о главном, хотя панотец видел, как жадно выпрастывается душа кобзаря из телесных оков в достижении огнедышащей сути, — и не было в земном языке равных по значению слов. И потому удваивалась в думе печаль, и утраивалась, и не было конца осенней тоске, и горела на ветру жестокого времени большая и светлая душа кобзаря, словно вобравшая в себя все и вся, произошедшее на этой земле. И поневоле выпевал кобзарь

под дребезжащие перезвоны траченной временем кобзы о разлуках в степных хуторах сыновей с матерями, мужей с женами, братьев с сестрами, о смертях на степных кордонах вольных воинов-запорожцев, о Савур-могиле, откуда посылает прощальное слово любви в родные пределы закованный в цепи козак, — кружились в курене войсковом огненные словеса, и каждое стремилось к истоку сущего Слова, но сгорало, как неосторожная бабочка в пламени каганца густой летней ночью, едва приближалось к некоему неизвестному рубежу, за которым простиралось уже глухое молчание. И пел кобзарь тихим надтреснутым речитативом, будто душе непокойной своей, припоминая невиданную земными очами синь и широту полуденного Черного моря, где затерялись между небом и водами козацкие байдаки, идущие на смертный промысел к стенам Царьграда, поработанного поганым магометанином-турком, — и молятся в открытом соленом просторе козаки Богу в виду турецких каторг-галер, прощаются друг с другом, исповедуются в грехах своих не исповеданных морю, крутым небесам и куренному атаману, — и тот отпускает им все, и вынимает кривую домаху из ножен: байдак подходит к галере... В неравной схватке погибают безымянные запорожцы, — их изувеченные тела, окрашивая зеленую воду источаемой кровью, качаются на высокой и мерной волне — словно в младенчестве на теплых материнских руках, — и видит павших товарищей единый оставшийся жить, воин отважный, спутанный вервием для дарунка султану, козак по имени Байда...

И остановилось тут сердце в груди панотца, потемнело от прихлынувшей крови в глазах, и сама собой рука взлетела к горлу, перехваченному судомой, и вырвался стон сквозь сцепленные намертво зубы, и померкший на мгновение мозг разверзло белым небесным огнем, безмолвным и жгучим: ведь это было едва ли не вчера, — да-да, — и никто не вернулся из того морского похода: ни Грицько Постарому — атаман, ни три Ивана — Украдисало, Тягнырядно и Панибудьласка, ни двойко Опанасов — Малый и Кунтушенко, и никто из других... Погиб на турецкой галере и Байда — крестовый брат панотца, значный козак, — и отпел он их души в кошевой церкви с извечной и неизбывной печалью, когда достигла Великого Луга эта скорбная весть...

Сквозь багровую тьму он посмотрел на козаков, слушающих слепого, — их лица были недвижны, суровы. Никто из них не знал Байду. Никто из них не слышал о нем до сего.

«Остановись, бандурист, — выдохнул панотец, — что знаешь ты об именованном Байде, что тревожишь душу его словесами?»

Замерла в медных струнах черная сухая рука, кобзарь повел в сторону панотца на голос белыми своими очами и сказал:

«Я не знал Байды. Но люди, выкупленные из неволи, рассказывали о нем много лет назад, когда я был еще молодым, — в Киеве, под стенами Печерской обители, — я запомнил, — и смятенная его тень не давала покоя душе...»

«Но что ты знаешь о нем?!.. — взъярился священник. — О его делании, жизни, страдании?..»

«О нем уже не знает никто, — сказал кобзарь, — его други страчены в бранях, а кто уцелел — умер от долготы дней... Говорю же — я был еще молодым, — и пуста ныне земля, и безвидна...»

«Но обитель, под стенами коей ты слышал о нем, все стоит...» — тихо, раздумчиво сказал панотец.

«Да. Стоят над Днестром горы киевские. Стоят храмы Божии, фундованные великим Владимиром и его сыновьями. Читится в церквах пещерных — и повсюду — память преподобных отец наших Антония и Феодосия... Немного остается во времени бессмертным и непреходящим — так останется ныне и значный Байда-козак со своим непокоем — в слове, в думе, всегда...»

«Панотче Стефане, — сказал один из козаков, — хай поет дальше. О чем тут рядить, коли было сие в седой давнине?..»

В давнине...

И был он жив, силен и не стар, труждался пред Покровой, вознося молитвы за весь войсковой отчаянный люд, и полдень жизни его, казалось, все длился в силе и в свете, и совсем недавно отошедшие в смерть сотрясали воздух призывными кличами, смехом и химерными матюками, и вовсе не было смерти — ни рядом, ни дальше на этой земле, и где-то там, в обжитой Руси-Украине, пчелы собирали медовую сладость с гречишных полей близ их бело-нарядных хуторов и носили в колоды на пасеках, присматриваемые их сыновьями, — и все было как встарь, и звенело, и длилось бесконечное лето трудов, красоты, совершенства, любви, и, как встарь, нарождались козацкие дети, и подрастали травой, мужали, сменяя отцов на укрепленных засеках, заступая место убитых, плененных, казненных под бело-малиновыми войсковыми хоругвями, — и был он в силе и в полдне, и время до срока не было властно над ним. Запорожский панотец не считал изжитых годов до явленного в песенном слове Байды,

крестового брата из того, что стало прошлым его. И теперь, когда лукавое око Байды высверкнуло из незнаемого инобытия, когда уразумелось, что от жизни козачьей до песенной о нем памяти он прожил беспмятно-долго, сердце священника как бы внезапно остыло, почти что остановилось, и он подумал о старости — но не о смерти.

Кобзарь же негромко под перезвон медных струн повествовал наследникам Байды по Великому Лугу про то, как гулял он по царьградскому базару, пил мед-пиво-горилочку, и подошел к нему царь турецкий и говорит козаку:

*«Ой що ж ти робиш,
Байдо молодецький?
Покинь, Байдо, байдувати,
Сватай мою дочку
Та йди царювати!»*

А Байда на это царю:

*«Твоя дочка — поганая,
Вся турецька віра —
Віра проклятая».
Ой як крикне цар турецький
Та на свої слуги,
Слуги молодецькі:
«Візьміть Байду, ізв'яжіте
Та за ребро гаком,
Гаком зачепіте!»
Взяли Байду, ізв'язали
Та й за ребро гаком зачіпали.
Висить Байда на дубочку,
Та не день, не два,
Та й не одну нічку.
Прийшов до нього цар турецький:
«Ой що ти бачиш,
Байдо молодецький?»
«Бачу, царю, два дубочки,
А на тих дубочках
Сидять голубочки.
Дозволь, царю, лучка взяти,
Тобі на вечерю
Голубочка зняти!»
Ой як стрельнув Байда з лука
Та попав царя
Поміж самі вуха.
А царицю — в потилицю,
А цареву дочку —
В саму головочку.
«Вам, поганам, в сирій землі гнити,
А мені, Байді молодому,
Мед-горілку пити!..»*

Но это, неизвестное уже панотцу, который отпел крестового брата с прочими, а тот, как оказалось, умирать совсем и не думал, как бы проходило мимо священника, и еще один химерный подвиг, затерявшийся в глухой глубине прошлого, не тревожил его, не отогревал стынувшей крови, — он, впрочем, почти уже и не слушал этого напевного речитатива, но зрело и ширилось в нем одиночество.

Вот тогда-то он и подумал о смерти впервые.

Ныне же, в вересневое новолетие, встреченное в Чигирине, по счету жизни бессчетное, он не смог бы точно припомнить, в котором году он услышал того кобзаря, который преломил его полдень на вечер. Знал, что несмотря на продолжение жизни, на видимую похожесть этих дней на другие, на великое множество люда, взыскующего через него скупых слов утешения, несмотря на всегдашнее делание, одиночество его возрастало и жить становилось порой неважко. И ныне, в предпразднование Воздвижения Креста Господня, стоя в долгом коленопреклоненном молении перед Животворящим Древом, среди крепких, будто отлитых из меди слов молитвенного канона, он душой ощутил давний радостный свет — тепло бесконечного лета, когда мир на земле был так ясен и тверд. Череда лет словно откатилась тяжелой свинцовой волной, и немощь, усталость и одиночество рассеялись в напитанном запахом ладана и желтого воска воздухе чигиринской церковки, — и тягостный сон как бы заканчивался,

— да-да, — радостно ощутил панотец, — все это было сном, вся моя жизнь, и вот сейчас, расплющив глаза, я увижу и Байду, и Гриця-атамана, и тех, с кем ходил походом под Яссы, когда сажали в Семигорье господаром того, о ком решила запорожская черная рада, — после чего я остался в Печерской обители, избыв *прощу*, став послушником, а затем постриженником, — и не было ничего в те времена — ни одиночества, ни долгих прожитых дней, ни усталости, — и вот-вот я проснусь, и все завершится...

Медные, литые слова канона Кресту размягчались от света, пришедшего в душу священника из, казалось бы, ниоткуда, — по впалым щекам, заросшим седой бородой стекали редкие слезные капли, когда он вздымал глаза горе, на потемнейший от времени голгофский Крест, на коем в воплощении человеческого было распято Единое Слово, Сын Отца бесконечного, жертвенный Агнец во искупление прежде, ныне и в будущем сущих. Было только это, сердцевина времени, многообразных тысячелетних событий, занесенных в хроники и летописания, когда суть бытия незримо преобразилась, стала иной, и человек, живущий во времени, получил обетование истинное, был омыт жертвенной кровью от греха прародителей, — и Господь снова — незримо уже — создал небо и землю, десно и шуо, и стал внятн свет и безвидна тьма — и видим путь на земле. Все прочее — сон, затмение прилогами помыслов и грехов, уклонение в лукавое мудрствование, прах и персть в суете раздробленных дней и греховное сонмище... И завтра в праздничном звоне колоколов грянет Воздвижение Пречестного Креста — духовная радость, смешанная с глубокой печалью, — и кто услышит это пронзительное двенадцатое воспоминание?..

«Ныне Кресту поклоняющися, вси воззовем: рагуйся, Древо жизни. Рагуйся, скиптре святыи Христос. Рагуйся, человек слава небесная. Рагуйся, верных похвало. Рагуйся, державо веры. Рагуйся, оружие непобедимое. Рагуйся, врагов отгнание. Рагуйся, сияние светлое, спасительное миру. Рагуйся, мучеников велия славо. Рагуйся, сило праведных. Рагуйся, ангелов светлосте. Рагуйся, всечестне...»

Услышат. Благое свершается в тайне, — и праведники неявины. Так должно быть. Ибо обнаруженная добродетель покрывается коростой гордыни и перестает быть добродетелью. Панотец умом все понимал, но смуток печали, рзуемаемой как бесовское искушение, не оставлял его, и душу точили помышления о том, что воспоминание Воздвиженья Креста, впрочем, как и иные церковные воспоминания, кроме Светлого Воскресения, единящего всех, не затрагивают поспольство в мере настоящего воспоминания и потрясения. И было в этом многосложном и неизбывном чувствовании доля какой-то почти детской обиды, печалование о предвечном и глубокая мера сострадания смятенному миру. Годы и знание мира слагались в одно целое, в некий твердый прожигающий луч, устремленный в вязкую тьму, и стоило панотцу прикрыть усталые веки и отрешиться от случайных звуков земли, как нечто провиделось и предчувствовалось — смутное и невыразимое словами земными, и было насущно, и страшно, и неминуемо. Но люди, выброшенные Промыслом во времени рядом, бесцельно и в неразумии бродили по улицам козацкого городка, пили-пели в орендарских шинках, уходили в лихой промысел в ночные тревожные степи, а он не мог прорвать свою темную немоту, не мог отчетливо лицезреть, увидеть очесами разума своего надвигающееся на всех них. Не мог упредить неразумных. Да, может быть, все было просто, и ему хватило бы святоотеческих слов, глубоких, отточенных в подвиге, освященных огненными молитвами преподобных, — имеющий уши да слышит, — дабы из последних сил и последних дней, ему предназначенных, упредить и спасти мятущийся люд, — но в речениях древних исповедников веры больше слов говорило молчание, предваряющее и заключающее эти слова, но слух человеческий был сроднен с глухотою, — и не слышали говоримого в церкви с амвона, взыскуя особых словес (да и взыскуя ли?..), и тем паче не слышали и не разумели молчания. А речь (сухие, бесцветные созвучия слов) шла о привычном (да, ибо и к этому человек вполне привыкает): о памятовании смерти, о страхе Божиим, исцеляющем неисцелимые язвы греховные... Но это было первым, понятным (хотя как понять всю полноту и безбрежность сих двух? — и скажем поэтому снова: привычным, ибо причина сглаживает и измельчает во прах все и вся). Далее провиделась бездна, в сравнении с которой великий ток бесконечного и загадочного времени, в коем мгновение жизни пребывал каждый из них, был вроде блика нетварного света, — и как было охватить, осязать эту бездну разумом, душою и тем паче словом?.. Поэтому в памяти снова и снова выпрастывался из тления тот давний лирик-кобзарь с траченной годами кобзой своей и стремился в протяжно-тоскливом песенном слове к истоку времен, откуда когда-то взяли начало реки земли, и многообразные злаки, и леса, и сонмища сверкающих младенческих душ. Но исток, сущее Слово — были недостижимы. Доступным словом о давнине, где едва упокаивалось внутреннее смятение, кобзарь преломил полдень на вечер козацкому панотцу — и панотец, изживший с тех пор добрый кус жизни, думал

ныне о том же.

И сейчас до рези в глазах смотрел в средоточие голгофского Креста, и холодные бесцветные губы его шептали молитву, чудесную силу которой он не раз испытал на себе в обстоятельствах, и думалось, предвиделось панотцу, что сей праздник Воздвиженья для него вроде Пасхи осенней, — но какая Пасха может быть осенью, в начале нового года?.. И снова уходила, и пропадала досужая смятенная мысль, и снова вливался в душу его давний свет бессмертного и неувыдаемого полдня, и душа упокаивалась, умиротворялась в блаженном тепле. Что же, — думалось тогда панотцу, — Светлая Пасха Христова всегда пребывает с каждым из нас, хотя порой мы забываем о том, — и не отменяема ли она некоей зимой или осенью, чередой рекомых уходящих времен?.. Кто ответит: возможно, круг времени на земле, сутью которого является Пасха, движим ею и сотворен для нее?.. Ибо не было на земле события большего, чем Крестная смерть и Воскресение Воплощенного Слова?.. Что же, — напряженно думал священник, — некогда, через две тысячи лет, как рассчитали Пасхалию богословы из Киева, Пасха сместится на лето, а через миллион лет, вероятно, — даже на осень, и будет тогда осенняя предвечная Пасха, и воспоет в духовной радости Церковь земные тех наступных веков: *Христос воскрес!*.. И взмывала светлой птицей в душе у него неудержимая радость, и Крест, казалось ему, выпускает острые зеленые стрелы побегов, тянущихся горе и вверх, к расписному небу чигиринского храма, откуда сурово и милостиво взирает на собравшихся здесь Предвечный Отец. И, казалось, он знал, что творимое ныне служение Честному Кресту есть последнее в его долгой жизни, и скоро уже наступит черед и ему сказать радостные слова древлего благочестивого Симеона:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...»

И тяжкий сон завершится, и придет, зажжется в крутых небесах истинный полдень, в коем он вновь обретет всех, кого потерял.

Павло стоял за спиной панотца в густой коленопреклоненной козачьей толпе. Смотриая временами на Воздвиженский Крест, он видел согбенную, некогда сильную спину священника, его седые, пожелтевшие от изжитого века волосы, собранные на затылке в косицу. Единожды ему показалось, что на плечах панотца смутно просвечивает огненный крест, вдвое меньше голгофского, пред коим молились они, — он прикрыл на мгновение веки, и когда снова посмотрел на священника, креста уже не было.

«Кресте, демонов гонителю, врачу недугующих, крепосте и хранителю верных, царей побего, похвало православных воистину, утверждение Церкви Христовы: буди нам забрало и стена и хранитель, древо благословенное...»

После молебна, когда отзвенели предпраздничные колокола, Павло остался в церковном саду, поджидая священника. Яблони, груши, вишни и сливы лишились летних одежд и сиротливо вздымались в достижении серых небес голые ветви. Под сапогами шуршала бурая волглая листва,плыли запахи увядания, тления и печали. Вдали тускло, свинцово поблескивало зеркало Тясмина, изредка сминаемое налетающим безвидным языком ветра. Предметы, попадающие в видимый луч, — почернелые стволы деревьев, белый угол церковной стены, дальние хаты, изгиб осенней дороги — имели какую-то странность, чуждость распростертой над всем этим осени, и были как бы недорастворенными в ней, но обреченными на исчезновение. В душе у Павла крепла глубокая грусть, светлая в благодарении за счастье все это видеть и со всем этим жить, и в ней не было боли, хотя все видимое осознавалось неизбежной утратой. Да, думал Павло, всему и всем время жить, и время умирать, и, может быть, смута умов дана нам во благо, — хотя трудно, почти невозможно это принять, — чтобы испытать наши души на прочность и верность, и жизнь отдать за други своя... Многим из нас дарован будет мученический венец, — слава Богу за все, — потому что каким бы ты ни был, но придет час, когда услышишь в себе зов велегласный и мощный, когда душа властно потребует слития с тем веществом, из коего сотворена, — и с чем же, с какими прибывками или утратами предстанет она пред зраком Творца?.. Мало выжить — следует выстоять... А с поврежденной душой и жизни не надобно. Что толку есть, пить и плодиться, если отнято и растоптано главное, что придает жизни смысл и значение, — и жизни не только твоей — одного из тьмы тысяч, — но жизни поспольства, народа всего. Не позабыть за едой и химерным прибывком сей смысл, не променять разум на бездушный и сладостный звон червонцев-дукатов, когда враги попытаются купить за золото то, чего не достигнут войной и мучением, — да, не забыть, не забыть... — и в этом опора, столп утверждения истины есть заповеданная отцами верность третьему уделу Пресвятой Богородицы, последнему оплоту державного Православия, — и защита до смерти его. Но как же быть со взыскуемым милосердием? С молитвами за врагов? С прощением их?..

Скрипнула дверь южных врат, и из храма вышел панотец Стефан. Зашуршала под ногами листва, и вновь стало тихо, — священник смотрел на Павла, стоящего между

дерев. Лицо у него было бледным до синевы, глаза, потерявшие былой блеск, глубоко ввалились под бровные дуги, — взыскуемые молитвенные просветления, небесные откровения, приоткрывающие для умного зрения свинцовую плиту мимотекущего времени, не давались священнику даром, изжигая плоть его до костей. Панотец молча смотрел в глаза гетмана, избранного по слову народа для зачала священной войны. Может быть, дело войны не касалось его, уже трижды простившегося с окружающим миром? Может быть, он должен был вразумить мятежного гетмана и наложить на него епитимью за *не отдание кесарю кесарева*, за неподчинение власти предержавшим? Они смотрели в молчании взглядом во взгляд, и, верно, оба знали, о чем думал каждый. Священник знал, кроме того, и о покорных лжехристианах, которые не противились злу силою, исполняя буквально Христовы слова о *левой щеке*. Что же стояло за этой покорностью? Неразумие, лицемерие и гордыня. Покорные эти покорно же становились униатами — такими же недоверками и еретиками, лишь по форме исповедывающими христианство, лишая его живительной сердцевины, бездонности смыслов и символов, — и отнималась от них благодать. Ибо, — священник знал это твердо, — не было в мире разделенных Церквей, но было лишь отпадение от Церкви Единой, Святой и Апостольской..

«Благословение Господа на тебе, — тихо сказал панотец и осенил склоненную голову гетмана крестным знамением. — Что хотел ты услышать, сынок?»

«Нет тишины во мне, отче. Нет твердости в деле стояния за отечество...»

Панотец горько усмехнулся:

«Мы — дети последних времен, работники часа одиннадцатого, — удивительно ли шатание нынешнее и твое, гетмане? Можешь ли превозмочь сам себя?»

«Но как же быть, панотец? Без внутренней перемоги достоин ли распотать свое дело?»

«Нет, сыне, это дело не только твое. Это дело всех нас, — и тех, кто придет следом за нами. У брани Христовой со тьмой нет конца, — и путь сужается до ушка игольного. Разве мы здесь последние? Придут на эту землю, боронимую нами от тьмы, наши дети и внуки, и не закончится вольный сей род, ежели сохраним завет старожитных русских князей — святого Владимира и иных благоверных князей-страстотерпцев, положивших жизни за други своя и за эту вот землю, на которой ныне стоим».

«Я знаю, — сказал Павло, — но мы не должны забывать о милосердии, ибо, как сказано в житии преподобной Феодоры, когда провидела она воздушные мытарства души после смерти, — кто все совершил, все подвиги и все посты, но был немилосерд — с этого последнего мытарства низвергается в ад...»

«Я разве говорил о жестокости? Нет. Милосердие — это неисповедимая и непредрекаемая глубина, коей нам до конца не постичь. Всеобъемлюще милосерден только Бог. Мы же, по неразумию, под видом милосердия можем творить и зло, разумевая его как добро. Вот ты, знаю, вернулся к униатской могиле. Зачем?»

«Я откопал того расстригу, казненного по слову судьи. Он не умер еще — и я даровал ему волю и жизнь...»

«И это — ты думаешь — истинное милосердие?» — спросил панотец.

«Не знаю. Думаю, этого было недостаточно. Потому что душой я его так и не смог простить».

Священник молча покачал головой и задумался, глядя в надвигающиеся осенние сумерки.

И сказал:

«Непрост путь твой, Павло. Вижу и слышу большую силу в тебе, — но как распорядишься ты ею — не знаю. То, что ты сделал, — не милосердие, нет, но ошибка, если не сказать большего. Ты обманулся. Этого не стоило делать».

«Почему?»

«Во-первых, ты преступил войсковой приговор, нарушив тем соборное решение многих тысяч козаков, нарушив исконные вольности Запорожья. Не Тимошенко придумал — по злобе своей — сей приговор, но народ чрез него. Уже через это достоин ты лишения гетманства и извержения прочь».

Лицо Павла потемнело, наливаясь бурой разгоряченной гневом кровью.

«Не сердись, гетмане, на правду, говоримую в очи. Сам знаешь, что никогда не было на Сечи произвола. Всякое было, но никто никогда не ослушивался черной рады, — и в этом тоже вижу я залог наших вольностей и несгинения в грядущих веках...»

«Оставь, панотец, речь о грядущем, — мрачно сказал на это Павло. — Что же во-вторых?»

Снова печально и мудро усмехнулся священник и опять покачал головой, глядя мимо Павла и видя нечто такое, чего Павло увидеть не мог.

«Ты непокорный и своевольный, сынок: быть беде от твоего рекомого милосердия... Но что поделаешь тут, — дай Бог пред смертной мукой твоей тебе покаяние...»

«Я еще жив, панотец, — и хватит об этом! Так что же другое?..»

«Расстрига тот действительно достоин был смерти, — и это свидетельствую я, православный русский священник, — не по злобе, не по греховности, не по преступлению заповедей. Он один опаснее целого отряда жолнеров, которые придут нас воевать и приводить к отступлению от Матери нашей Церкви святой. Таковы и наши иерархи-отступники, — да будут прокляты они в сем веке и в будущем! И здесь ты снова преступил истину, нарушил правду, споспешествовал умножению зла. Ибо оружие того отщепенца — слово и жизнь, прикрытая рясой, — а это пострашнее польских клинков. Ты помиловал плоть одного, но не пожалел множества душ, гетмане. Малая закваска, по слову Евангелия, квасит все тесто. И это последнее — хуже гораздо, чем нарушение вольностей войска. Так есть ли сие милосердие, гетмане?..»

Павло тяжело молчал, глядя под ноги, в бурю мокрядь опавшей листвы. Что-то в душе противилось словам панотца, и хотелось священника осадить, поставить на место, — пусть занимается своей справой церковной, читает Октоих и машет кадилом и не мешается в войсковые дела, в его, Павловы, дела, на коих он возрос с малых лет. Его дело — служить Богу и печься о душах пасомых. И о его душе тоже. Так, стало быть, он и печется, ибо произошедшее с ним разве не касается в первую очередь нарушения, червоточины в нем?.. Но все-таки, все-таки, — не унималось нечто в Павле, — не его дело война, и не его дело решать, кого миловать, а у кого отнимать жизнь. Но без мудрости, освященной веками соборного опыта, без ясного осознания истины война за святую, за нерушимость духовного народного бытия может легко превратиться в кровавую бойню, в усобицу посполитую, — и поздно будет что-то исправить и заново пережить. Двинул носком сапога палый лист и вздохнул, подняв глаза на священника.

«Восемьдесят пять лет назад, сказывали мне, в Московии, в далеких лесах за рекою Волгою, — сказал священник, — умер знаменитый подвижник именем Нил по прозвищу Сорский. Слава его и творения дошли и до Киева нашего. Любовь его исклочала всякое осуждение, хотя бы источником имеющее ревность о добродетели. Писал он: *«Сохрани же ся и тицися ни укорити, ни осудити никого ни в чем, аще и не благо что зрится»*. Потверждает ли сие твой поступок?»

«Нет», — сказал Павло, хотя хотелось произнести ему «да».

«Почему же?» — спросил панотец.

«Нет у меня духовного разумения», — уклонился от ответа Павло.

«Потому что ты простил по плоти его — но не по духу. Болела душа у тебя?»

«Да. Ведь добро всегда творить тяжело — тенеты греховные препятствуют зело сему».

«Нет. Опять ты подменяешь изъясненное зло на добро. Нил-подвижник, сие говоря, имел ввиду каждого человека, с мелким и несовершенным его, в его малых днях. Ты же, под видом исполнения малого, в большом преступил. Вот как об этом сказывал тот же Сорский монах: *«Несть убо добре еже всем человеком хотети угодно быти. Еже хочещи убо избери: или о истине нецися и умрети ее ради, да жив будещи во веки, или же суть на сласть человеком творити и любим быти ими, Богом же ненавидимым быти...»* Готов ли ты к такому свидетельству истины?»

«Не знаю, отец, — сказал Павло. — Но как же быть с этим, чего до конца постичь не могу: *«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче»*?

«В этой великой молитве мы просим простить неразумие наших личных врагов, их заблуждение, их души в сени греховной, — но разве эта молитва учит нас непротивлению вражде? Нет. Она освящает стояние противу них по нужде вооруженной рукой, когда они посягают на святая святых — нашу веру, сохраненную нерушимо со времен великих апостолов, нашу единую Церковь, установления святых Вселенских соборов, на жизнь человеческую. Разумеешь ли, гетмане? И нет здесь противоречия, но ясная и бесконечная глубина, чистота и благовторность Христова учения и премудрого Божественного устройства. Это не значит, что каждый из нас, православных, всем хорош и тем более свят. Уклонения человеческие неизбежны, и все мы рождены во грехе. Но по промыслу Божию мы стоим ближе к Животворящему Источнику, нежели иные языки. Посему и ответ на Страшном Судилище будем держать по всей строгости, ибо исполнится реченное в Писании: *«Дано было вам, и не слышали...»* Мы же с тобой, последние из последних, — будем держать еще больший ответ, ибо при нас завелась и расширилась по нашей богохранимой земле римская ересь. Что делать нам? Не противиться злу и отдать посполитых на поругание и духовную пагубу от западных еретических стран? Предать третий удел Пресвятой Богородицы? Тогда что же мы здесь с тобой делаем? Зачем пришли в этот мир?.. Да не будет сего, гетмане!..»

«Да не будет! — сказал твердо Павло. — Спаси Господи вас, панотец!»

«Благословение на тебе, сыне мой, — будь непоколебим в служении истине. Но запомни еще один завет Нила-подвижника из заволжской московитской земли, мужа

благого, чтобы уберечься от крайностей: *«Без мудрствования и доброе на злобу бывает, раги безвремения и безмерия. Егда же мудрование благим меру и время уставит, чуден прибыток обретается. Среднею мерою удобно есть проходить. Средний путь непугателен есть»*, — и да сохранит тебя Бог...»

Простившись с панотцом, Павло через сад вышел на окраинную чигиринскую улочку, взошел на размокший от обложного дождя крепостной вал, миновал сторожевую вежу, сложенную из почерневших от старости бревен, — стены ее хранили на себе множество отметин и следов от стрел крымчаков, и остановился в виду распростершихся безбрежно полей, затянутых сумеречной кисеей мельчайших каплей воды, пересеченных там и сям облетевшими перелесками. За спиной в бездействии маялся Чигирин, наполненный до краев, как чаша вином, вооруженными молодцами-козаками, детьми Матери-Сечи и Великого Луга, сыновьями большого и неосязаемого народа, живущего здесь и везде, куда достигает его мысль с крепостного чигиринского вала. Неведомой силой из тысяч и тысяч украинских русских семей избраны воины эти — лучшие, крепкие, негнибаемые, соль этой земли, — дабы не оскудел сей народ, но приумножился. На Сечи кончались детство и юность, и молодые парняги проходили суровую школу, прежде чем встать под стяги и бунчуки христоролюбивого рыцарства Запорожского. Он был одним из тысяч и тысяч, оставивших родительский дом, едва обсохло материнское молоко на губах. Не был лучше кого-то, но не был и хуже. Был, как все и как каждый во времени этом. И до гетманства своего прошел тысячи верст по горячей земле в разные стороны ветра: воевал на байдаках под османскими берегами, воевал по всему обширному руслу Днепра и притокам его, воевал в землях коронных, в Уграх, в Семигорье, разорял земли волошские и укрепленные замки зависянских панов. Служил сотником надворной хоругви в Остроге — osobистой армии князя Василия-Константина Острожского, богачейшего православного пана, чьи маетности занимали большую половину православных земель Малопольской провинции — одной из трех, на которые административно была разделена Речь Посполитая. Род — отец, дед Наливай-осавул, безымянные прадеды, цепочка которых уходила в порубежные времена святого князя Владимира, в боевые дружины отца его Святослава, — диктовал свою волю, — и кем еще мог стать он здесь, на этой земле? Он и стал — воином. Ими же стали и братья его, окромя Дамиана, духовника знатного князя Острожского в «вольнских Афинах», в Остроге. А сестры — женами воинов. И все было так, как должно. Но в чем-то он был уже не таков, как те, души которых сложились в единую душу его. Беспрестанно сражаясь — он хотел мира, покоя и тишины, и в достижении этого обнажал свою кривую домаху: кроваво рубился на степных пограничных засеках, преграждая пути в Русь-Украину, к добыче голодным крымским наездникам — во имя покоя земли; отбивал полоны, ведомые на невольничьи рынки Востока, брал с бою галеры, где в трюмах, прикованные к громадным уключинам весел гребных, многие лета томилась полоненные козаки старых времен; воевал в нескольких войнах домовых, когда, по народному слову, паны лаялись, а у холопов трещали чубы, — но сколько бы он ни труждался во бранях, мир, покой, тишина были где-то, но не на этой земле. И разве он думал о гетманстве, о некоей власти над козацкими полками, разбросанными по войсковой справе по широкой степной Руси-Украине? И думал, и нет, — как и каждый значный козак. И вот завершился некий круг бытия, и он избран во главу Запорожского войска и в целом — народа. И от этого уже никуда не уйти. Легче было бы — теперь он твердо знал это — затеряться во тьме люда, в безбрежных просторах земли, в разнообразных годах и трудах, и отойти к Богу душой где-то на заброшенной пасеке, под мерный гул пчелиных роев, или умереть с оружием в руках на черном кремне днепровых порогов, в извечном реве ниспадающих потоков воды, в радужных брызгах, — и видеть в последнем своем голубой и зеленый цвета родины — небес и степей. Но сему уже не бывать. И ныне немилосердной судьбой его стал этот стылый день осени, размокшее поле, предпразднование Воздвиженья Креста на Голгофе. И за спиной его — тысячи вооруженных людей, мощная сила противостояния ереси, тьме и погибели, — и он должен начать эту войну...

После разговора с панотцом боль свернулась в некий клубок, затаилась, но до конца не исчезла. Что-то в нем противилось изъясненному. И снова отчего-то думалось о мире, покое и тишине, по которым истрадался народ, — но не было прочности в жизни, тем более в гетманском уряде. Война в достаточной степени закалила его, дабы грани мира, земли расширились до безбрежности, — и почти лишившись близких по крови, кроме брата Дамиана в Остроге, жены и детей на хуторе под Острогом, он поднимал ныне меч за народ. Но разве он мог изжить до конца свое естество, стать новым во всем — властным, не размышляющим, действующим безоглядно (впрочем, внешне, может быть, таким он и был для людей) и переступить через те бледные, лишенные света ростки, взывшие начало в детстве его, когда в окружающем мире сияли особые краски, не виданные с тех пор никогда, и звенела особая сокровенная тишина, в

которой мать под цветущим вишеньем накрывала на стол — обливной глек с парным молоком, черный хлеб с запекшимся верхом, упругие перья цыбули, сбрызнутые студеной родниковой водой, — и все они жили: химерный характерник и жартовник дед Наливай, отец, братья и сестры, и еще не умер никто... И еще: золотом отливающий киевский монастырь на зеленой круче Днепра, куда привез его отец перед первым походом для освящения будущей жизни; нетленные мощи знатных подвижников духа — преподобных Антония и Феодосия, князя Николы Святоши, Нестора-летописца, Арсентия трудолюбивого... И те слова из молитвы, отложившиеся в нем навсегда... Если все это нарушилось и не сбылось в полной мере, значит, жил он не так и делал не то. Хотя, как мыслилось воплощение милосердия? Благое совершается в тайне — сказано непреложно, и у него, должно быть, свой, иной путь для стяжания Духа Святого, — и не оставить ему дела войны. Но грядущее — не просто домовая война, не просто усобица между панами-магнатами, а он — давно уже не сотник в надворном войске князя Острожского. И если это начнется — жизни не хватит сие завершить и закончить. Корона сильна и подступна, лисьи шкуры и волчья хватка варшавского панства известны, за спиной польского кварциного войска и жолнеров — мощный Рим, монашеские воинственные ордена, вековые сокровища-скарбы папских ризниц, вест-индийское золото... Кто же за нами? Византия уже полтора века как пала сгнившим яблоком под мягкий османский чувяк, вселенские патриархи в пленении, Московия далеко, да и там, бают торговые люди, ходившие через Путивль в пределы Московские, после смерти царя Грозного свой разброд, нестроение, заговоры сильных бояр противу слабого умом и здоровьем Федора Иоанновича... Никого? С нами главное — истина, правда. Добро всегда побеждает — хотя господствует зло. И где взять оружие, какие изобрести истязания, какое рассеяние предпринять, чтобы вытравить из человеческих душ эту частицу нетварного света, которая одна и дает силу если не выжить, то выстоять.

Серые, покрытые дымкой дождя обширные степи казались безжизненными, и как бы ничего не свершалось на них — никогда. Стояли от века, безгласные и ненарушимые, прорастали дикой травой по весне, цвели пышным цветом к маковке лета, принимали дожди и снега на широкую грудь, — время здесь было не властно, ибо, как и они, было сотворенным в прадавнюю седмицу Творца, — и прокатывались здесь в разные тысячелетия толпы безвестных народов — с неведомой жизнью, от которой оставались разве что могильные насыпи над прахом безымянных вождей, с войнами, в которых эта земля принимала в себя, как дожди и снега, наконецники стрел, изоржавленные, растворяющиеся без остатка в недрах клинки и подковы, — и ничего не было вечного и непреходящего здесь, ибо и само время здесь преходило, — исчезали народы один за другим, и не всякий оставлял по себе именование племени своего, — зарастали бранные поля новой травой, и уже никто не мог изъяснить, за что, с кем и когда была здесь война. Ничего не оставалось на этой земле — и только сама она пребывала вовеки.

В серой мокряди, сочащейся из низких стальных небес, в виду слепого простора осенних степей он тужился из малых своих сил человеческих объять то, что здесь было, прикоснуться душою и разумом к этому безмерно великому и всевластному, дабы исторгнуть частицу той силы, которая преобразила бы и этот серый денек, и его обмершую душу, и то, что им всем предстояло свершить. Но время, подобно земле, было непостижимо для разума в своей полноте, и лишь в сумраке памяти угольями тлело то, чего он на земле не застал, доставшееся по крови и духу от тех, кто в полках Святослава стоял противу Византии под Корсунем. Малое, по-человечьи слабое, мягкое, готовое распасться от дыхания времени (если он останется жить) или исчезнуть не знаемо (если он будет убит на дорогах этой войны), унаследованное от тех, кого уже нет, — и сего было достаточно для его жизни здесь и сейчас, — оставалось только очнуться от сна ожидания и осознать как непреложную данность зрак и звук имени своего, слитые неразрывно с теми, кто безгласно, невидимо затерялся в этих бескрайних степях, над которыми сгущался сумрак новой ночи.

Осень. Дожди и туманы. Раскисшие степовые дороги. Оголенные черные перелески. Низкие, серые небеса. Тишина и сон родины.

И казалось ему, что где-то там, в гнездовище зла, зла-то и не было, — да и как некое зло может пересилить и превозмочь все это — большое и вечное?..

Вечеру смотрел на икону, подсвеченную красным углем лампадки, чёл по памяти вечернее правило и, отвлекаясь от сути молитвенных слов, думал о том, что нет смерти, пока ты слышишь гул теплой отчей земли под ногами, пока видишь мягкое низкое небо, как бы накрывшее сущее громадной чашей своей, — и ты здесь, здесь, и никуда тебе не уйти от предначертанного в книгах небесных...

Смотрел на просвечивающий тепло из-под кофоти лик Богоматери, на золотые складчатые ризы Ее, на руки Жены, издавонка несущие сквозь земные века

Божественного Младенца, — и думал, что искомое милосердие, мера (или безмерность) его в истекшем людстве сполна воплотилась лишь в Ней, и поныне стоящей в молении и взыскании всех погибших близ престола Сына. Мы же — ничто, по греховности мящие тело свое венцом твари земной и разум свой — господином над тварью, землей и братом своим... И нет, не будет излито на нас конечное милосердие, — хотя что, если не милосердие, есть каждый день и час жизни, дарованные нам в цвете, звуке, движении, делании?.. Это милосердие так велико и бездонно, что мы не ощущаем его, и посему нет в нас и благодарности за него. День изживается в суете, сваре, грехе и проклятии ближнего. Ангелы тьмы незримо реют в своем торжестве над распяемой плотью, уничтоженным человеческим зраком, мохнатыми крыльями со дна душ человеческих поднимая темные, кровавые страсти, дурман, слепоту и забвение, — и здесь ломаются, как сухие тонкие былки, даже те, кто знает в предании многообразные лики погани сатанинской и кто жизнь свою положил на алтарь служения Господу... Нужен прорыв земной паутины, которая крепче шелковых прядей, прорыв плоти, кровавых и дымных страстей, пригибающих голову долу, — в молитве и покаянии.. Но как, как единожды это свершить?!.. На мерный, устойчивый подвиг каждого дня — где взять силы и душевную тишину?.. Тем боле ныне, когда мир безоглядно, в реве больного веселья и обреченности катится к своему завершению?.. Работники часа одиннадцатого... Минули, стали, как сказка, лучшие времена, когда сила была разумна, светла и направлена на делание добра, — и мир, все живые тогда дышали единым дыханием в кратком слове молитвы Иисусовой, — вспомни жития старцев-пустынников первых веков, вспомни первых насельников киевских круч... Все блещет золотыми дарами Духа Святаго, — и забыты усобицы, многообразные ереси, смуты, тяжкие грехопадения — когда смотришь отсюда, с вершины своего несчастного, смутного века. Но ты помнишь и то, как некий старец египетский, подвизавшийся в пустыне по названию Скит больше тысячи лет назад, ответил спросившему, почему имеющиеся ныне между монахов подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Потому что тогда была любовь, — сказал старец, — и каждый подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего вниз, — по этой причине мы не устаиваемся получить благодати. Да, узок и неудобопроходим путь на земле по направлению к свету, миру и тишине, — таким был он всегда — и в часе восьмом, и в часе десятом. И надо идти, ибо те, обретшие бессмертную память в древних житийных пергаментах, путь свой свершили. Очередь за тобой...

Павло проснулся от света, сочащегося сквозь желтый воловий пузырь слепого оконца. Что-то едва слышно звенело и таяло в душе у него — будто медная, туго натянутая нить, тревожимая дуновением ветра, — и свет, заполняющий чисто беленную горницу, был тоже как бы оттуда, из глубины тонкой радости, серебристо обнимающей душу. Что со мной? — подумалось почти в полусне, в сладком изнеможении, и, сев на лежанке, в красном углу, под иконами, украшенными святковыми рушниками, увидел выраженный девичьими лентами пожинальник — остатный сноп овсяной с последней полосы минувшего лета: зачинающийся день был днем Покрова.

Молчали до времени церковные звоны и, может быть, половина Чигирина досматривала последние сонные видения на теплых лежанках, — но девки чуть свет уже побежали в храм ставить умилоствительные свечи к празднику и шептать свои девичьи молитвы:

«Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня женишком...»

Бегала так в церковь и Ганна, верная и далекая, — и было ей семнадцать годов, когда прибежала она еще затемно, по первому легкому пуховому снегу, затеплила свечку пред образом Покрова, прошептала молитву, и только после подросли девки-подружки, и сказала ей одна из тех, припозднившихся, в шутку сказала, и все забылось потом, пока сполна не исполнилось, не сбылось:

«Ну, Ганко, теперь ты за гетмана выйдешь!..»

Посмеялись девки тогда — о, как быстротечна девичья молодость и неопасенье...

А он, молодой козачина, поспешал той порой из семигорского похода домой, в свой Острог на Воынь, чтобы успеть к Покрову, но необъяснимо свернул в сторону, переправился близ Переволочной через Днепр и заехал на праздник в Миргородщину, на хутор Кыптив к побратиму своему Миколаю, загостился там, на землях Полтавского полка, и в Острог, к матери и отцу, ко дню собора Михаила Архангела, привез уже высватанную молодую — ту самую чернокошую статную девку, что в Кыптиве под Сорочинцами первой поставила свечку празднику Покрова Пресвятой Богородицы... Все это вспомнилось, и радость его, словно умытая живительной влагой давнего, молодого и светлого, умножилась и возросла.

Отворил скрипкую дверь и вышел из темных тесных сеней во двор, прищурившись на мгновение от забытого, ослепительного белого снежного цвета. Вдохнул чистый холодный воздух, влажно пахнущий снегом, черпнул ладонью пуха с земли и

растер по лицу и по шее. Улыбнулся, и, зажмурив глаза, оттягивал миг, когда увидит преобразенный Покровом мир.

«С праздником, гетмане!» — поприветствовал его проходящий мимо посполитый. И он открыл глаза и все это увидел.

Хрустким и звонким ледком Покров прихватил дождевые лужи вчерашнего дня, белой мягкой порошей, как невесту затейливыми праздничными кружевами, убрал степь, целебно, светло присыпал раны остывающей предзимней земли. Курились первые (уже зимние) дымки над дымарями хат посполитых (*Батюшко Покров, напоти нашу хату без гров!*), господари-хлеборобы торжественно выносили из сени пожинальники, увитые лентами и украшенные сохлыми цветами, береженными до этого дня с месяца серпня, несли их на скотные дворы и давали скотине — коровам-кормилицам и бычкам, коням и овцам, дабы сохранить эту живность от зимней бескормицы и всех бед и напастей. На сторожевой веже, на маковке Замковой горы грянула малая гармата — молодцы будили тех, кто еще не проснулся к светлому христианскому празднику. И тут же заблаговестили колокола. Рассыпчатые круглые звоны катились, как волны, вкруг, уходя в открытые преобразенные белизной степи, скрываясь где-то за обрием, но не пропадая, не рассеиваясь бесследно в просторах земных, но продолжаясь в благовестах других, ибо за гранью обрия-окоема не кончалась земля, но продолжалась, и всюду жили козаки и землепашцы, и стояли храмы и церквички малые, устремленные луковицами куполов в небеса, как овещественные молитвы живущих, и рождались дети у них, и звенели в перезвоне друг с другом церквички их, и выносились так же снопы-пожинальники, и незамужние девки уже служили по-своему перед иконами Покрова, прося о женихах и мужьях, прося о продолжении рода...

«С праздником!»

«Величаем Тя, величаем... — могуче подпевали козаки панотцу Стефану в битком набитой церквичке цигиринской, — величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святыи Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся...»

Дрожали от общего дыхания-гласа огоньки множества свечей, и люди, бывшие разными в жизни, заботах и чаяниях, праведные и грешные, убогие и богатые, без царя в голове и разумные, ныне, отложив и забыв свою разность и рознь, пребывали как бы одним человеком заполнившим душой своей храм, где свершалось великое таинство двенадесятого празднества, были едины в слове молитвы и в деле, являя собой в части своей то, что называемо целокупным народом. И не нужно было видеть глазами то, что происходило ныне повсюду на православных землях — от Сербии, Боснии и Герцеговины — чрез Московию — до самого Сибирского океана на краю света, — повсюду благовестовал светло-снежный, чистый Покров, и духовные вместе с народом возносили к небесам молитвенные слова, — и на минуту, на час или два воскрешался на этой земле, грешной и окровавленной, *золотой век*, погрузившийся в давнину, и люди становились едины, и прощались обиды, и зло — если как-то можно представить его вещественно — сворачивалось в остатках темных пучин — до поры, ибо князем мира сего, теснимым светлыми праздниками, был не Христос. Он был над миром, в мире и в каждом, но не господствовал силой и принуждением — но свободой, любовью, добром, — Он был как бы одним из козаков и сражался незримо под крещатой хоругвью кошевой, укреплял вооруженную руку в стоянии против туркатарина, наливая ее, как жидким свинцом, невиданной мощью, заграждая от стрел, падающих черной тучей на сомкнутые козацьи ряды, — без Него, без Его помощи и заступления, без Его попущения и милосердия — разве было бы возможным само существование Запорожья и дело стояния за истину, за Него?..

Но жизнь была разной и всякой, страшной, тяжелой или же никакой, и принимались смертные муки в сечах, в неволе и в казнях за мятежи, творились тяжкие грехи воровства и смертоубийства, продавалась сама сабля козацкая соседним господарям для участия в государственных смутах, свершались насилия даже над своими посполитыми братьями, — и вместе с тем незримо и исподволь творилось добро, малое и большое, строились козацкие храмы и попущением Божиим расстраивались козацкие монастыри, и главное, жила, пребывала в цвете и в силе земля, хоть не державно, но все-таки православная. Все это в едином порыве сливалось в нечто великое и неизъяснимое, где светлые силы побеждали закрайны шипящего зла и вязкую болотную тьму, и грешник видел и знал греховность свою и неправедные дела, — здесь, пред святыми ионами, нечисть душевная обнажалась, теряла силу над рабом-человеком и власть. Пусть после, потом, он делал все то же и так же, но нынче и он преображался, как земля, чудесно и милостиво, покрываемый, вместе со всеми, омофором Пресвятой Богородицы.

«Величаем...»

Радость, подымавшаяся в нем спозаранку, не иссыхала, не оставляла Павла, хотя

ослепительная краткость таких состояний хорошо была известна ему, — серебряный источник скоро иссякал, и душу забирала маета и тоска, которые ничем было не унять, — и чем сильнее, глубже было духовное радование, тем мрачнее и безысходнее находила тоска. И ныне, несмотря на дряхлеющее светлое умиротворение, на тихий и хрупкий звон медной ниточки, словно натянутой в нем, исподволь поднимались думы, не оставлявшие его со дня черной рады, — но были они покойны еще, хотя этот день был уже последним днем ожидания Лободы. Думал о старом полковнике: где он и жив ли, в какой затерявшейся в мире церковке величает честный Покров Богородицы — если жив?..

Сегодня, после праздничного благодарственного молебна, он скажет свое державное слово:

«Война...»

Но радость не нарушилась в нем, хотя завтра земля и люди проснутся уже в ином измерении жизни, и не будет иного пути, — и кто знает, какой будет эта война?.. Но тихая радость, малый светильник ее, не угасал, но мерно горел в душе у него, — значит все шло так, как должно.

Взгляд панотца Стефана, когда благословлял он народ, тоже был светел, покоен, — Покров звенел и блистал над заснеженной землею.

В густой толпе козаков, расцвеченной праздничными женскими головными уборами и хустками, Павло увидел синий до прозрачности взгляд, устремленный на него, — девчонка, прибежавшая, как прочие, затеплить свечку перед чтимой иконой и загадать о козаке-женихе, козацкая дочь, будущая козацкая мать — или — татарская полонянка, — что тебе, милая, суждено в этой жизни?.. — так подумал, но ясная и покойная память зарябила, как поверхность воды, тронутая языком ветра, — что-то в лице этом было такое, ведомое и знакомое с давних пор семигорских и княжеских, когда он был еще молодым сотником надворного войска Василия-Константина, князя Острожского... Он опустил глаза долу, на каменный пол, закапанный желтыми каплями воска, — и в ушах зашумел ток разбуженной крови, и разум противился тому, что вставало из памяти непреложно и властно, отвергал в изумлении как небывалое и немыслимое, — и хотелось опять посмотреть в эту влажную, нежную синь, на это родное и такое забытое девичье лицо, — да, такой ты была, ненаглядная, в тот давний Покров на хуторе Кыптиве под Сорочинцами... Была... Но с тех пор прошла целая жизнь, исполненная тяжких бранных и хлебных трудов, целая жизнь, которой мы с тобой не заметили, и в той жизни ты рожала мне сыновей, похожих лицом на тебя... Но здесь — Чигирин, а не Кыптив, и не волынский Острог, и Покров сей отстоит от юной тебя на тысячи верст, коих не преодолеть на самом резвом коне, — ибо как обернуть время вспять и воротить старый Кыптив, молодую тебя — и меня?..

Снова посмотрел на нее, уже почти что не слыша панотца Стефана, не слыша слаженного величального хора, — и погрузился в эту синеву без остатка, в нее, в свою юную Ганну, которую не взял еще в жены... Был ли то сон, или мара, или же искушение бесовское во зраке — кто скажет и кто разъяснит?..

Между тем служба закончилась, и козаки, обнимаясь-целуясь, поздравляли друг друга с праздником. Все были радостны ныне, но и в меру тревожны, ибо каждый из них понимал, что для многих этот Покров может быть и последним.

Так помолимся же, братие, глубоко!..

Подходила старшина, привечая Павла, — Петро Тимошенко — судья, Савула — генеральный бунчужный, Сасько Федорович — куренной атаман, Кремпский — славный полковник, и другие, на которых он мог положиться, — и он целовал их колючие загрубелые щеки, обнимал крепкие плечи, хлопал по спинам, — и каждый из них молча, глазами одними спрашивал о войне. Лица мужчин заслонили то, что примарилось ныне ему, и он уже с усмешкой в себе помянул это видение и говорил каждому из генеральной старшины: завтра... идем на Брацлав... трусить старосту Струся... помогать шляхте судиться на судовых рочках... — и юная Ганна, не ставшая его верной подругой, не родившая ему сыновей, не полюбившая его со своей страстной и обжигающей силой, отлетала в то прошлое, откуда и не могло быть возврата, растворяясь в заснеженных даях, — мир тебе и любовь моя прошлая, синяя тень на земле...

В храме, на паперти, в чигиринских проулках, на радном майдане и на Замковой горе уже бряцало слово «Брацлав», — козачество и посполство возбужденно обсуждало добрую весть, — но почему Южный Буг, Подолье, Брацлав?.. Из-за сбора брацлавской шляхты на судовые рочки, на которых решались междусобойные тяжбы и споры и рассуждались дела?.. Из-за того, чтобы в случае неудачи перейти до Днестра и укрыться в Молдавии?.. Рубеж запорожских земель недалек от Брацлава, набитого шляхтой и выкрестами-униатами, — и дух Запорожья поддержит и укрепит мятежное войско, — поэтому?.. Козаки, мещане и посполитые терялись в догадках, но гетману

никто не осмеливался досаждать.

Весь день сбивались воедино разбредшиеся по окрестным селам и землям козацкие курени, весь день разносился над преображенными зимне просторами бой чигиринского колокола войскового, — и тот, кто слышал его, задавал коню богатого корму, ладил и сдабривал доброй олией конскую сбрую, чистил до блеска песком медные пластины убора, кремнем гострил лезо сабли, отвыкшей немного рукой пробовал ее крыж и тревожно-свистящий взмах; ружейники проверяли огненный бой ручниц и затынных пищалей; пушкари грузили на вozy легкие походные пушки, мортиры, укладывали россыпью мелкие ядра. В Чигирине все двигалось, летело, спешило — конные люди с гиком пронесились от вала до вала, пугая баб и детей, гремели пострелы самопалов, и едкий пороховой дымок веял в предзимних воздухах. На радном майдане в боевом охранении уже стояли войсковые святыни — бело-малиново всхлопывал на сыром ветру стяг Запорожья, молчаливо и скорбно, в богатом окладе взирала на снующих мимо вооруженных людей походная икона Покрова Пресвятой Богородицы, — совсем скоро — пережить только ночь — разрозненный люд сольется в единое целое, в славное в бранях вольное Запорожское войско, и качнется навстречу своей неисповедимой судьбе. А пока, в последний день мира, козаки допивали горилку в шинках, пели последние песни на расставание и разлуку, кабучили последнего отчаянного гопака прямо на заснеженных улочках, уже разбитых в слякоть копытами, и, может быть, каждый надеялся, что война долгой не будет и к Рождеству они вернутся домой — с волей, которую обретут вооруженной рукой. Думали и о добыче — как же без этого воевать? — ведь у каждого оставалась в зиму семья — жены, дети и престарелые матери, и потому воля, стояние за истину и старожитную религию греческую были неотделимы от известных бранных надбанков. Вернуться бы всем — так мечталось и генеральной старшине, и куренным атаманам, старым воякам и безусым подкозачатам, выходящим завтра в свой первый поход, — и эта мягкая и невоплотимая мечта согревала огрубелые души, туманила на мгновение взгляды, прوشибала пьяной слезой, ибо невозможно было такое, и жертвы, и казни, и расправы стгушались уже где-то там, за заснеженным небокраем земли, — но: вернуться и жить, вернуться и жить...

Чигиринские матери, жены, невесты и дочери, дождавшиеся своего праздника Покрова, дождались с ним вместе и горестных проводов. Козаки гарцевали, шумели, стреляли и пили последние братины за удачу и счастье, — женщины же скорбно смотрели в их лица, прощаясь покорно и тихо — навсегда ли, на время? — как прежде прощались с уходящими в степи отсюда на брань матери их и праматери, — это прощание, эта покорность судьбине, это понимание, что общее дело важнее семейного, личного, было тяжким и неудобноносимым вековым бременем женщин этой земли. Их главным делом было рожать сыновей — для войны и для смерти, — и легко ли было с этим смириться? Кратко, в такой вот праздник Покрова, сверкала девичья любовь и сладость быть рядом и вместе с мужчиной, слышать звучание его голоса, называющего имя ее, покорно отдавать под его тяжелые сильные руки, намозоленные горячим оружием, свое нежное белое тело, и верить, что так тому быть многия лета и что уже нет больше одиночества на бесприютной и окровавленной этой земле, и зачинать от него, единственного и любимого навсегда, принимая в свое лоно семья его, новую жизнь, — и оставаться в холоде одиночества, в тоске ожидания, пока муж закончит очередную войну. И вернется домой. И — когда придет срок — искать его в потрепанных боями козацких колоннах, и хватать за рукава червонных жупанов его сотоварищей, и слышать немое молчание их, раскалывающее небо напополам, и видеть, как отводят они глаза в сторону... Женщине здесь всегда оставался залог — тот, кто был частью плоти ее, самое она, и тот, кто уже никогда не вернется, — слитые воедино, — и это было самым дорогим и единственным, что есть и пребудет — до срока новой войны... У мужчин была Сечь, куда под страхом смерти запрещалось вводить женщину, у мужчин было войсковое товарищество и война, — женщинам же не оставалось ничего, кроме одиночества и смирения, — и разве могло быть по-другому здесь, где почти все жены были безмужними, и это было их общей судьбой. И были они красивы преходящей неземной красотой, чернокосы и статны, и одиночество, боль их ни с чем не сравнимые изливались в тужливом песенном слове, в высоком и трагическом звучании их голосов, — только это и оставалось в приданое их дочерям вместе с такой же судьбой. Так было, и так будет теперь, — и в глазах уже не было слез, чтобы оплакать, как мертвых, живых. Вот они, ненаглядные муженьки: кто хмельной, кренделями пишет от огады к огаде, мугыкая песню без слов, кто тверез и печален, кто танцует средь улицы, а кто дочичает пищаль, отбитую прошлым летом у ландскнехта-наемника в Утрах, — все они разные, но равно любимые, — и у всех один ныне путь.

Так помолимся же, сестры, о них глубоко!..

Этой ночью никто не уснул, кроме детей, видящих взрослые сны. До рассвета не зачинались двери чигиринского храма — панотец Стефан со клиром служил умиловительную всенощную за счастливый исход и крепость душ в деле стояния за попираемые святыни. Церковь, как и ближайший шинок, была набита народом. Не затихал и уличный шум, — из белых степей пришли продрогшие кобзари и, пропустив по святочной чарке, ударили в струны, славя былое-минувшее и близкую неотвратимую будущину:

*Розлилися круті бережечки,
Гей, гей, по роздоллі;
Пожурились славні козаченьки,
Гей, гей, у неволі.
Гей ви, хлопці, ви, добрі молодці,
Гей, гей, не журіться,
Посідайте коні вороні.
Гей, гей, саговіться!
Та поїдем у чистеє поле,
Гей, гей, у Варшаву
Та наберем червоної китайки,
Гей, гей, та на славу!
Гей, щоб наша червона китайка,
Гей, гей, не злиняла,
Та щоб наша козацька слава,
Гей, гей, не пропала!
Гей, щоб наша червона китайка,
Гей, гей, червоніла,
А щоб наша козацька слава,
Гей, гей, не змарніла!
Гей, у лузі червона калина,
Гей, гей, похилилася;
Чогось наша слава Україна,
Гей, гей, засмутилася.
А ми ж тую червону калину,
Гей, гей, та підніmemo;
А ми ж свою славу Україну,
Гей, гей, та розвеселимо!*

Запорожское войско выступило из Чигирина до света. Лил дождь, снег сошел, и поля стали черны, как предрассветное небо. За спиной, уже в прошлом, остались отчаянные кобзарьи напевы, жены, матери, дети.

Начиналась война.

Картина 4. СТАРОСТА СТРУСЬ, БРАЦЛАВ, 1594

Сон полнился цветом, с проблесками красного и багрового, заливавшего нечто сморщенно-желтое, напоминающее мертвую кожу, и не было звуков иных, кроме как бы заоблачных стонов, словно кто-то невидимый и всевластный мерно долбил билом в громадную медную доску, — что это, что, — и к чему?.. — пробивалась тихая, еще сонная мысль в этот цвет, в этот стон, в его сон, — но пробуждения в занимающийся день не было. Затем сухо и властно брякнуло в пространстве вне сна что-то очень знакомое, почти что родное, — и староста Ежи-Юрась пробудился. Сон с красным, багровым будто бы выплеснулся из него на пол и на противоположную стену покоя, расплылся рубцами по узору ковра, — будто стена эта была холопшей спиной, и некто, пока староста спал, излущивал батогом ту спину...

Вновь брякнуло родное било на ратуше, перекрывая рассыпчато-заливистый звон благовестов православных церковок, — опять, что ли, у черного люда схизматический шабаш? — да, да, он-то и не слышал этой проклятой музыки, а как государственный муж проснулся и под звон государственный, — еще бы, еще бы, — ратуша, кроме прочего, и построена его коштом-старанием. Вон какой звон, величественный и державный, зовущий на служение любимой отчизне, на ее укрепление и оборону... О ратуше всегда думать было приятно — она навеки останется в столице Подолья как памятник его жизни, старосты брацлавского, винницкого и звенигородского, каштеляна галицкого Струся, в крещении Ежи-Юрася, — здесь его никогда не забудут...

Первые, на ум пришедшие мысли, развлекли старосту, и ему стало почти хорошо. Да, он жил и живет не напрасно. Жил, как хотел и как мог. Не поступился ничем. Да и чем, — с усмешкой подумал, — было ему поступаться, если ничего не было у него,

кроме разве что веры в справедливый порядок вещей, где достойному воздается достойно. Стало быть, ему воздалось по достоинству...

Вроде бы уже и проснулся, однако багровое, выплеснутое из него, не уходило со стен. Грузно перевалил тело на бок — приятно и холодно захрустело кружево простыней, — и взглянул на стрельчатые бойницы окон. Ажурное плетение золотилось солнечными лучами, свет дробился разноцветными стеклами и падал на блестящий навощенный пол, вздымаясь голубыми столбами отблесков-отражений на стены, где в свою очередь отсвечивал от нарядных золоченных ножен наградного оружия, — неупокоенный свет блуждал по кровавым граням рубинов крыжа, и розовые, красноватые и темные до багровости отсветы висли на противоположной стене. Пан Ежи-Юрась улыбнулся: вот оно что... Замечательно... Превосходно.... И это тоже — рубины крыжа, изумруды на ножнах, тусклый блеск позолоты оружия — воздаяние по достоинству, по заслугам. Да, дни его не напрасны.

Мягкое и теплое блаженство тихо разливалось по отдохнувшему телу, и так было приятно лежать на высокой кровати, видеть свет, отражения, блики на стенах покоя, слышать бой звона на ратуше, вдыхать легкий запах березовых дров, коими слуги уже натопили голландские печи, разглядывать издали голубые изображения на затейливых изразцах — кругобокие испанские гелионы идут по морю, — должно быть, к сказочным берегам Америки. Сегодня старосте некуда было спешить — воскресенье достойно венчало его трудовую седмицу, — желтый месяц *pazdziernik*, день четырнадцатый, по-схизматически — первый день месяца жовтня... Ему хотелось продлить этот тихий и прикровенный покой, это воскресное утро, пенящееся, как кухоль пива, законными благовестами, в котором его как бы и не было, а были только неспешные и приятные мысли, как то: о ратуше, или о памяти по себе, о воздаваемом по достоинству... Можно еще подумать о воскресном обеде, — да, сегодня можно уже украсить стол живыми розами-конфетами... От этой мысли сладко защемило в душе, — и вспомнилось лето: гул пчел, дурманная розарий, небесная синь... И как он садовыми ножницами осторожно срезал цветок за цветком, алые, белые сентифолии-розы качались на длинных стеблях в его пальцах...

Никому из прислуги он не мог доверить тогда это тонкое дело. Видел в Варшаве такое — и был поражен. А чем Брацлав хуже Варшавы? Брацлав — тоже столица. И у него будет, — вот сегодня и будет!

И пылыо разбуженное воспоминание недавнего, летнего, золотого: как споласкивал он розы в чистой студеной воде, как сушил их в тени, как разводил в розовой воде вишневым-клейидержалпосудинунаогне,покаводанедостигагустотыимаслянистости ликера. И после тихо, с душевным волнением, взявшимся неведь откуда, обмакивал каждый цветок в эту теплую жидкость, стараясь, чтобы цветок был везде одинаково влажен, осторожно стряхивая лишнее... Когда розы просохли, самолично обсыпал их истолченным и сквозь самую тонкую кисею просеянным сахаром, нежной пыльцой, или пудрой, и укладывал поочередно готовые сентифолии на большое серебряное блюдо, затем выставлял их на жаркое полуденное солнце, и наблюдал, как разогретый солнечным теплом сахар всасывается в нежные лепестки и, обращаясь в кристаллики, превращает розу в конфетку. Мог ли помыслить о сотворении такой красоты кто из предков его? Тот же отец. Или дед. Грубые, неотесанные вояки, даром что шляхетского рода из Белзского воеводства, из Коморова, застрявшие на Подолье во время одной из домовых войн полвека назад, — да что там понимали они в утонченной красоте, — только что рубились в боях, хлестали горилку и насиловали разбежавшихся по округе простолюдинок... Только к концу своей жизни своей дед образумился, прочухался от кровавого хмеля и выкрестился из схизмы, перейдя в католичество, стал человеком, и их тем самым выведя в люди — чуть выше на пару ступеней. А так — быть бы и ему, старосте Струсию, козаком из надворного магнатского войска Романа Сангушка или Анджея Вишневецкого, — ну, понятно, не козаком голозадым, не воровать лошадей и не дудлить без розуму горилку, как воду, как это темное дурачье, иль чикилдиху-мокруху, или как там зовется та смрадная дрянь, от которой очи лезут на лоб... Но все же — кем бы он был даже в том войске надворном, если бы не благодать святого креста великой Церкви святой католической, — да-да, вот она — овеществленная сила той благодати, уловленная дедом Якубом. И теперь — прекрасные сентифолии, сахарные цветы, тусклый, приглушенный массивностью звон серебряных кубков, уставленных смарагдами, расписанных тонко многоцветными перегородчатыми эмальями, душистая мальвазия медового цвета в них — помянем, пани Марыся, жена моя ненаглядная, деда моего Якуба, а с ним и отца моего Станислава, этим прекрасным сладким вином, — и еще в погребах многосложные вкусом бургундские вина, — о да, не пошло то, чем когда-то заливался дед Якуб, пока не вышел из схизмы. Как спустишься в подвал за вином, чтобы нацедить из бочки кувшин, так и застрянешь там на полдня — невозможно выбрать из десятка — какое же ныне подходит к столу: это иль то, или

десятое, или вот то, густое, как сусло, коему и счет лет уж потерян... И еще вон — глаз радует и душу греет теплом — золотое оружие — награда и дар короля Сигизмунда III Вазы за безупречную, твердую службу в воеводстве Брацлавском, — воплощение покоя и достоинства Струсева... И хотя не произошло ничего в его мыслях и мягких, не без приятности, ощущениях, когда помянул он мысленно отошедших в мир справедливый деда с отцом, однако воспоминание сих двоих не могло углубить и продолжить и тем более укрепить то, что исподволь вызревало в старосте ныне.

Что это было? Назвать это счастьем?.. — удивленно подумал Ежи-Юрась. — Только откуда вдруг во мне такие слова? Впору изъясняться пекалидовым слогом, оставить староство и взять в руки лиру придворного песнетворца, — наваждение... Впрочем, не без глубокого смысла, — иначе к чему здесь памятование Симона Пекалида¹, острожского батального одопевца? Да, еще немного прикопить славы и румяных дукатов в скарбницу и к сентифолиям, к кубкам и ратуше можно будет прибавить прекрасное твердое слово. Вынайди для того из шальных бурсаков-борзописцев способного юноша, высечь его хорошенько лозой, дабы забыл свои школярские бредни и вертепный ляльковый театр, а потом накормить до отвала, дать ему угол, десь бумаги, дюжину перьев и розчиненной сажки в капле воды — пусть пишет, собака, во славу его: какие победы одержал староста Ежи-Юрась на бранных полях под Брацлавом, как одарен был своим староством в славное воеводство каштеляна волянского и брацлавского Анджея Вишневецкого, как фундовал ратушу-памятник и как мудро, как хорошо управляет он сегодня городом и поветом, как справедливо рассуживает на осенних рочках окрестную шляхту... Усмехнуться бы мудрому, пожившему и повидавшему на своем веку немало старосте в седые подковой усы, — усмехнуться да отогнать досужую мысль, — но на то и дано воскресенье всему человечеству, дабы праздновал всякий его как захочет.

Вот он и празднует — так.

И потому досужая эта мыслишка тянула за собой мысли другие и новые, каковых ранее в голове его не бывало, — и уже с некоей легкой печалью староста Ежи-Юрась думал о том, что ратуша есть творение рук человеческих — но не духа. Да, ей остаться. Но лет через сто или двести разрушатся стены ее ветром, дождем и снегами или умыслом злых человек — кто знает, что будет в наступных веках, — и не будет тогда уже старосты Струсы, чтобы заботливо ее починить. А может статься, что неблагодарные горожане, их дети, их внуки разберут по камню ее, дабы замостить камнем какой-нибудь выгон-майдан для сборов галасливых своих, чтобы удобнее глотки драть было на королевскую власть. И больше не бомкнет мощное било в государственный колокол, не призовет горожан к исполнению всевозможных повинностей, не пробудит в них чувства ответственности перед Богом, папой и королем... Нематериальное слово, писанное на китайской бумаге или на пергаменте, а паче высеченное в плоскости дикого камня, переживает, как это ни странно, многие поколения люда, переживает самое время со всеми дождями, непогодами, нестроения, переживает державы. Более того, гексаметр Гомера и записан-то, тем паче высечен в камне, не был, — потому что не придумал греки старовины тогда еще буквиц письма. Так и звучал тот гексаметр под древними небесами, передаваемый из уст в уста, из поколения в поколение... Вот оно, бессмертие славы и подвига на какой-то крошечной войне городов, каждый из которых был в пять раз меньше Брацлава... И от этого, тянувшегося из некоей бездны его, старосте становилось немного тоскливо. Да, сентифолии, удивительные сахарные розы-цветы, здесь ничего не решали. Он пытался вернуться к тому блаженному состоянию духа, объявшему его после пробуждения, и снова пристально всматривался в противоположную стену покоя, где блики и отсветы сдвинулись в сторону и голубые столбы света, поднимающиеся от пола к высокому потолку мореного дуба, ощутило позеленели. На ратуше не звонили уже, и из прежнего трезвонили вразнобой одни только церковки схизматов, будто бы сговорившиеся расколоть небесную твердь своим благовестом.

Значит, — подумал староста Струсь, — так тому быть, ежели сердце хочет того, — сегодня же гаркну на сбор всех быстрых разумом юнаков, кто знает начатки латыни и виршования красного, — иначе, что же, напрасна жизнь моя здесь?..

С тем и откинул тяжелый полог шелкового одеяла, опустил ступни на пол, пожививаясь слегка после блаженного тепла мягкой постели. Прошлепал босонож к узкому оконцу покоя, — на белой рубахе ночной смутными тенями отразились размытые цвета синих, желтых и красных слюдяных стеклышек, — двинул ладонью тонкое медное плетиво рамы и с высоты увидел свой город.

Над дымарями красночерепичных островерхих домов, над майданом, базаром и крепостными стенами в бледно-голубом предзимнем небе уже висело яркое бездуш-

¹ Симон Пекалид — польско-украинский придворный поэт князя Василя-Константина Острожского. Умер в 1601 году. Писал по-латыни.

ное солнце, сея холодный и призрачный в дымке свет, в коем, будто незримые медные крылья, раскатисто бухали ранковые благовесты. И хотя староста недолюбливал это неистовое грохотание в медь, потому что был в этом как бы намеком на то, что православный католик он не совсем родовитый и древний и напрасно зарывает свою черную кость в густой бархат одежд, ибо и из вишневого с блеском проглядывают его чертятся когти с набившейся под роговицу землей, — но нежный лад, некое совершенство в тех перезвонах он все же слышал. Хотя... хотя, разумеется, лучше не слышать в том ничего, кроме преступного умысла-шума. Да вот как переступить через клятого деда Якуба с отцом? А через полудиких прадеда и прапрадеда?.. Нет бы, покатоличился бы кто из неизвестных пращуров, еще в Белзском воеводстве лет двести назад, когда еще в шалашах или в землянках каких-то жили там предки его в Коморове, — и ныне внутри у него все было бы по-другому... Ну, да что тут поделаешь? Впору утешиться изысканным завтраком и со злорадством подумать о мертвых родных, но все-таки виноватых пред ним: хоть и покатоличились вы, зная в том выгоду для себя, да только жрали до гибели своей от татар на южных кордонах Речи Посполитой, кашу сухую, да постным борщом запивали, да тошнотворным салом закусывали, — я уж не помяну вашим душам в чистилище те сентифолии, бо все одно не уразуметь вам со to jest, а вот *пляцек воевода* да *гзяды* пушистые и румяные, с пылу-жару добытые, — только тренькну в колокольчиково серебро, — да с ароматным, густым *кофейным напоєм*, да с *мараскином-ликером* — сей момент слуги представят. И прямо в постель. Вот так-то... Но и от этого утешения было почему-то немного. Взгляд досуже цеплялся за шеломы крыш, за крестовые маковки там и сям разбросанных храмов, под которыми чернели густые толпы народа, скользил к уступчатому фронту недавно построенного костела, горделиво вознесшегося на главной площади города, летел над крепостными стенами и внешними валами туда, где стило поблескивал платиновой серой водой Южный Буг, обнимая излучиной город, и дальше — в раздолье и неисповедимость просторов земных, в которых время от времени затевались смута и воровство, с гиком и свистом подкатывавшиеся под брацлавские стены. Тогда староста пощады не знал к бунтовцам и мятежникам, самолично поднося запал к головной брацлавской мортуре, сметающей тяжелым ядром и в куски разрывающей людей, лошадей, трошащей в щепу повозки. А после — выезжал из крепостных ворот на белой кобыле во главе отряда жолнеров и городской мелкой шляхты, не страшась ни черных пик, ни арканов, ни свинцовых пуль из рушниц козаков, ни легких, оперенных стрел крымчаков, — и смирял бунтовцов, посягнувших на священную власть, огнем, мечом и петлей, — и был всегда город Брацлав оплотом незыблемым великой в веках Речи Посполитой. О, поля окрест города знают и помнят старосту Струся...

Последняя мятежная заваруха прокатилась мимо, на северо-западе от Брацлава, — когда голодранцы-козаки ринулись вызволять своего преступного гетмана. Да, — думал Струсь, — такое странное дело: гетман тот был шляхтичем урожденным, поляком откорня земли, — и вот вольнопринял схизму, возглавил оборванцев и вероотступников, сел, аки царь, на укрепленных островах за порогами Днепра, пренебрегал королевскими универсалами, бесчинствовал в маетностях Острожского-князя, — да и поделом этому богатею-схизмату — хорошо получил от своих же, да так получил, что и Пекалид этот Симон дар глагола и рифмы латинской навек потерял. А ведь на сеймах в Варшаве, тряся козлиной своей бородой, все защищал своих православных, требовал уравниения прав с католиками и свободы отправления треб, — да если допустить, что таковой законопроект родился бы в чьем-то поврежденном мозгу, он бы сам, Ежи-Юрась, первым во всю глотку закричал бы *«ne pozvolyam!»* — и вот вставили этому, *psia kwew*, надутому индюку с его смехотворной «академией Острожской», фитиля в благодарность козаки, — получил по зубам просветитель русинов!.. Сколько, бишь, сел разграбили они у него?.. У старосты исподволь закипала бессильная злоба на старого князя — и остатки утреннего удовлетворения собственной жизнью, ратушей, городом вовсе исчезли. Да и не выкрещивался никуда и ни во что князь Василий-Константин, более того, отстаивал и охранял схизму от целиком заслуженных угеснений и стал со временем этаким нерушимым столпом православия в Речи Посполитой, — и что по сравнению с ним пан Ежи-Юрась?.. Сентифолии, кубки, золотое оружие и несколько сел в окрестностях города, ну и еще родовое гнездо, городок Струсив на берегу Южного Буга, — тьфу! — сопоставимы ли с тем, что знает о князе каждый подпасок польско-литовской земли, — с его восьмьюдесятью городами и местечками малыми, с его 2760-ю селами, с его несчитанным золотом и бочковым серебром... Кубки и сентифолии... Зачем ему куда-то выкрещиваться, ежели все, о чем может только мечтать человек под небом земным, есть у него? Это ему, старосте Струсю, надобно горбатить спину всю жизнь, гнуть выю и прислуживать каждому могущественному пану, подобному старому князю Острожскому, это ему дана такая странная привилегия в глубине своего сердца корвить деда Якуба и отца Станислава, что они не

были даже задрипанными безлошадными шляхтичами, а путались по неразумию с черной сволотой на Запорожье, тайно наезжая на королевские города за добычей. Но это — большой секрет, о том — не знает никто, — а как еще было деду с отцом выживать, если не разбойничать время от времени в черных ватагах?.. И что Острожскому до того, что двадцать пять сел богатых его разграблены были Косинским, — он даже не почесался, сидя на своих миллионах червонцев и слушая виршованную брыдню Пекалида, — может, махнул только платком кружевным своему особистому войску, по числу и боевой подготовке не уступающему никакому другому в Речи Посполитой, разве только Сангушкиному, и пошли православные княжеские громить запорожцев Косинского... Вот потеха!.. Будто сами иезуиты удумали такое!.. Да, дошел слух до старосты, что нынешний гетман козаков, Наливайко какой-то, был в прежние годы сотником у князя в Остроге, — о, как тесна ты, великая и державная Речь Посполитая, — вот так и тремся боками друг о друга, князья да паны, а тут еще эта зухвалая чернь, что русская, что польская, козацье это проклятое... Ну да, это ему, старосте Струсю, надобно трудить свою белую боевую кобылу, выезжая на защиту своего города, и грудь подставлять под пики и пострелы воровских самопалов, кровью и мужеством (да-да, именно так!) зарабатывать право на славное продолжение и упрочение своего шляхетного рода, — ну да, довольно-таки нового рода, из восточных кресов, не из коренных польских земель, но и не уступающего другим заможным родам, — со славою достойного продолжателя державного делания, увековеченной в его городе, в камне и в серебряном слове исторической хроники, — да и в слове виршованном, хитросплетенном, с блеском негленным, которое, стало быть, прочнее камня ратуши и архивного манускрипта, — с записными вековечными землями, и с богатством, само собой разумеется, — ибо вон сколько швендается по степям знатных именем потомков известных в прошлом родов, промышляя по скудости и упадку своему либо разбоем, либо милостыней, — не таков ли и тот клятый Криштоф Косинский, променявший на дурную козацкую волю свой род и кровь?.. Ничего не понять в этом мире, — думал пан Ежи-Юрась, — держава, по видимости значная и великая, с несчитанным людом и дарами земными, который уж год раздирается смутами, мятежами и домовыми войнами: шляхта идет супротив короля, мощные пане друг на друга лагодят особистые войска, беспрестанно деля украинные земли, протестанты в Великом княжестве Литовском строят козники костелу, схизматы и ариане дуют в свои дудки здесь, в Руси-Украине, — а воровское гнездо Запорожья?.. Да это же просто гнойник, заражающий, подобно бубонной чуме, все тело великой державы!.. Для разрешения смуты умов и для упокоения духа, для помощи государственной призваны прежними королями иезуиты, — и что же? — только умножились нестроения, обострилась неприязнь, пролилась кровь, — и чем-то все это кончится?.. До сего мы, польская шляхта, дворяне, оплот Речи Посполитой, были терпимы даже к иудаизму, не говоря о прочих толках и видах исповедывания Бога, и Речь Посполитая наша слыла в Европе единственной «державой без вогниш», — но теперь все иначе. Иезуиты принесли в капюшонах войну. Они мягко стелили, но каково будет спать? Пока я сушил сентифолии на закатившемся солнце прошедшего лета, они с головными схизматами-бискупами в который уж год сооружают на соборах в Берестейском местечке некую унию, объединяя костел и православную Церковь в нечто единое, — и пошли по мирным землям ласковым словом и лисьей улыбочкой своей крушить и загонять в унию эту наших посполитых недроверков-схизматов, — но разве сие по-шляхетски, благородно творится?.. Ему еще когда писали верные, дедовы еще, дозорцы из Белза, с первой родины Струсей, да не сбредить бы — в 1590 году еще, — как львовский епископ Гедеон Балабан пригласил в их родной городок своих побратимов-епископов — холмского и белзского Дионисия Збируйського, луцкого Кирилла Терлецкого и пинского и туровского Леонтия Пельчинського, — и решали бискупы те, как им удобнее было бы соединиться по слову Христа у апостола Иоанна «*да будут едины, как Мы едины*», — вот же умники, — ухмыльнулся в душе староста Струсь, — а то без них не знало людство вот уже без малого шестьсот лет, как преодолеть схизму-раскол, что еще в XI веке произошел по вине Византии... Речь Посполитая всегда привлекала насельников собственных совершенной свободой, — что уж тут было с застарелой схизмой поделать? — тут уж каждый в душе своей должен был решать, как ему быть — с Богом и с папой или с дьяволом и бискупами русинскими. Ну, немного прижимали православных с правами, даже и знать прижимали, не давали им поднять головы, — это понятно вполне, и такова была мягкая и весьма человеколюбивая королевская воля. И если, скажем, шляхтич по старому обычаю мог еще вооруженной рукой взять все приглянувшееся ему у иншого шляхтича, не поминая уж хлопа-посполитого, тем паче схизмата, — то дело сие было делом во всем особистым, и виноватца всегда можно было дотащить за ворот до суда поветового, или до войта, или на крайний случай дожидаться судебных рочек и там уже рассудить обоюдные

жалобы по правде и чести. Но ныне — мыслимо ли целый народ батогами и плетью загнать в этот вот симбиоз — света и тьмы, который и понять-то простому человеку, да и ученому тоже, совсем не по силам? А Острожский — разве попустит он унии этой распостраниться по его землям и городам? А козаки? Разве допустят они торжество самомалейшее Рима, кой, по преданию их воровскому, приравнен чуть ли не к магометанскому вражеству? Еще и епископы эти дурные... С другой стороны, почему же дурные они? Нет, — это и есть тот тайный плод иезуитского ордена, исполняющего библейское же пророчество-слово, сказанное Захарией: «*порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых*». Словом, быть новой войне, — думал староста Струсь, задумчиво глядя в туманные дали, где небо незримо сливалось с брацлавской землей, — рука уже занесена над малыми этими, и нет прочности ни в чем и ни в ком — и только верою, только прямым и неподкупным служением тому, что один раз избрал в этом мире, можно спастись и не быть размолотым в прах жерновами этого непокойного, крамольного времени. Что же до исповедания, *Sola fide*, — то жизнь показала благотворность костела, — свидетельство тому даже и сентифолии в его нынешних днях, не говоря о другом, — и, конечно же, весь мир должен в некоем идеальном осуществлении оставить еретические и богопротивные заблуждения и притечь под покровительство владычней папской руки... Но это — в конце, в самом уже окончании времени, всеблагой волею Духа Святого, а не так: в Белзе где-то за печкой — решили, а в Берестейском местечке пытаются то воплотить — курам на смех...

Да, не забыть бы прочесть утренние молитвы, — встрепенулось в душе, — совсем благовесты заоконные памороки забили, — староста прямо в открытый утренний воздух начал негромко бормотать по-латыни... Звонко-чеканная, отстоявшаяся за столько прошедших веков до некоей прозрачности и крепости чуждая речь, коей еще прадавний Цезарь отдавал приказы железным легионам Рима, звучала подобно колоколу на ратуше — государственно и несокрушимо, — и, может быть, не столько из-за значения произносимых слов, сколько из-за медного их звучания, в душу старосты вновь притекал теплый и такой непрочный покой и удовлетворенность, — вот, думал пан Ежи-Юрась, — даже в такой мелочи провижу я римское торжество, — ах, по неисповедимым токам в неразумной своей голове оказался ты прав навсегда, Якуб-дедуган, что выкрестился из Греции в Рим!.. Да, схизма — вера собак, но все-таки нельзя было забирать так круто и высоко — следовало бы тихой сапой разрешить этот узел — лишать понемногу вольностей, прав, привилегий или соблюдать только видимость их... Поставить на подступах к Запорогам, на острове Кодаке, каменную фортецию с достаточным количеством затынных пищалей и тяжелых мортир, дабы жолнеры перенимали на воде и на обоих днепровских берегах бегущих к Сечи схизматов, умножающих своевольное дикое войско... Да и вовсе разорить гнездовище раздоров и мятежей... Они вроде как пограничную службу справляют на южном кордоне, боронят глубинные польские и украинные земли от набегов татарских, — но непотребна такая служба Короне, ибо непомерна цена... Насадить для того там селянства и осадников — ратных людей из кварцяного войска, кто негоден к войне из-за преклонных своих лет, — по вере католиков верных, сандомирцев, люблинцев или виленцев даже, — даровать им безмездно грунты запорожские, промыслы рыбные и зверовые, — вот и было бы ладно!.. Вот на сейме зимой я предложу ясновельможному панству и его милости королю Сигизмунду такое... Но — тихо, без велегласных ярмарковых соборов, где и слышен токмо крик обоюдный про *анафему*. И гетманов низовых не торкать до поры, а тем паче — голодом на виду всей Европы не умаривать, — уж после бы, потихоньку, как щенят, подавить... А чем крик и галас соборный тот обернулся, сказывал некий новоявленный греко-католик (надо же до такого симбиоза додуматься!), кой прибежал в город в первых днях осени, — новый гетман козацкий, Павло Наливайко, уже начал расправы, хотя и не выходит пока из своего городка, — рубит и жжет последовников сокальских и берестейских, грозит своим же епископам, унию утвердившим от имени народа всего, и прочая... Да и стоило только посмотреть на того рекомого греко-католика, чтобы на весь день нахохотаться от пуза: облезлая голова, неотчищенный деготь на коже, обрывок цепи на ошейнике, скованном вельми искусно, да так, что даже брацлавский коваль пан Тадеуш Ковальчук не смог развязать то железо жестокое без ущерба для греко-католика — защемил ему щипцами клок землистой кожи на шее и вывернул мясом, — как же воал по-свинячьи этот уже не схизмат, но еще и не католик!.. Староста еще не слышал подобного поросячьего вереска. Пан Ковальчук намерился было в лоб молотком успокоить этого писклявого молодца, да староста Струсь не позволил ему, — раз уж с королевского соизволения заводится эта уния, то нужно только споспешествовать сему начинанию и, тем более, не притеснять пострадавшего мученика веры, — ведь и Господь заповедал нам о любви. Иезуиты брацлавские укрыли его под своим мохнатым свиным крылом, —

что же? — уже через месяц, отодрав следы дегтя с морды и загоив раны, понесенные от своевольных буйных козаков, в мученическом ореоле своем наставлен был этот химерный *соединенный* особой грамотой епископа Кирилла Терлецкого, одного из значных лиц иерархии берестейской, в протопресвитеры Василия Великого чина собора брацлавского. При всем том событии бывшего настоятеля-схизмата, панотца Миколая Несуйпальця, церковного старосту Омелька Гнилокишку и двух причетников было утоплено в Буге, прямо под стенами города, — имения их частью были расхищены неизвестными лицами, частью же присвоено новым чина Василия Великого протопресвитером по собственной незаможности и голодранству.

Вот нужны были старосте Струсю такие события в мирном граде его, управляемом до сей поры со всем присущим ему разумом и достоинством?..

На утопление духовенства в реке отцы-иезуиты брацлавские любезно попросили у пана Ежи-Юрася не токмо соизволения, но и помощи вооруженной рукой, — ласково намекнули, что в случае отказа известят как самого короля, так и примаса Речи Посполитой и порекомендуют последнему, если пан Ежи-Юрась вздумает отказать, отлучение старосты Струся от Церкви Христовой святой католической, а может быть, и извержения из лона во тьму внешнюю — за пособничество и попустительство еретикам и мятежникам... Староста печально вздохнул, с тревогой глядя на большую толпу, что грудилась у серых стен близкого храма, — горожане все это знали и ведали не хуже его и, верно затаили на старосту обиду и злобу, — ведь панотца Миколая чтили и почитали в Брацлаве за беспорочную жизнь и духовное разумение священных писаний... Да, — вздохнул горько староста, — принужден был дать святым отцам и соединенному этому нескольких жолнеров покрепче, дабы оттеснили народ, прибежавший защищать своих пастырей. Хорошо еще в звон караульный не успели ударить, а то не избежать бы мятежа старосте Струсю и граду Брацлаву. Ну да, трех человек из невеликой толпы жолнеры все-таки ранили ради устрашения прочих, схватившихся уже было за дубины и колья. Так и брошены были те черноризцы соборные с высокой стены городской в Буг, — и собор головной обернули на унию...

Прочие церковки схизматов пока что не трогали, хотя и кружились вокруг них помощники соединенного, прозванного злоязыкими горожанами подпанком Хайлом, — за вереск гласа его непотребного, поросячьего, впервые огласившего округу в кузне у пана Ковальчука, когда снимали с него ошейник, — да, усмехнулся пан Ежи-Юрась, не человек есть сей попик, а истинное ненажерливое хайло, — ибо, как доносили ему верные соглядатаи, дудлит горилку с утра уже, потом, пьяный, на майдане волает, закликая до покаяния перед святейшим отцом нашим папой Климентом во грехах отступления, — его бы, старосты, воля — выбросил бы подпанка того к черту из города, предварительно воспитав батогом, дабы не поганил зловонием своим городского майдана и не поминал святейшего имени папы всуе пред недостойными, — да вот отцы-иезуиты брацлавские не дозволят того совершить... Зачем в дело столь тонкое дурней замешивать?.. Зачем столько непотребного крику? Зачем насилие неприкрытое чинить над схизматами? Насилие всегда однозначно и не влечет за собой ничего, кроме опять же насилия, — ведь брошен запорожцами уже клич по всей Руси-Украине: *защищайте оружно веру и жизнь!* Что далее? Подпанок Хайло поправляет добра свои за счет брацлавских мещан, пьет без меры и волает на улицах и в шинках, отцы-иезуиты обделяют под покровом таинственности собственные делишки, в Брацлаве давно несопокойно, — утешиться можно лишь тем, что пока староста Струсь может держать в руке своей саблю, все будет в порядке. Хотя... Хотя если допустить некий ответ за сотворенное в последнее время, то отвечать будет именно он, а не иезуиты, а тем более не подпанок Хайло. Но что может случиться? Брацлав крепок, силен, неприступен, стены его высоки и башни его горделивы. Жолнеров и шляхты, способных сражаться на стенах, достаточно в городе и в окрестных степях, — о чем это я?.. — немало удивившись, пан Ежи-Юрась поймал разум свой на скользкой этой дороге. — Что-то произойдет? Что-то случится?..

Неясное, смутное нечто поднималось, как сор, откуда-то изнутри. Старосту передернуло, и во мгновение он почувствовал, что остыл, даже замерз. Плетиво створки оконной все так же было распахнуто в белесое брацлавское небо, где переливались и по-прежнему множались медные звоны и где уже давно день воскресный и праздничный продолжался и ширился, разливаясь по городу разноцветной и веселой волной, а он все стоял, не в силах отрешиться от странных и как бы не его собственных мыслей, — а ведь обманно все началось с того, что помянул он Симона Пекалида, виршеслагателя из Острога, и самому захотелось виршования красного, звонкого, — так его враг человеческий хитро искусил...

И вот теперь...

Староста с силой захлопнул окно, — зазвенели разноцветные стекла, и одно из них, цветом бордовое, вывалилось из гнезда своего, упало под ноги пану Ежи-Юрасю

и разлетелось мелкими черными крошками, — будто пригоршню крови плеснули под ноги, — староста отпрянул, сплюнул, затем нашарил рукой серебряный колокольчик на мраморном столике близ одра и звонил до тех пор, пока снизу не прибежала Мария-русинка.

«Ранок добрый, — мягко и ласково затараторила она. — С праздником, ясновельможный пане Юрась!..»

«Какой такой праздник?..» — пробурчал неудовольненно староста.

«Покрова день! — ответила ему женщина, улыбаясь. — А у вас, у панов, день воскресный! С праздником!..»

«Покрова день, — ухмыльнулся староста Струсь. — Тоже мне — праздник! Давай немедля пляска воеводу и дзяды, да ликеру поболее — высокий стакан, — раз уж праздник у вас, а у нас воскресенье... А пани Марыся с Элжабетой — восстали из мертвых?» — так пошутил о своих присных девах, супруге и дочери.

«Так, пан Юрась, — они уже даже позавтракали и собираются до костела на мессу, — ответила Мария-русинка. — Сей час принесу вам сніданок», — и вышла в высокие дубовые двери.

Староста грузно уселся на одр, подоткнул повыше подушку, почесал грудь и пробормотал тихо в усы: «С праздником...»

И только теперь вспомнил, что город его показался из окна вроде как бы другим, непривычным, — а он не заметил за током этих не обыденных утренних мыслей.

Подниматься с постели и топтать снова к окну было лень, и староста, напрягши память, припомнил, что видел: белесое брацлавское небо, холодное равнодушное солнце над засыпающим в преддверии зимы миром, платиновая тусклая водная гладь за крепостною стеной, звон и праздничный шум подле храмов и всюду, их белые стены и белые улицы...

Вскочил и ринулся снова к окну, наступив, поспешая, пяткой на рубиновую крошку-осколок, но боли почти не почувствовал, — глянул в дырку на месте выпавшего бордового стеклышка и увидел свой город в снегу.

Картина 5. НОВАЯ ЖИЗНЬ АРСЕНКА ОСЬМАЧКИ, КИЕВ, 1593

Тонкая белая взвесь чвиркает меж заскорузлыми черными пальцами ног, выдавливаясь наверх с глухим тихим звуком — пумк, пумк... — лента шляха, вьющегося по зеленой земле до самой кромки небесного купола, где застыло недвижно жестяное солнце, кажется бесконечной и воистину пребывает такой, ибо где конец этим дорогам, пробитым людьми? — я знаю это так непреложно. На шлях, как на громадную метафизическую ось, нанизана жизнь, которая тоже бесконечна и нескончаема, — белые села с церквями, зажиточные хутора, козацкие городки и засеки... Знаю и то, что шлях сей, как и прочее все, истекает из Киева нашего, — и не только шлях этот, но и другие, лучами, как от красного иконного солнца, расходящиеся во все стороны белого света. Было бы у меня несколько жизней (и другая судьба) — я бы пошел по каждому шляху в те, ныне неведомые мне эвклидовы бесконечности, — и знаю, что, обогнув зеленый шар земли, переплыв моря с океаном, другие дороги привели бы меня снова в мой Киев, ибо ложью есть то, что все дороги земли ведут в Рим Италийский. То было когда-то, при цезарях древних когда-то, сейчас же не то. Именно — в Киев!..

Пыль, раззолотая в порох тончайший, все чвирк да чвирк между пальцами — долга, многотрудна дорога моя, — и тоска иногда забирает от непроницаемой степной тишины, от безлюдья, от одиночества моей в этом мире огромном, от себя самого — соринки в немигающем оке вселенной, бредущего в никуда из ниоткуда. Хотя здесь я, должно быть, не прав: за спиной у меня целая жизнь — мне ведь уже двадцать два года, и я в преклонных летах бурсак-пиворез, — и впереди у меня столько же лет, хотя один только Бог знает истинно о предстоящем мне счете годов.

Иногда кажется мне, что бурсаком я и родился в сей свет — с холщовой торбиной за раменами, набитой хлебными кусенями вперемежку с листьями разрозненными из книг польского и славянского писем, — так давно, так беспамятно влез я в эту коричневую свитку бурсачью... А вообще, — если бы кто спросил у меня, да на беду никто вот не спрашивает, — родом я с хутора Клямка Миргородского повету, Полтавского полку из козацкой семьи, роду Осьмачков, Арсенком зовусь. Последыш аз грешный есмь у моего батька, — егда поднялся от доливки земляной на десять вершков, сказал старый рубака мамуне моей:

«Хватит нам, матко, Сечь годувать сыновьями, — пятеро наших пьют дуливу на Хортице и Базавлуке, и нет нам допомоги и пользы от них, — хай сей, нареченный Арсенко, будет попом, — а нам с тобой честь и покой, ибо покоить панотец будет нас, спольная пятаю заповедь не как иншие те...»

Так и был я с малых годов обучен чтению и письму дьячком нашим клямкинским

Тарасием Копыстенским при церкви Троицкой, а затем отвезен на торговом возу, груженом сухой таранью из Ворсклы, до самого Киева-города. Здесь до сих и пристал.

По годам время мне уже высвятится во дьячки, альбо и в священство, — еднак шлях вечной вакации, шлях голода, бурсы длится и длится, и конца ему нет, — и я все еще нищий школяр, миркач-пиворез, живущий сегодня, не живший вчера, и кто знает, буду ли жив к завтраму, ежели не перемогу этот день. Посему приходит на ум иногда, что скитаться мне по отечеству моему вечно, аки Агасферу-жиду, и не будет мне старости-смерти дотоле, пока не застряну в некоем месте надолго, а как застряну, так высвячусь у митрополита в клиросного дьячка, стану паном бакаляром при школе для козацких детей и невдолге помру, ни до чего не доживши. Потому гонит кровь молодая сбитые черные ноги мои, сквозь пальцы кривые которых чвиркает нежная и сладостная пыль Руси-Украины, и охрипая глотка моя воет тужливые псалмы под селянскими хатами, а жадные загребушие лапы мои тянутся за подаяннем, — ибо добро росчинено в мире нашем земном вельми густо до сих, и потому не дадут азу грешному с голоду помереть. Вот и к чумакам, когда от Киева отошел, прибилсь ненадолго, — трясся на порожних возах, прямующих путь к Днепрову Лиману, где промысел соляной сопряжен со смертной опасностью от волохов и крымчаков, — годувал их побрехеньками-байками из древлей римской истории, альбо из Патерика Печерского пересказывал про первых насельников киевских круч, про давние подвиги их... Среди собора преподобных старцев печерских особливо чту и люблю Исаакия я, койи поклонился в глубоком затворе самому сатане в лике Христовом и за то пострадал головою. С рекомого Исаакия надолго запретились затворы печерскими начальствующими игуменами, как подвиг немислимый по опасности для не укрепленных душ подвизающихся. Исаакий же, отошедши душою от болезни, приял новый, невиданный до тех пор на христианской Руси подвиг юродства, принимая как благодать побои и оскорбления от братии и от самого игумена...

Ныне же, осмелюсь недозволенную провести параллель, все бурсаки серые наши суть дети духовные того Исаакия, — ибо юроды мы в этом мире, где среди сеч, крови и вседозволенности носим в себе пусто-место для духовных ростков, для науки, для слова, которые как бы и не нужны никому, — но кто знает все о Промысле о нас, грешных, о земле и о времени?

Юроды мы, питающиеся, как воздухом и водою, латиной и быльем древлих времен, находя сладость в том и упокоение душ, — соборище сирот и байстрюков, хор калик переходжих, ибо бурсу и житие наше бурсацкое полюбляя, знаю не ложно, что лучшие сыновья нашей отчины отсылаемы в стан Запорожский. О нас же посему умолчу.

Смирненно и нищенски приял сей крест тяжелой науки аз грешный, сидя в слезах после того, как почесали мне в классе начальном сидницу лозой. Ломило и жгло без милости задницу оную, аки в пекле мя на раскаленную сковороду посадили, — еднак высохли слезы мои сами собой, и боль притупилась, а в розуме начали высвечиваться некие непривычные в ритме слова, — и в них много было тоски по тому, что называемо прошлым, — хотя какое там прошлое было у малого меня? — но встало из слезной во мне пелены: батьков хутор по прозвищу Клямка, — белый, как снег на Покров Пресвятой Богородицы, серая от непогоды, очеретовая, разлохмаченная ветрами стриха, густые верболозы над тихим, снулым прудом, где трогают временами водную гладь безмолвно губами карась в достижении на прокорм жука-плавунца или мошки, — и хотелось возвратиться туда, под теплую материнскую руку, пахнущую хлебом и молоком, и стать еще меньше, дабы детство мое не кончалось и мир был бы по-прежнему мал, изведен и щедр... Но время и течение жизни необратимы, и путь длится только вперед, через череду дней, времен года и лет, — и ныне я уж не тот, коим был близ тех верболозов. Батько и ненька и ведать не ведают, как ловко их поскребыш Арсенко Осьмачка дудлит на дармовщинку горилку, как хватко умеет украсть за пазуху куру со двора расчувствовавшегося селянина, пока хор калик переходжих, то бишь наших орлов-бурсаков, волает на разные голоса жалостливого вирша нищенского утешного:

*Це я, що із чужої землі привандрував,
Сто миль я із чучманських країв маршрував...*

А потом, подсмажив куру несчастную ту в открытом поле на вогнище, мы со смеху помираем, припоминая нашу удачу и в лицах изображая последовавшее за тем на селянском дворе....

Ныне я уж не тот и потому уже несколько лет во время вакаций старательно обхожу миргородские пределы, где меня знают каждая собака и курка, а батьку отписываю вельми почтительные листы про тяжесть и мудренность латинской науки и про неспроможность в сем лете такожде, как и в минулом, явиться пред отцовские очи его.

Когда вошел в зрелый нищенский возраст, засосала меня легкая и нелегкая

бурсацкая воля, — иди на четыре ветра, куда душа заблажит, — широка и неисповедима наша земля православная. Свыкся я с розгами, с батогами, кнутом, плетью и козацким нагаем, и больше не застилала мне зора слезная та пелена, — и отогнано ныне поминанье иного: верболозов над тихим, снулым прудом, бурьянов, среди которых играл свои первые детские игрища, батька и матери, — и ежели помянуть, как лил я горькие слезы после первых, отведенных задницей розг, то ритм и рифма сопрягли в моей голове некую гирлянду из слов, — вот и все поминанье того. Да и не напрасно всыпали мне в те года, — и посеючас сыпят за пазуху, только держи штаны у колен, — но ныне я уж не тот, и шкура на сиднице моей стала, аки пята посполитого хлебобоба летней порой, — и егда кладут, вервием спутав, на лаву меня за провинность противу миропорядка вещей — то ухожу в некое мысленное отрешение, как индус из Вест-Индии, шо про то писал Васько де Гама — шо то за вопросительное имя такое у португала? — так от, отрешенно читаю молитву Иисусову про себя, как индус, а наружно волая что есть силы и мочи, — хотя мне и не больно совсем, — но миропорядок конче потребовывает велегласия онаго, — так и прехожу злые тортуры бакаляра-мучителя.

Так вот, читальниче щирый, как отлились мои детские слезки в нынешнем: ближе к Рождеству, пред сочельником, — ну, знает каждый это расчудесное время, когда шестая седмица поста апостола Филипа подходит к концу и весь народ наш русский аж из штанов последних выпрыгивает, но чтобы на разговение праздничное на столе было нечто такое мясное, — с запахом на всю мироколицу, с паром на всех колядующих и сыспающих (и на нас, господари, и на нас!..), — вот так век бы провел над той подливою-юшкою, где плавает в золотисто-рыжем жиру добрый кусень того скромного вещества, нареченного мясом! Ну, для нас, миркачей-пиворезов¹, это самое времечко жизни: села близ Киева аж чернеют от свиток бурсацких и капелюхов, — но там выбрано все, и опять-таки: и крали мы там, и пьяные дрались, и поповой свинье уши обрезали сдуру, и у девок за пазухами щупали то, шо там парой растет и довлеет, — а чего доброго, козаку-гнездюку на побывье под горячую руку что скажешь, — словом, все книжки и все набранные, напрошенные куски, а заодно и пару передних зубов потеряешь, да уже не вернешь.

Вот и решили мы в тот раз с братией, что дальше и глубже пойдем чуть ли не до самой недавно фундованной крепостицы Кременчуга, да чтоб другая ватага во главизне со дьяком-громовержцем Иудой не опередила нас на пути, да никакие другие миркачи-богомольцы без дьяка и без разумения в головах тоже нас не нагнали, — вот и началась сладкая музыка: хрум да хрум, как огурцы на зубах, белый снег под подшитыми валянками, хрум да хрум — быстро идем по пробитой в сугробах дороге, — весело-таки на душе — праздник как-никак один из двух главных, — но и тревожно: дадут ли сердобольцы и странноприимцы колбасы со стола? Но мысль и мечтание борзое сгягают неведомо как в запредельное: может, и чарку какую кто поднесет?..

И от этого, высказанного сотоварищам, мы припустились наперегонки, ибо каждому захотелось той чарки, а Брешковский Иванко, мой добрый товарищ и друг, аж споткнулся от голого льда альбо с голода или от неспособности вместить в голове эту химерную сладкую чарку, в которую мы все мгновенно уверовали, и нырнул головою в сугроб, — ах, пресветлое Рождество наше!..

И вот, замерзшие и усталые, мы добрались до занесенного глухими снегам в человеческий рост хутора, отбились от собак, выстроились в ряд перед окнами хаты и завели первое, пришедшее в разум, — а в разуме, понятное дело, у всех бурсаков наших ныне одно, — и потому не сговариваясь прежде, зачали вирша утешного:

*Хочу вас, панове, чогось іспитати:
Що тепер за празник, чи ви можете знати?
Чи се той празник, що Христос родився,
Од чистої Діви Марії воплотився?
Кажеться він, бо почали їсти ковбаси і сало,
Чого у нас у школі зроду не бувало.
Мені сеї ночі ві сні приверзлося,
Що з небес у школу сало приплелось,
Ковбаси около як в'юни вертяться, —
Тії-то потрави і для нас годяться!
Коли мене щастя огарило,
Що стоїть край сала сивухи барило!
Впавши я в сумління, став далі соваться —
Не знаю, до чого наперед хвататься,*

¹ Миркач — наименование колядующего школяра, производное от приветствия «мир дому сему!», приносимому в начале колядования и попрошайничества.

*Чи до сала, чи до барила!
Уже мене до того мати вродила:
До ковбас — нетимаш, до сала — нескваллив,
Вкус хмільної сивухи мені неприємлив.
Но нужда і закон міняє! Як доведеться —
На ostrі зуби і ковбаса треться,
І сало не вдавить, в горлі не застряне...*

Посреди выпеваемого утешного вирша вышел господарь из хаты, обутий в прочные белые валянки, — ничего вроде на вид — сажень, как молвится в сказках, косяя в раменах, усы и шапчина козацкие, синие шаровары, — ну, братцы, снова на гнездюка мы нарвались, — как гною тех гнездюков на славной нашей Руси-Украине... — теперь и танцевать нас заставит, и по шее надает, если не угодим ему чем, — а может, поборем его? — нас-то шестеро из апостолов бурсы, — не-е, братие, у него в хате сабля отакенная и рушница, како стрелит по жопам, — лучше уж угодим и спляшем ему гопака, зато с пустыми руками не отпустит, ежели угодим... — так перемигивались мы друг с другом, все понимая, а синие губы знали работу свою — молотили утешного:

*Горілки, хоч скільки, мій нежить не приймає,
Але, кажу, нужда і закон міняє.
Байдуже! Гірко і без неї,
Внесіте лиш бо трохи сієї!
З великої радості од сна возбудився,
Пильненько по школі всюди дивився,
Аж нема ковбас, ні кусочка сала!
О бідна головонько! Надежда пропала!
Заплакав я гірко і вдарив у груди,
Прийшло мні на пам'ять піти межі люди.
Ви, чеснії люди, мене порятуйте,
Ковбасу і сало мені наготуйте —
Од щедрої руки, що пригодилося;
Хоть те порося, що в сінях зчепилося;
Коли ж на сало неспроможність ваша,
Так дайте у кошик хоть кусок м'яса:
Хоть воно примерзлось, та можна розграти,
Бо галєбі, як не дасте, то не пігу з хати,
А ви щоб здорові того году дождали,
По чотири кабани на сало годували.
А за сію вість
Дайте ковбасок шість!
Тєє вам повідаю
І з празником поздоровляю...*

«Ну-ну...» — миролюбиво промырлил козарлюга.

Еще бы — вернулся с войсковых свар целый и невредимый, надел на высокую шею господини своей новое наместо янтарное, а може, и с венецийских цехином, попарился с нею славно в баньке, разговешись до времени сладким розовым телом подруги, умял после пару кнышей, выпил корчагу дуливки, — а тут и химерный театр бурсаков заглянул в глухой угол степной, — самое дело послушать утешное для души!..

«А ну, заспивайте, хлопцы, еще!»

«Ты вы, дядьку, краще борща нам с салом дайте попить!» — сказал я ему — и увидел такое, что ой где ты, матинко моя, шо ты меня народила!.. На какую-то минуту уподобился аз грешный и недостойный незнаемо как прозорлицу-подвижнику древних времен, — зор мой словно сложился из горячего, все прожигающего света — и проник сквозь беленую стену той хаты, проник, как сквозь мотлох ненужный и хлам, сбрую и бочки в чулане, — и узрел наконец, как в месте темном, месте прохладном застылым жирным кольцом, висит она, царица наша преблагословенная и воспетая не однажды со вдохновением, — начиненная огненным чесноком, матово просвечивающая кусочками душистого желтого сала, — матово, как дукат золотой, — отливающая, — она, она...

«Та то жирно будет, хлопцы, для вас! — засмеялся козак. — Ище пост не закончился, а вам уже борща подавай, — та ще з салом!..»

«Дядьку, пожалейте убогих! — заканючили мы слаженным хором. — Мы с самой Пасхи даже хлеба не едывали — одни токмо коренья, аки святые печерские!..»

«Знаю я вас, шибенников, — смеялся козак. — А горилку пить — будете?..»

«Та будемо, дядьку! Давайте!» — вот так дружно и слажено у нас получилось.

Тут козачина полез десницей в глубокий карман шароваров, пошукал там что-то в

мотне и извлек на свет Божий — дулю:

«Осьо вам, хлопцы!»

И смеется, злодей.

Хоть и коричневые мы по одежке, но различны по обычаю внутреннему — посему один зареготал вместе с козарлюгой, у других слезы выбились на глазах, а третьи начали зраком искать дубину для драки. Мне же хоть и было обидно, но и смешно тоже было. Хруп да хруп сахарный снег под подшитыми валянками моими — подмелся я к скалящемуся козаку и цап его за большой, коричневый от тютюна палец, торчащий из дули. Солono кровь его окрасила небо пасти моей, — вот и разговелся до срока, — придется на исповеди каяться... — химерно пронеслось в моей голове, — но сказал:

«Ты бач, а я гадав, шо то чарка такая!»

Козачина тем временем руку отдернул, выдирая вонючий свой палец из пасти моей, и давай разворачиваться, чтобы сокрушить шуйей своей голодные зубы мои. Разворачивался, разворачивался, пока вечер не опустился на землю, — мы аж задрогли стоять в ожидании драчки и мордобоя, а потом смачно сплюнул под ноги, подмигнув оком лукавым и опять рассмеялся:

«Молодец, бурсацкая вошь! Осьо дам вам за отвагу кныша!»

«Та до кныша тогда по две чарки на носопыру потребується!» — то наш Иванко Брешковский гаразд был брехать и торговаться, чуя некую слабину.

«От пиворезы! Мать вашу за потылицу та об столб! — жартовливо рассердился козак. — Ну, мерщій заходьте до хати, пока сама пани с гостей не вернулась, — врежет заради свята, бо коли не поспеем — врежет и она нам поленом по сракам! Та шоб, — поднял в предостережении кулачище, — не красть!..»

«Та вы шо, дядьку! — мы уже наперебой полезли в хату, оттирая друг друга и отбиваясь от подпирающих в спину и в бока, — хоть нас и шестеро всего было, но ощущение такое обманчивое сложилось, что мы — татарский чамбул, берущий навалом малую крепостицу. — Мы — честные бурсаки!»

«Никада такого, дядьку, не бывало, — хоч у дьяка нашего спросите про нас!»

«Мы только по-латине та по письму божественному, — а як то людие крадуть — даже не ведаем!»

Меж тем расселись в красном углу хаты, под образами веселыми, украшенными квитчастыми рушниками, — и облизываемся.

Господарь на столешницу хлопнул румяна кныша и глазом моргнуть не успел, как от кныша того и памяти не осталось — был нещадно разодран загребущими нашими пальцами в сущее «зеро».

«Та шо такое?.. Ну, бурсаки, — только и сказал козачина, — какая же силища и жажда до жизни в вас пропадает!..»

«Так-так, пан господарь, — воистину жажда...»

«Бо положены, як Исаак, на алтарь справжней науки», — кто-то там сквозь кусок былого кныша утробный голос подал.

«Теперь страшно на стол сивушный жбан выставять — еще захлебнется кто ненароком!..» — сказал козарлюга.

«Та не, дядьку, не страшитесь того — ще не бывало такого в римской истории!..» — загадели все разом.

«Та скорей же, ей-Богу, от кныша того задыхаюся!..»

«Скорей-поскорей, бо дьяк уже бо под дверью!..»

Гепнула днищем о стол четверть прозорой дулики, хлопнул кныш во-других рядом с четвертью.

«Хай у веках живе господарь превелебный!..»

«Слава! Слава! И прослава! Многая и благая лета дому сему!»

А как по второй чарке захоронили мы в кладбище безвозвратном внутренностей своих и хмель пальнул по мозгам, то на песню всех поклонило, — и в разные стороны, кто на что горазд был, потянули школяры-пиворезы наши, словно сговорившись, снова про колбасу и наедки святковые:

*Добру новину, брате, звістуєш,
 Же зуби на кныші готуєш.
 Віщиряш зуби на колбасу,
 Бо єсь не мал дотля часу.
 Мліє ти серце на солонину,
 Але завше кебись мал ки похрептину.*

Козак слушал и улыбался. А когда закончили выть, сказал:

«Что й то, панове спудеи, все про одно вы толчете — солонина та колбаса! Слухать про таку трихомудрию — все одно что пузо растить!.. Врезали б такого, шоб стены сии затанцевали — ото и я понимаю!..»

«Та як же, мосце пане, про нее, святую, не петь, — сказала я, — коли оно, бачу очами ума и желудка, висит тая неудобопомянутая колбаса тугим кольцом в чулане на стенке, абы мышва ее до свята не спортила, аки люципер-сатана...»

Козак удивленно и пристрастно вельми зрит прямо мне в очи:

«Откуда ты, вражий сын, про колбасу ту прознал?!..»

«Рекл же: зрю очима ума. Я, пан козак, и не про таковое знаю, — бо маю носа, вуха та очи, и вельми преуспел в познании того, что называется божественными и науковыми законами, главный с которых: просите — и дано будет вам. И дабы вживе возобладать неудобопомянутой не к сроку оной колбасой и не умереть от кнышевой сухости и горилчаной прозорости, заспиваймо, братие школяры, тую виршу, шо я в слезах сочинил, як пан-бакаляр научает нас в бурсе, — и може, пан козак, вой сичевой, и дарует за то нам оную колбасу, хоч шматок отакенький, дабы растворить сладость мясную-чесночную на отом, шо в роте растет...»

Братии нашенской того и надо было, чтобы только попеть, — и заволали пиворезы на разные голоса тую виршу, которая сложилась в ритме и рифме во мне молодом, когда впервые вкусил я науки розги школярской:

*Казав мені бакаляр промовити: «Аз, аз!»
А як же я не вимовив, він по пиці: раз-раз!
Крикнув же він удруге: «А ну кажи: «Буки!»
Ой ще ж бо я не вимовив — попав в його руки.
Крикнув галі в третій раз, щоб вимовив — віде
А вже його жвава рука по чуприні їде.
Ой, як сказав учетверте: вимовляй — живіте!
Нуте ж, хлопці, зараз його на лаву кладіте.
І просився, і молився, а ще більше злякався,
Бо таку задали хльосту, що світа зцурався...*

Иванко Брешковский не вытерпел нашей школярской, выдряпался из-за гостиного стола и пошел навприсядки по хате кружить, аж стены задрожали. Козарлюга тоже себе пристукивал каблучиной об пол да прихлопывал пятерней по ляжкам и подгуковал: «Гей! гей!» Когда с виршем управились, сказал удовлетворенно:

«Ну ж бо, хлопцы, по такой заспиванке треба ище по склянце влупить-замандрычить!»

Так пели и пили мы чуть не до ночи самой, — глотки, хоть и луженые и промытые горилкой, охрипли, ноги устали вытворять гопака, а ладони ляскать друг о друга в горячих местах, — все, что знали, пропели, в четверти же не осталось козаку ни капли единой на головную боль завтрашнего утра и дня, — так бы и праздновали мы до утра, егда Эос окрасит багряно то, шо он должен окрасить, — восток? — да повернулось из сочельных гостей от кумы господиня-козачиха, обнаружила розгардияш велегласный, взялась за ухват, один раз оным взмахнула, и очутились мы на лютном морозе. Хоть и пьяные были, но успели похватать со стола то, что лежало не съеденным и недогрызенным, и позапихивать в торбы, а то остались бы совсем без прибытку, — ну а допивать уже и нечего было.

Ночью притопали в некое селище, — по дороге вполне протрезвились и не потеряли в степи никого — друг друга за полы держали, так и шли, как гусаки, в ночной тьме. Как раз в церковь к середине всенощной службы угодили, где собрался весь стар и млад большого села, величая славное Рождество Христово. Хоть и охрипли мы в прежних гостях на хуторе, хоть и задрогли в открытом зимнем просторе, но на хоры-таки выдряпались и певчим вполне уместно петь подмогли:

«Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланялися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе...»

За то одержал поутру каждый из нас по три польских пенязя от церковного титаря — по пенязю в честь кожного из Святых Лиц Троицы, — и по пампушке с титарева рождественского стола. Остаток ночи вповалку перележали на чьем-то гумне, спочивая от трудов своих праведных, а поутру двинулись по селу поздравлять посполитых с праздником и собирать от милости суших zde и повсюду куски и медные литовские полугроши. Праздничная песнь прямо-таки исходила из глубины наших душ:

*Слава Богу, того ми тепера дождались,
Що за шість неділь з ковбасою вп'ять повидались.
Я ж казав: «Шутка, що позавчора свині галасали!»
Аж то люди ік святкам все ковбаси гбали.
Лш почувли, що Різдо вже не за горами —
Не схотіли більш сидіти над огірками.
Зараз стали шататись між скоромним крамом:*

*То з гусьми, то з курми, то з битим товаром.
 А інші по хуторах начали махати,
 Щоб доброї і багато к празнику придбати.
 Коли б же і ваша мость справді ненароком,
 Взглянувшись на мене щедрим тепер оком,
 Хоть шелягом на первий час мене поманили,
 А після б і ковбасу в пазуху втерєбили,
 Да й тим по губах, що пред ковбасою п'ють люди,
 А я б сказав: «Вам рожденний наградою буде!»
 Будьте ж ви здорові, Рождества дїждавши,
 А я пігу із хати, своє в карман взявши.*

И весело было и нам, и посполитым, которые уже разговелись после Пилиповки, и щедро оделяли нас люди земными дарами. Так бы и жить!.. Но нет, — враг, ненавидяй добра, решил нам светлый праздник испоганить-испортить — дойдя до середины села, мы увидели морды знакомые, киевские, — таки наздогнали нас бурсаки иные во главизне со дьяком Иудою и куски наши, тамо не собранные еще, пособирали и колядки наши пропели, ибо шли с другого конца. А ведь я им, вражьим детям, в начале Пилиповки в письмовники давал срисовывать наши величальные и утешные вирши!.. Отака!.. И ну шмарать тогда друг друга по мордасам!..

Мы-то успели силы свои у козарюги того на хуторе подкрепить, а они, худые и синие, куда и зачем по селу нашему лезут?!.. Хорошо дьяка Иуды не было с ними — у кого-то из кумовой своих здешних за праздничным столом заседал, споведая, какой он большой голова над бурсаками света всего и захороняя в утробе несстой своей чарку в-четвертых чи в-пятых. И пока не было дьяковых острых очей, наблюдающих за пристойностью нашей бурсацкой и соблюдением божественной заповеди «не убий», то и развернулись мы чуть ли не по-козацки, — разве что без домах да пищалей. Без хвастовства излишнего молвить: не одну носопыру разбили мы вдребезги, дабы не нюхали нашего дыма от смаженого и вареного мясива и дабы в месте ином, не знаемом во вселенной, и подальше от нас распевали из письмовника вирши наши утешные! Да что и сказать: и письмовники у них, в снег поверженных, из торбин их повывертали да изорвали, — нет и не будет пощады врагу!

Но да дерись — не дерись, а в месте сем все одно дела не будет уже, посполитые привеченные уже, милостыней бурсаков одарили, дьяка до положения риз упоили, — а вы кто, хлопцы, такие?!.. Ах, вам еще кусеней и кеңдюхов, — а ну-мо, матко, спускай волкодава со шворки — хай и он разгове-е-ется на бурсацких штанях!.. — дело известное.

Потыркались-потыркались мы по хатам, — стусанов только на спины набрали, — и петь пробовали, — да посполитые уши все затыкают: слышали, говорят, уже это все ваше искусство, надоело нам, — и танцевать пробовали перед дворами, да не смотрит никто, — сами говорят, сейчас затанцуем, вот пропустим еще по единой и врежем стопака на всю вселенную, — позаседали наши панове селяне за богатыми своими столами, режут смаженину, пихают за щеки — кто сколько запхнет, — мыслимо ли оторвать их от такого занятия?..

Иванко Брешковский предложил возвратиться на поле сражения и утвердить перемену, то бишь побитых добить, аще не складывается по-нашему, — ну, да что там уж добивать было... Поощадили — оказали божественное милосердие, како апостол Иаков ще заповедывал в послании: «Суд без милости не оказавшему милости». Так и отправились мы во своя си, то бишь в намозолившую очи своей белизной сияющую снегами великую степь. И как не волали мы, выйдя прочь из села, как не тешили себя разговорами про сало и девок, большая и безмолвная тишина окружила нашу ватагу. Вскоре даже Брешковский Иванко замолк с побрехеньками, — и так шли в тиши, прислушиваясь токмо к скрипу снега под валянками. Я подумал тогда, — впервые, так кажется, — что молодость наша минет, и дороги наши упрутся в некий незнаемый тупик — и мы станем другими. И что это — солнечный день священного праздника, и тишина эта особая, в которых как-то не пристало водить балачки про сало и девок, суть единичны, единственны, и что другое Рождество, через круг годовой, не будет уже таковым, ибо и мы станем не таковыми, как ныне. И в душе у меня зазвенела некая потаенная и тихая печаль, — может быть, так я начал взрослеть и мужать, оставляя бурсацкую шкуру? Но ощущения эти были слабы, неотчетливы, зыбки, аки сон, и накатывали как бы волнами. И одно было сильно и не смываемо — удивление от величия Божьего мира, среди которого лезли мы, аки блохи, по натоптанному и наезженному скользкому шляху, — я словно впервые увидел все это, — а до того — где я был и чем я был занят? Слезались глаза — то ли от этой невыносимо-ослепительной белизны снегов, то ли от постигаемого здесь и сейчас. И хотелось пребыть одному, такому, как

есть, вне ватаги, вне бурсы, вне обстоятельств, определяющих твою будущину, — пребывать в Рождестве, прикоснуться разумом и душой к сокровенной сердцевине этого расчудесного чуда — земного воплощения в мире Бога-Слова. И как-то понималось все непривычно, что есть я не тот, кто движим в ватаге до Киева, и не тот, кто волает утешное ради куска хлеба насущного, и не тот, кто кровянит морду ближнего своего из-за подачного посполитого кендюха, — но есть я другой, потаенный, коего сам я не знаю... Может быть, в вирше слагаемом отражается легкая тень от меня?.. — подумалось невзначай, — и тут я чуть не захохотал в голос, — значит, я и есть колбаса, ибо только колбасная тень отражается в рифмованном праздничном слове... Ну как тут только знаешь себя, како промолвил некий язычник-философ?.. Впрочем, думы эти были скорее думами сытого брюха, до времени извержения геть набитого яйцами, кендюхами, мясивом кое-каким, — кроме того, вся эта благая смесь окроплена была неким количеством светлой горилки и темного пива, — что там творилось во мне — и не ведаю, но некая реакция алхимическая, если вообразить себе это овеществленно. А овеществленное — стало уже понимаемо. Ибо аз есмь от корня народа русского, и если ныне по одежде бурсак, то по духу я тот же русин, как те, что днюют в Хортицком стане, — а народ наш отвлеченно и философически размышлять и рассуживать не привык. Мы понимаем токмо про вещество. Оце — сало, ото — хлеб... — так примерно. А то, что в вещество некое не укладывается, мы принимаем по батьковскому завету, по старожитности, — это касается в первую голову вероисповедания нашего греческого обряда, — и тут нас, как и в вещественном, тоже не проведешь, ибо ежели мы Церковь отцовскую променяем на некое вещество, — прости меня, Господи, за допущение, — то достойны ли будем образа человеческого?.. Ибо не искупается душа салом мира всего и всеми кендюхами, которые только ни есть, — но искупается церковно, по завету, по исполнению заповедей... Думы эти, нашедшие на меня на зимней дороге к златогорящему Киеву нашему, были отнюдь не случайны, ибо уже долгое время бродила опара многообразных слухов, порою даже невероятных.

Мы в бурсе зубрили латину, разговаривали по-польски так же вольно, как и на родном наречии русском, — читали, кроме славных и великих кашпадокийских отцов, сочинения Блаженного Августина и святого Касьяна, галльского отца пятого века, но разделение века XI было не только церковной трагедией, но мировой, — ибо с тех времен люди узнали о делении неделимого мира на Восток и на Запад. С тех пор прошло уже почти шестьсот лет, и раскол, расщелина в человечестве отнюдь не уменьшились, но углубились.

Преодолимо ли свершившееся по промыслу Сил, неподвластных даже для разумения?..

Известно было нам, бурсакам, из учения книжного, и то, что в 1442 году на Флорентийском соборе, обозначенном устроителями как «вселенский», была принята попытка без должного на то основания объединить Западную и Восточную Церкви под владычеством папы, — сторонники нынешней ереси схожей, под названием «унии», на всех углах распинались об этом, как бы законном соборе, — и ватиканские владыки посредством щедрых даров и посул уговорили митрополита киевского и московитского Сидора присягнуть той позорной «унии». Московиты за то чуть не лишили перекинчика жизни, — и спасло его только потаенное бегство под длань папы, коему он присягнул. Лжемитрополит этот Сидор кончил постыдные свои дни в сане вагиканского «кардинала», а уния Флорентийская умерла во чреве того собора, не успев и явиться на свет Божий... Хотя — если размыслить тут пристальнее — все владыки православного мира числом более тридцати, что там собрались, согласились на унию ту. А кто же оные, лучшие сыновья православных народов? Собор был созван папой Евгением IV и утверждён византийским императором Иоанном VIII Палеологом. На Соборе присутствовал также Константинопольский патриарх Иосиф II, полномочные представители Патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, митрополиты Валашко-Молдавский и Киевский и всея Руси Исидор, епископы Эфеса, Трапезунда, Ираклии, Кизика, Сард, Никомидии, Nikeи, Тырнова, Монемвасии, Лакедемона, Амасии, Митилины, Ставрополя, Молдовлахии, Родоса, Маленика, Драмы, Ганка, Драстры, Анхиала и богословы, а всего около 700 человек. И все эти лучшие и ученые люди — и все они — приняли унию эту. Кроме Марка Эфесского, исповедника. Нет-нет, уродец этот все же родился, да недолго прожил. Все эти «лучшие люди» — подошли в позоре и в отречении, а после долгой борьбы с церковным народом 12 декабря 1452 года уния все-таки была провозглашена в Святой Софии митрополитом Сидором Киевским и Московским нашим в присутствии императора, епископата и мирян, — и через полгода кара настала от турок Константинополь и Византия прекратила полуторатысячное существование. Разве не читаются тут суды Божии?..

Но нет, никто не внял этим урокам. И латиняне после неудачи с Флорентийским

собором только озлобились и источили зубы и когти острее. Дошла и до Киева весть из Московии, что небезызвестный в наших краях папский легат Антоний Поссевин четырнадцать лет назад, во время войны короля Стефана Батория с московитами, чиркованно-притворно ездил к государю Ивану IV Грозному якобы для замирения того с королем Стефаном, на деле же дабы склонить царя русского все к тому же, то бишь принять западный еретический толк и перевести весь московитский народ в духовное подчинение римскому первосвященнику. Среди прочих даров, привезенных Поссевиным Ивану-царю от тогдашнего папы Григория XIII, была и книга с описанием Флорентийского собора в переплете богатом, дабы придать своей духовной миссии основательность историческую и даже «соборную». Он же умолчал о позорном провале собора — иезуиты умеют молчать о том, что играет против них. Но от всех ухищрений Поссевина не было Риму никакого прибитка с Московии, — кроме разве что нескольких черных соболей, подаренных Иваном Васильевичем папе Григорию в знак уважительный. О толковище же относительно перемены православных догматов Поссевин описал в записках своих следующим манером, — и о том читано было мной в Киеве в изданный по-латыни записках иезуита:

«Государь снова убеждал его не касаться Веры, примолвив: «Антоний! мне уже 51 год от рождения и недолго жить в свете: воспитанный в правилах нашей Христианской Церкви, издавна несогласной с Латинскою, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День Суда Небесного уже близок: он явит, чья Вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее (...) Ты хвалишься Православием (сказал он), а стрижешь бороду; ваш Папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие: какое высокомерие для смиренного Пастыря Христианского! какое уничижение святыни!..» — «Нет уничижения, — возразил Антоний, — достойное воздастся достойному. Папа есть глава Христиан, учитель всех Монархов Православных, сопредстольник Апостола Петра, Христова сопредстольника. Мы величаем и тебя, Государь, как наследника Мономахова; а Св. Отец...» Иоанн, перервав его речь, сказал: «У Христиан один Отец на Небесах! Нас, земных Властителей, величать должно по мирскому уставу; ученики же Апостольские да смиренномудрствуют! Нам чин Царская, а Папам и Патриархам Святительская. Мы уважаем Митрополита нашего и требуем его благословения; но он ходит по земле и не возносится выше Царей гордостию. Были Папы действительно учениками Апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, Григорий; но кто именуется Христовым сопредстольником, велит носить себя на седице как бы на облаке, как бы Ангелам; кто живет не по Христову учению, тот Папа есть волк, а не пастырь»...

Мы много смеялись и веселились по этой причине: ловко же врезал Иван-царь лукавому Поссевину. Так что не только вольные сыны запорожские горой стояли за старожитность отеческую, не только мы, грешные миркачи-пиворезы, прославляли в орациях праздничных веру и обычаи наши церковные древлего чина апостольского, но и весь люд московитский неисчисляемый во главе с самим Грозным-царем крепко держались того же.

И звенело ныне над землями православными светлое Рождество Христово, — но за праздничными столами, за песнопениями, молебнами и гостями ощущалась некая тревога в благорастворенных воздухах отечества нашего, — и где-то там, ближе к южному морю, уже приутоплялись к новой войне войсковые полки и запорожские курени. За кусками и сбором милостыни от сущих здесь, каждый из нас заметил, что почти не было в селе гнездюков, а если и были, то войсковые их кони стояли хоть и расседанными, но вполне приутовленными к дальней дороге. Походные торбы висели в сенях, угнетенные всей козацкой потребой в пути.

В таких не вельми веселых раздумьях и воспоминаниях читанного и усвоенного под дьяковой розгой в богоспасаемой нашенской бурсе, добрались мы до славного Киева и допраздновали рождественский день в шинке на Подоле, — таким манером все собранные щеляги и литовские полутроши вкупе с польскими пенязями переправились неведомо как и зачем в орендарский карман корчмаря Схари. Хорошо, что закусывать покупать у него не пришлось, — куски из торб наших нищенских пошли под святковые чарки. Но уж сколь я ни вливал в горлянку свою, хмель не брал мою голову, будто пил я не горилку, а чистую воду, — и только тревога во мне ширилась и росла.

Когда узкие улочки нашего древлего стольного Киева засинели рассеянным светом предвечера, оставил я нашу компанию догуливать в том шинке, а сам вышел без цели на заснеженный берег Днепра. Река стояла недвижно — торчал бурелом громадных, осенним течением перевернутых льдин, — белая и как бы нездешняя ледовая ширь веяла пусткой и каким-то адовым ужасом, — левый берег и узреть было нельзя по слабости зрения человеческого и по неземному величию покоренной стужей реки. Шел, не думая ни о чем, вдоль Днепра, перебираясь через ледовые завалы, глядя

на огромное багровое солнце, садящееся в заснеженные просторы за Киевом, — червонным золотом светилась в угасающих лучах грушевидные купола Успенского собора в Лавре и крест Десятинной церкви на круче, — говаривали старожитные кияне, что прежнюю Десятинную, до погрома татарского сущую, на сем месте свягом построил сам князь Владимир, креститель Руси, и была она первой церковью на безгласной нашей земле тех времен, — ныне же князь Острожский в молодые годы свой возобновил ее тщанием и усердием собственным...

Надо бы в бурсу идти, — подумалось мне как бы снова со стороны, словно кто-то, невидимо реюший близ идущего тела моего, неслышно нашептывал в ухо, сбивая с пути, — задрог я, да и не до ночи же таскаться по этим ледовым торосам... Давай уже, Арсенко Осьмачка, Миргородского повіту, полка Полтавского житель-насельник, возвращайся... Тут я остановился и оградил себя крестным знаменем, зная искушение мелких бесов, завлекавших некрепкую душу в сети погибели, — их тут много летало, как мух летом, — поймал взглядом затухающий в густо-синем небе предвечера крест Десятинной и прочел кратко молитву Кресту. Смущение внутреннее утихло, и я полез повыше на берег, оскальзываясь и оступая время от времени.

Думал я о дне минувшем — долгожданном и сытом от пуза дне сем, дне празднества, дне из непотребной жизни моей. Чего хорошего сотворил?.. — ничего, кроме как в сельском храме певчим петъ подмогли с братиею, — вот и весь сказ мой... А еще кровянил ближним своим морды за насущный кусок. Рвал в ярости в клочья письмовники с виршами нищенскими. Орендарское вонючее зелье хлебал внутрь. Песни непотребные голосил про рекомые колбасы и кныши — до внезапной поры тишины, объяввшей нас на зимней дороге в Киев обратно. И вот теперь, смотря на зимнюю реку, где, кажется, даже рыбы вмерзли в трехаршинную толщину льда и все и вся застыло до века в цепкой несокрушимой недвижности, я ощутил холодное и как бы предвечное одиночество свое здесь, краткость, конечность жизни как собственной, так и всего пребывающего под широкими этими небесами.

Каменщик, кратко на восток помолившись, закладывает храм во славу Творца. Иконописец, с молитвой Иисусовой в сердце, порой прозревает зрением умным, способным открыть смиренно внимающему отблеск славы небесной, сил бесплотных и всего того, о чем говорили святые отцы, — и далее запечатлевает небесную явь тенью земной, сиречь даром и мерой художества своего. Каков же дар мой? Могу пропеть в эту ледовую пустынь псалму какую из книги Давидовой прямо или перелицованную такую же псалму на лад наш малороссийский, школярский, — криво, с усмешкой и жартом, — звук древних слов русских в божественном и осмысленном соединении надорвет полотно сей непроницаемой вечерней тиши над стоящим недвижно Днестром, — и глас мой погаснет, загухнет в пространстве, когда закончится пением псалма, — и все будет снова по-прежнему, — будто и не было меня на сем речном берегу. И в мире — тоже будто бы не было...

Так я умру.

И все будет, как было.

Не стронется здесь ничего, не изменится. Никто из сущих не заметит присутствия или исчезновения моего. И в этом — вопреки всему — есть глубокий смысл.

Или бессмыслица?..

Щеки мои онемели то ли от стужи, то ли от страха какого-то непонятного, — и был я как бы одной из снежинок на вздыбленных льдинах днестровых, — и какой во мне толк, и зачем я родился на хуторе Клямка, на землях Полтавского полка, ежели грядет когда-то весна, и снега почернеют, взрыхлятся, со скрежетом, и с пушечным громом сдвинутся льдины, подмываемые упругим стрежнем тока воды, — и поплывут, крошась друг о друга закраинами, в талой студеной воде, налетая на черные гряды порогов, вздымаясь на оных стоймя и рушась, с треском ломаясь, в черные смертные омуты; множество их будет вынесено мощным течением на песчаные отмели, на пологие днестровские острова, чтобы совсем скоро исчезнуть под светом весеннего солнца... Выйдет Днепр наш из берегов, заполнит вешней водой пойму свою, затопит луга заливные, леса, — и до островов за порогами, где угнездилась козацкая Сечь, докатится только большая и яростная вода. Так где там след мой, снежинкин, в этом месиве грязного льда и напоре воды, что сметают с пути своего переправы, мосты, вozy, срезают гигантским ножом пойменные деревья? В чем был ее (и мой) смысл и значение, зачем, для чего слетела она из высоких небес, сотканная и сложенная столь совершенно, и пала в неисчислимом числе на лед сей зимы 1593 года, сковавшей великую реку нашей страны?

Чтобы отдать малую свою белизну — большой белизне, чтобы слиться в снежном покрове в единое целое и погибнуть вместе с тем целым... Слиться, чтобы погибнуть... Разве что... Разве что... Или все-таки — преобразиться, стать иным веществом? Разве не так?..

В размышлениях этих все большая и большая тоска забирала душу мою — и все существо противилось столь незначительному смыслу воплощения в теле моем бессмертной души. Но как же быть по-другому, ежели ты только снежинка и срок тебе — до весны? А ведь зрится отсюда, с высокого берега и жизни начала, что быть сему миру, и мне как части его, неизменным и вечным, и что жить мне беспмятно долго, — и тусклым золотом пробивать набредающую с левобережных степей ежевечернюю тьму кресту на куполе Десятинной, и длиться жизни, длиться в бесконечную будущину... Так хочется жить и не оставлять этих прекрасных и величественных пространств, искрящихся мириадами граней в тихом и прикровенном свете вселенной, где так совершенно и самодостаточно зрится и ощущается мироздание Божие. Я — часть этого мира, и как части присуще от целого все, так и обо мне уже промысленно свыше. Но как тягостно с этим смириться!..

Не смириться же невозможно...

Ибо бессмертия несмирением не обрящешь, — а противостав божественному устройению, душу выжжешь дотла. И тут ничего не поделаешь, — ничего. Разве обернувшиеся ныне на унию — не умрут вовсе? Разве бессмертны и нетленны прибывки их от Варшавы и Рима веками? — если даже дети их не протратят тех презренных сребреников, которые стоили им веры отеческой, старожитной, — ибо век еще не закончится, как серебро это отолеется им сторицей погибелью, — и это будет расправой вовсе не человеческой, — ибо и здесь супротивный и даже вооруженный домашой бессилем, потому что грядет на них суд не людской, но небесный...

Снег — хруп да хруп — под подошвами валянков, и шел я, так размышляя, вдоль прадавней нашей реки. Откуда-то с другого берега, погруженного уже в чернильную темень, сдвинулись толщи промерзших воздушных, и некий ветрец пробрал меня сквозь коричневую мою свитку до самых костей, — я дернулся, запахивая полу плотнее, а ворот — под самое горло, выгоняя из-под одежды ледяной пузырь ветреца, попрыгал на месте, похлопывая задубевшими и красными, как у рака, клешнями по бокам, и припустился в гору, — я и не заметил за высокими думами, что добился уже до Печерска, селища лаврского, — и теперь лез в гору прямо под белыми стенами монастыря, оскальзываясь в снегу и едва удерживаясь от того, чтобы не скатиться кубарем обратно к реке.

В голове дозванивало тихо, словно прозрачными стеклышками-ледышками, остатнее из одиночества моего над Днепром: и думал я почему-то о тех, с коих начался этот отчаянный мысленный ток, — о каменщике, об иконописце.

Сердце каменщика остается в фундаменте храма, который он поставил на красном месте земли, — и сам человек исчезает в творении собственных рук. Но остается ли храм в вечности? — нет. Остается необоримая адовыми вратами Церковь Христова, а храмы, каменные и деревянные, разрушаются временем, огнем и людьми супротивными. Ибо где ныне славный храм Соломонов? Где множество наших церквей, украшавших землю сию, как звезды украшают небесную твердь? Три века назад навала татарская стерла с пресветлого лика Южной Руси все живое, — не устояли пред раскосыми супостатами ни города наши, ни храмы, фундаванные, казалось, навеки, ни фортеции неприступные, — только пепел и кровь остались в следах татарских бахматых коней. Полоны измученных посполитых табунами гнали на Кафу, — их было так много, что меняла-еврей, сидевший близ кафских ворот, спрашивал у татар: остались ли еще в северных землях люди живые или там уже пусто навеки? — над дикой степью отчизны моего лет черной тучей стояла пыль, поднятая босыми ногами уводимых в рабство и в инобытие. В скитаниях нынешних по кругу земному за подаянием я не однажды видел в открытой степи выбеленные солнцем и непогодой остовы ребер тех наших предков, кому выпало время жизни отражать эту страшную беду, — этими мертвыми телами утучнялась наша земля от самого Киева до невольничьих рынков Кафы, Царьграда, Багдада. Оставались ли храмы, ежели даже от городов наших оставалась только зола?... Но разве напрасно жили в древнем времени каменщик с иконописцем? Разве напрасно они фундавали и оздобляли высоким искусством городские и сельские храмы? Нет, не напрасно. Ибо все, вершимое здесь, в видимом мире, человеком, живущим сегодня, предназначено в высокой идее своей не вещественной вечности, которая невозможна по рассуждению нашей схоластической философии, но некоему небесному нетленному скопищу, о коем судить отсель невозможно. Потому и псалма моя, пропетая в видимую пустоту, совсем не напрасна, и вириш, сложенный в голове иль в душе, и любое доброе дело такожде. Прозревают об этом лишь души, оставляющие плоть вещества, в котором пребывают до времени, но взамен теряют дар земного глагола, и мы, остающиеся здесь до поры, так и не ведаем о том ничесоже. Но — да все будем в свой срок одесную Христа, альбо в зубах сатаны-агасфера, — и сведаем обо всем... Да только на что сгодится тогда обретенное новое знание наше?..

Тем временем шел я уже по натопанной богомольцами ледовой дорожке под могучей монастырской стеной, которая слабо светилась во тьме, что объяла уже

и реку, и город. Выйдя к белокаменной бреме, я увидел сидящего в снегу человека, обряженного в грязные затрапезные лохмотья, — шапкины на нем не было, и длинные сивые волосы спадали на плечи, свалывшись в подобие вервья. Сквозь прорехи в лохмотьях проглядывало серое, будто припорошенное ржаной лунной мукой, голое тело. Сиромаха тот перебирал и рассматривал сосредоточенно задубевшие хлебные кусени, набранные при солнечном свете у богомольцев прошедшего дня, — при соприкосновении друг с другом куски те издавали приглушенный звук дерева, когда постучать по стволу некоей палицей.

Я знал, конечно же, этого старика-нищего, как и каждый киянин. Мне и рассматривать его было ненадобно, и разговаривать с ним, дабы выведать что-то о нем, — я, как и каждый житель преславного Киева, знал, что под лохмотьями на теле его скрыты тяжелые цепи-вериги, венчающиеся большим железным крестом на груди, — под цепями наплечными кровянились у него стертые язвы, — и что ноги его не знали от века никакой обуви ни летом, ни зимней порой.

В читальне нашей бурсацкой приходилось читать мне не однажды о таких подвигах преподобных прежних времен, — и чтомоё узвляло душу мою не представимой и небывалой в наших уже временах крепостью духа и тела тех легендарных людей, отрекшихся от мира текучего и преходящего ради Христа и Его славы. Столпники, по четверти века препроводившие на столпах в пустынях Египетских... Затворники наши печерские времен Мономаха, молившиеся глубоко под этой землей, на которой стою, десятками лет не видавшие солнца и света, не вдыхавшие свежего весеннего воздуха, не слышавшие в глухой могильной тишине подземелий звуков живой человеческой речи... Мария Египетская, сорок семь лет скитавшаяся в пустыне во искупление своих прегрешений и по сокровенному Промыслу, за год до смерти, обнаруженная старцем Зосимой, рассказавшим о ней... Это мы — по недостоинству и душевному нестроению — так глубоко ощущаем свое одиночество и богооставленность, — они же не были одиноки, хотя десятками лет не видели ничего, кроме черных земляных стен или сыпучих песков и белесого знойного неба, ибо без помощи Духа Святаго выстоять в таких, добровольно наложенных на себя испытаниях, было немислимо.

Ныне же оскудела благочестием наша земля, и не слышать больше о таких удивительных подвигах, не столько угнобляющих тело, сколь возвышающих душу, и сей старец, сидящий в снегу со своими заледенелыми хлебными кусками, едва ли не последний из исповедающих днями жизни своей образ древлего подвижника. Все знал я о нем, что знали другие, — о неудобноносимых веригах-цепях, о многолетних добровольных лишениях, о язвах телесных, — но все это внешнее, зримое и отчасти дикое даже, — но кто знал о сокровенной, глубинной жизни его? — ибо если бы он и говаривал бы земными словами, то где взять те слова, что обозначили бы меру духа его и силу, которая все текущее и привычное нам победила?..

Подошел к старцу, я поклонился ему в пояс, сняв бурсацкую шапку:

«Помолитесь, святой отче, о неразумном рабе Божиим Арсентии...»

Трудно сказать ныне, что во мне было — скорее всего, привычной и неглубокой просьба эта по сути была: как желаешь здравствовать проходящему малознакомому человеку, — но что вкладываешь ты в эти слова? Ты ведь даже и не задумываешься о сокровенном их смысле буквальном, — так, формальный звук в воздух бросаешь, некий клич бездумный, — и так же и прощаешься, не прощая и не будучи прощенным. Смыслы — иссякли, истерты нашей привычкой, нашим необязательством, плоскостью нашей и глухотой к слову Божьему и человеческому. Так и я, внешне уклонившийся печерскому юроду и просивший его о молитве, — знал же и верил в душе, если покопаться в себе, что никакой молитвы от него я и не жду, и даже не верю — если бы молитва все же была бы в сокровенном его изнесена обо мне — что она могла бы как-то повлиять на меня, на мое существо, на течение моего жития, на доброе делание, о котором я даже не ведаю до поры, но о котором уже и предсказано, что *«несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть»*. И все это, мною ныне произносимое, юрод печерский ясно видел во мне, но — поднял глаза на меня, оставив смерзшиеся свой куски, и смотрел достаточно долго и пристально, — так долго, что душа моя заскоруждала в побираньях, колядках и виршах утешных, щедро одобренная горилкой-дуливкой, заворочалась в недоумении, а затем и в смущении в груди у меня, — ну не зря же каждый у нас тут в округе знает о Петре, что Божий он человек, — и пожалел я уже, что побеспокоил его никчемной просьбой своей о молитве, — и стало мне как-то холодно и неловко под недвижным и сокрушительным взглядом его. Я затоптался в снегу, начал развязывать торбину свою, дабы дать заботу рукам, — мотузок затянулся твердым заледенелым узлом и не поддавался замерзшим пальцам моим. Наконец, торба раскрылась, и среди уже задеревеневших кусков сего Рождества, среди крошек, отдельных листов, исписанных кривыми строчками виршей моих, и разного мусора — Боже, чего я только не ношу в своей нищенской торбе! — я

нащупал остатний шеляг заветный, кой в предстоящем моем бытии, по размышлении еще у еврея в шинке, равен стал целому состоянию, — вынул его и положив в черную от грязи ладонь юрода. Хоть и замерзла кожа морды моей, как кирза у вартового жолнера на сторожевой веже, и стала как бы чужая, я почувствовал ею, что старец отнял взгляд свой от меня. Он смотрел теперь на монету, изучая печатку, выдавленную на лицевой ее стороне. Затем опять посмотрел на меня — и бросил монетку мою прочь от себя.

Черная медь, мелкая, как чешуя днепровского сазана, поздним вечером, в темноте, никак не может блеснуть, хоть разорвись на куски, крутя перед носом даже монисто из шелягов этих, — но у меня таки блеснуло молнией в глазах, а в горле запеклось что-то горькое, будто вот сейчас я через горло с воплем заплачу, — и оборвалось сердце в глубокую и звонкую пустоту. Клятый юродивый!..

Метнулся я было, аки скимн рыкающий, в сугроб искать шеляг свой, да сразу и увяз в глубоком снегу, — без толку это... Вот кому-то из проходящих мимо посчастливится здесь, когда весной стает вся эта снежная дрянь!.. Но погреб-таки аз снег ладонями, пропуская обжигающее пушистое вещество между пальцев, — может, чудо сотворит Господь Бог в честь славного Рождества своего — и вернет мне мой шеляг заветный?.. А сам злился что было сил на этого юрода Петрю, — вот и делай после этого людям добро!.. А он уже и не смотрел на мои тщетные и пустые старания больше, — рассматривал свою милостыню, словно и не было меня в соседнем сугробе, будто бы и не из-за него сидел теперь я по пояс в снегу... Конечно, куски его — куда как интереснее, чем какой-то глупый бурсак, расчувствовавшийся от книжных воспоминаний и решивший принять посильное участие в упокоении жития одного из последних печерских подвижников... Теперь-то я понял, за что его бьют и гоняют по Киеву из-под храмов, как сидорову козу, — умеет, вражий старик, в самое больное место попасть хоть кому. Говаривали, что даже сам игумен Иеремиа, молитвенник и постник смиренный, охаживал его подле брамы посохом по остову, забыв на время обеты монашеские, — и Иеремию смиренного довел своими проделками!

Совсем окоченел я в сугробе, — выдряпался наконец на утоптанное, а по лицу тут и слезы холодные потекли, — а я ведь и в классе под розгами не плакал ни в жизнь, кроме первого самого раза, — а тут на тебе... Отряхиваю снег с себя, в сторону Петри не смотрю даже, — я ведь и шеляг уже готов был простить этому Петре, лишь бы не слезиться здесь, под обителью, не позориться. А слезы — хоть что им не делай — текут и текут по щекам. А Петря знай на куски свои зырит с любовью. А потом и услышал я, что-то он там тихо бормочет себе в бороду, — прислушался и уразумел, что это мне он говорит нечто, вроде как утешает:

«Иди, хлопче, ось дам тебе половину просвирки...»

«Не надо...» — сказал я вроде как и голосом не своим. Я ему остатнего шеляга из добычи колядковой не пожалел, а он мне, вишь, половинку просвирки от души отрывает...

«Иди-иди, — говорит, — путь твой отсель не почался еще... А подкрепиться тебе надо, пожалуй...»

Дьяк наш Иуда, наставник класса грамматики, в хорошую минуту, когда не пьян был дуливкой и в духе расположения пребывал, поведал сообществу нашему, что Петря-юродивый прежде, лет двадцать назад, разговаривал больше, чем ныне, и много страшного набрехал на скончание века сего, по счету шестнадцатого от Рождества Христова, да не сбылось ничего, — вон ведь, всего семь годочков осталось, а мы все еще небо коптим и по хуторам жнем в торбы прибыток как ни в чем не бывало, — а он ведь про кровь там какую-то пророчествовал, — Иуда так говорил, — что цельный Днепр составит количеством, горе и мор предрек на православной земле, брат на брата с пикой пойдет, и даже единый сын нашего главного князя Острожского станет папешником, — вот уж посмеялись мы вдоволь над теми пророчествами петриными лживыми, — да хоть и про того даже Януша Острожского, — кто старого князя не знает и кто не ведает о славном в веках тиснении им Библии в Остроге тщанием и трудами Ивана Фёдорова, московитского беглеца, в 1581 году по благословию дубенского игумена Иова, — с Библии той и началась наша русская книжность и знание божественных глаголов не токмо изустное, — да я и не запомнил доточно, что там дьяк Иуда про Петрю того говорил, — все брехня, каждому ясно... Только вот странно, что Петря, по слову Иуды, и вовсе замолк с той поры и почти перестал говорить, — и ныне мне, можно сказать, повезло: слышу глас божественный Петри, по которому так соскучились наши кияне, — вот завтра братии в бурсе поведаю, — да только, поди, и не поверят мне...

Если бы не шеляг еще...

Тем не менее ступил я к Петре шаг осторожный, опять ожидая подвоха, протянул руку к нему, и он положил мне в ладонь кусочек просвирки. Осенил я себя крестным знаменем и слопал Петрин кусочек до крошки последней, хоть он и близко не стоил

моего битого шеляга и утешением был никаким.

«Вот и ладно, сынок, — сказал юрод мне, помигал в темное небо очами, словно видел там что-либо кроме тьмы, и вдруг продолжил, когда я уже и отчаялся что-либо услышать от него: — А теперь, Арсентие, прямуй на Подол — там путь твой крестами уставлен...»

«Какими, отче, крестами?..» — спросил в удивлении я. Про Подол и спрашивать нечего было — каждый киянин знает, что там сияет во славе нетления и несгинения наша разудалая бурса, — а вот кресты к чему тут Петря присовокупил?..

Петря уже накрепко замолчал. Я стоял перед ним в ожидании и собрался уже уходить, как в горле юродивого засычало вдруг что-то, забулькало, — лицо исказилось гримасой, словно чья-то невидимая рука сжала изнутри лицевой осто его и вновь отпустила жестокую хватку, — нижняя челюсть отпала и глаза, озарившись на краткое мгновение неведомой силой, медленно затухали. Но я почувствовал лицом опаление некое.

Я попятился в страхе и остуился на скользком, не зная, что предпринять: то ли уносить ноги отсюда, то ли за допомогой бежать в монастырь, — верно, пробил последний час долгой жизни юродивого... Хотя, чем и как поможешь человеку от старости лет и от смерти? Пока я так колебался, Петря тем временем, распинаемый изнутри неведомой силой, еще что-то выхрипел и завалился на спину. Разлетелись по снегу куски его последней милостыни. Передать мной слышанное немислимо: было там вроде как о ком-то бегущем, спасающемся от преследования, от погони... И снова хотел что-то сказать Петря мне, но выходила нелепица-нисенитница:

«Подол... И я... Я... В двадцать пятом колене, — когда все будет затоплено, что зришь ныне на низовых островах...»

Что за бред? При чем — острова?..

И тут он сказал мое фамильное прозвище:

«Осьмачка...»

И умер. Затих на сбитом снегу среди вывалившихся и разбросанных хлебных кусков.

Ну, други мои, если к этому часу и оставалось во мне что-то теплым в утробе моей, то враз похолодело и замерло. Это подобно было тому, как во сне падаешь с горы какой-нибудь камнем и перед самым ударом смертельным — вдруг просыпаешься в радости: та то только сон, Господи, слава Тебе!..

Потому что прозвища моего знать Петря не мог.

Может, я сейчас и проснусь, и все это привиделось мне от толикой усталости тела и брюха после обильного нашего разговения на хуторах и в шинке?..

Но пробуждения чаемого не наступало.

На ватных ногах, со звенящей и пустой головой на плечах я отошел с того места, прошел в браму и постучал в дверь каморки монаха-вратаря. Сказал ему, словно во сне, об умершем. Потом все смешалось, и я уже мало что соображал и понимал: мы шли с ним куда-то, потом выходили опять, уже с неким госпитальным монахом. Они вместе осматривали поверженного юродивого, что-то с ним делали, — я стоял отрешенно, и во мне затухающим эхом скрипел его голос, стучало билом в мозг, не могущем собраться во единое целое, химерная и безумная эта цифирь: двадцать пятый... двадцать пятый... бегущий...

Петря был еще жив, — подошли другие чернецы, подхватили почти бездыханное тело его и понесли в госпитальный покой, где конали свои последние нескончаемые деньки трое столетних схимников. Они, невзирая на телесную немощь и скорбность духа, тоже приняли самое деятельное участие в Петре, которого знали с молодых своих лет, — когда Петрю начали соборовать, он очнулся при первом прикосновении ко лбу его кисточки со священным елеем, пришел в ясное и спокойное сознание, исповедовался в последний раз духовнику Лавры панотцу Никону Русину, принял Святые Дары во оставление прегрешений и в жизнь вечную и внятно попросил заупокойных молитв. Один из столетних начал по требнику читать отходную, а когда завершил, от юродивого осталось одно только мертвое тело.

Когда монахи начали снимать с того, что только что было юродивым Петрей, лохмотья и тяжелые цепи, проржавевшие от Петриной крови, чтобы обмыть и обрядить к погребению тело, я увидел, что плоть на плечах его была протерта веригами до серых трубчатых сосудов, до сухожилий, едва ли не до самых костей, — и в глазах у меня потемнело, — ничего не соображая уже, я выбрел из госпитального покоя наружу и присел на каменный столбик какой-то, стиснув ладонями горящую голову. Сквозь некий кровавый и сумеречный гул твердил об одном:

«Господи, упокой душу его, — он столько страдал по Тебе...»

Над Лаврой печерской уж распростерлась безмолвная и ясная ночь, принявшая в свои темные небесные тайные недра отлетевшую светлую птицу души юрода-старца.

Ничего и никого не было у него в этом мире живом, кроме любви. Но о любви — откуда мне ведомо? Откуда я — знаю? И он свершил путь свой по примеру древних отцов, о которых читал я в патериках, — и в пример нам, оставшимся до времени жить — по этой неизъяснимой любви...

Смерть юродивого не нарушила уставного строя жизни в монастыре, — в Успенском соборе возжигались свечи пред образами, и насельники готовились петь ночное бдение — первый час дня Собора Пресвятой Богородицы. Кроме этого, в Лавре совершались богослужения 3-го, 6-го и 9-го часов, а также вечерня и повечерие. То же свершалось в подземных церквях, где препроводили дни свои особенные совершенные духом отшельники и затворники, по примеру древних духовных героев, ведомых нам по Печерскому патерику, времен Монаха и его сыновей. В пещерные лаврские церковки и в катакомбы, разветвленные узкими ходами под всем Киевом, праздно шатающемуся мне, как и другим богомольцам-мирянам, путь был заказан.

Служба уже началась, пока я на каменном столбике морозил сидницу и прочухивался от всего, случившегося за минувший день Рождества. Оторвавшись наконец-то от седалища своего, я вошел в Успенский собор и остановился в дверях. Посполитых богомольцев почти не было здесь — трое козаков да несколько в черном старушек, коим по старости уже не спалось. Монахов же был полон храм.

Когда служба закончилась, игумен Иеремия прежде отпуста произнес краткое слово из подвижнических монахам наставлений преподобного отца девятого века еще Феодора Студийского, которое странным и непостижимым для меня образом перекикалось и со смертью юродивого, и с моими размыслительными упражнениями вечером на Днепре, и с тем потрясением, за которым последовало толикое опустошение, внутренняя выжженность, пережитыми мною с последних слов Петри:

«Ни я, как я думаю, не напрасно тружусь, оглашая вас словом смирения моего, ни вы не все тратите время на слушание его. Но не все — тут; ибо, конечно, придет время полного молчания. Не вечно жить нам, но мало елико-елико, как определил Бог, или я, или вы изыдем из жизни сей. Но искомое наше в том, чтобы исход отселе был с благими напутиями, с исполнением заповедей и с благоугождением Господу нашему Иисусу Христу...»

Кратко слово и просто по видимости, — но жизни не хватит исповедовать его до конца.

После отпуста я вышел на паперть, в крошечную уже ночь. Майдан пред Успенским собором искрился бесчисленными холодными огоньками, — иней тончайший, осевший на снег, каждой гранью отбивал от тверди земной неверный и нереальный свет мелких небесных светил, удивительно и премудро созданных для неведомых целей Творцом. Мертвенно висела луна, подрумяненная розовым с краю, с неизменным, почти человеческим ликом своим. Снег скрипел под ногами исходящих из храма. Монахи возвращались в свое одиночество творить келейное правило и класть невидимые никому, кроме Бога, земные поклоны-метания, паломники — через браму — разбредались к своим странноприимцам в Печерске, спящем в глухом часе полуночи. Мне тоже следовало уходить — пробираться по Киеву к бурсе, к подслеповатой хатке господини Гапки, у коей квартировали мы всей нашей ватагой. Хлопчики наши сейчас, поди, давят боками клопов и храпят от трудов своих праведных так, что солома на стрихе хаты торчком поднимается и шевелится, аки живая, при каждом хоровом слаженном вздохе. Господиня Гапка тоже, наверно, удоволена ныне: и ей перепало из принесенных кусков, да и шелягов за прожитие она получила сполна, как и договаривались еще осенью с ней... Мне стало внутренне легче, когда я вспомнил о бурсе и о юнаках, спочивающих праведно, — разве жизнь прекращалась со смертью какого-то юродивого старикана?.. На легких ногах, просящихся к дому, я сбежал с паперти, выскочил в браму, простившись наспех с вратарником, не спросив у него о мертвом теле юродивого. Да и что спрашивать? Что?.. Жил и умер. Я случайно оказался свидетелем смерти его, — что же теперь? Да, знал его каждый, кто живет в этом городе славном святынями и древностью русской. Старухи почитали за святость его. Ходили к нему за советами. Рассказывали о чудотворениях, исцелениях по молитвам его... Но все это было, было и было... А жизнь, это бесконечное и не остановимое течение дней, продолжается только вперед, в будущину, — и прошлое в новых днях не имеет никакого значения, силы и смысла, — и я вот жив, и жить буду еще, и впереди столько меня ожидает!.. *«Никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствии Божию»* — так сказано у Луки. Сие разумевай!..

Так звенело во мне колокольцем тихо и тонко, и снег поскрипывал радостно под ногами моими, что несли мое молодое и сильное школярское тело в призрачном свете спящего города — мимо изгородей и тынов, опушенных по верху снежной каймой, мимо затаившихся запертых храмов, мимо теплых обиталищ zde живущих и повсюду православных христиан. Город будто бы вымер или опустился на дно

океана земли, сохранив свои очертания и приметы, и никого не осталось здесь сущих, кроме припозднившегося меня, с моей странно нахлынувшей радостью жизни. Что мне здесь надобно? — вновь засквозила тревога. — Куда я спешу и зачем? Зачем я прожил этот долгий и нескончаемый день Рождества, увидел старца-юрода, был при том, как когтистая смерть зацепила за ребра его и поволокла в преисподнюю земли, а душа отлетела в *ирий*, в воздухе, — и после стоял на службе первого часа и слышал древнее наставление преподобного Феодора Студийского, верное и посейчас для любого живущего?.. Все это было, — и какой же силы нужен небесный разряд, или откровение, или же чудо, чтобы остался в душе моей загрубелой след навсегда — если и это, случившееся в день един, для меня есть нечто, — и радость какая-то гонит и гонит меня в прежнюю бурсацкую шкуру: зубоскалить и воровать, выдуривать кендюхи и пампушки у посполитых, под шумок из чулана тянуть кольцо чесночной колбасы, истекающее прозрачным соком от растворенного сала, вопить дурным гласом дурацкие вирши, сражаться до крови за лучший кусок и видеть в золотом праздничном сне кухоль пенного пива, а еще лучше — склянку горилки... Думал я о сем, братцы мои, и рисовал в шагах себе будущину, — и какая там, к бесу, будущина, ежели понятно все и ныне же, — и в лучшем случае быть мне паном бакаляром в школе церковной в богатом селе и учить грамотке по-славянски козацких отроков — и пороть самых разумных из них по голым сракам лозинкой, как некогда пороли и меня для науки, чтобы были они яко все, разумом отнюдь не возносясь... А завтра — опять идти побираться в сторону недостижимого Кременчуга, откуда начинаются первые днепровские пороги, — и так всю седмицу Рождественскую, рекомую Святами, а потом — садиться снова на школярскую лаву, варнякать по-латине, зубрить вирши божественного Горация, угождать дьяку Иуде и попадаться ему же в проказах — и без устали волать под лозой: *рятуйте мене, православные, бо вже не могу од болю того!*..

Сколько этому быть?!..

И: «*вземши руку на рало...*» — как с этим?

Дьяк Иуда, может, бессмертен, как грецкие боги, и не умрет никогда, яко слава Александра Великого, — и мне тоже вечно учиться разуму в бурсе? — от бесконечности нескончаемой сей едина токмо тоска, но не радование. И будущина, зовомая «*жизнью*», так ныне чаемая из скудного моего настоящего, может стать не такой уж прекрасной, ибо сегодняшние заботы о насущном куске возмогут токмо усугубиться. А там серым туманом наползет иная забота: надо приискивать верную дружину, приискивать место злачне, место светло, работа о пропитательном хлебе насущном от утренней зари до вечерней... Де там будет Гораций с Вергилием — забуду я «Энеиду», забуду я все, читанное и усвоенное под дьяковой розгой на лаве наших общих школярских тортуров. Светлая в размышлении будущина давит и сотрет в сущую персть то малое, что отличает меня от кого-либо другого и дает право мне называться именем, быть самим собою, Арсенком Осьмачкой, бурсаком, пиворезом и миркачем, спудеем, слагателем корявых виршей о праздника наших и сопутствующих оным утешениям, — и все это недалекими человеками называемо «*жизнью*», и она, мол, «*научит*»... Только чему? — быть слизняком и ничтожеством, пресмыкаться пред можновладным, обирать без жалости слабого и вытрясать при некоей хлебной должности хабари-подношения, и — если «*жизнь*» выпадет посчастливее — набивать бедное свое брюхо до треска штанов, не зная, как по-другому пользоваться свое милое счастье... И где там, где там молодое наше веселье, Гораций, вертепный ляльковый театр или византийские златоусты святые?.. Где там наши нынешние скудные дни и химерные побиранья, отображающие в перелицованном нестрашном гротеске нашу убогую реальную жизнь в чаемой будущине, когда смеху и безоглядности места уже не найдется?

Будто спала с очей пелена, и увидел я на месте благообразных влекущих красот сатанинский оскал голого черепа. А город, который я перебрел в тишине сна и покоя к Подолу, был недвижим и вечен, — сверкал обманными и неверными холодными искрами инея, крепко спал под пологом снега и не ведал сомнений. О, тысячелетний наш Киев!.. Разве заметна тебе моя жизнь...

Усталость и изнеможение сковывали мое тело, и хотелось упасть в сугроб и раствориться в этой тишине ночи, зимы без остатка, и больше не жить, — но да что, что это со мной? — я просто устал...

От веселья и силы моих после первого и третьего часа молитвословий в Успенском соборе не осталось совсем ничего, когда я наконец-то дотащился до хаты, в которой на разные голоса, но все-таки слаженным хором, сопели, храпели, свистели, стонали, сонное бормотали и аки скимны рычали наши орлы-бурсаки, — я отворил дверь и очутился в спертном, кромешно-черном и как бы преисподнем пространстве земли, где само дыхание человеческое казалось чем-то чудесным, ибо непонятно было, чем тут еще можно дышать, — бурсаки покотом и навалом, как порубленные татарами, лежали везде и повсюду, куда попадала моя слепая нога. Я осторожно ступал по откинутым в

сонной битве рукам, по вздувшимся и бурчащим от кусков животам, по богатырским плечам и даже по мордасам, — но ни единый из притомившихся в Рождество не проснулся, — что говорить, крепок сон праведника, хоть глаз ему гусиным пером выковыривай... Едва освободил малое местечко себе, отвалив в сторону чью-то тушу, — вот у нас хлопцы какие: не высветились еще во священство, а спины уже поповские понаедали! — туша перевалилась на другой бок и придавила кого-то лежащего рядом, — слышался стон и матюк, перешедшие затем в ровный и сладостный храп.

Я сбросил свитку, устроил в головах торбу, чтоб не украли, снял валянки и примостился у теплой, как печка, спины обладателя мощных сих телес Пети Кухара. Слепил веки и вроде не спал, но ощущал, как в пусто-звенящей башке у меня билось-плескалось все то же, но несколько преображенное: сон — подобие смерти, о том еще Гомер в «Илиаде» неложно гексаметром медным звенел, — и ты отлетаешь от себя на какое-то время, узреешь долины и веси и будешь иным, нежели есть, — этот сон может стать жизнью, ежели то, что услышал, что уразумел и что видел ты в сей минувшей день, обретет для тебя смысл судьбоносный, — тебе даже не следует тужиться, дабы постичь глубокий смысл предопределения твоего, — достаточно Петри с тебя... Петри? — сквозь вязкий сонный туман я встрепенулся, хотя почти уже спал под эти ласковые, шелковые нашептывания, — при чем здесь юродивый? — и услышал как бы ответ — он ведь сказал: иди на Подолье, — ты разве не слышал?... Иди на Подолье, Арсентие, иди — и оставь место сие, нагретое бурсацкой сидницей, — иди в мандры по белому свету, — ведь нужно идти до конца, ежели начал идти, — иди, Арсенко, иди, — ибо бесполезно, но в духе и в смысле глубоко, в страдании изъязвленной плоти провел чуть ли не век юродивый Петря, — и потому знал о тебе до пределов, тобою немислимых и неразумяемых до известного срока, — вонми последнему слову его как завету божественному...

Да... — уже во сне согласился я с этим странным и ни на что не похожим увещанием, — иду... ухожу...

Путру братия будила меня кулаками под ребра, а я все не мог отрешиться от прекрасного мира, в коем витал на легких крылах отдохновения. Когда же проснулся, даже не вспомнил, на чем отошел вчера в сон, — были какие-то голоса — ласковые, теплые, тихие... Но вспомнить мне не давали — отоспавшаяся и уже оголодавшая братия наша вопила и гоготала. Брешковский Иванко ступал гоголем круг меня, заводя хищный хоровод с матерным песнопением, подгоняя меня пробудиться окончательно: мы снова должны были отходить к хуторам с утешным своим. Петя Кухар сосредоточенно мял пальцами гулю на лбу, не понимая никак, почему она выросла за ночь, ежели ложился почивать без нее, — соборно мы порешили на том, что Кухар наш преобразуется из Кухара, как замечено еще в овидиевых «Метаморфозах», в нечто рогатое — дальше посмотрим — во что, ибо род его пока что неопределим.

Так и выбрались из хаты — с прибаутками, гоголем и толканиями друг друга в сугробы. На дворе было тихо, морозно. Краешек солнца краснел в просторах за Днепром, небо загустевало синевой, и в синеве этой слабо и утасоюще все еще виднелись серебряные гвоздики звезд. Золотились в первых лучах шпильи и кресты на обителях киевских.

В Печерске ударили к утрени.

И тут я вспомнил все, что произошло в день вчерашний, рождественский, и то, что услышал ночью в тонком сне, когда отчасти разьяснились Петрины слова обо мне. Ну что же, подумал я с какой-то тихой покорностью (не она ли зовется в трактатах смирением?), — разве что-либо привнес я в это все от себя, от мудрствования лукавого и несовершенного? Нет. Но слышу некую силу, которая вот-вот подхватит жизнь мою малую и повлечет меня под привычным, понятным для каждого именем мандрованного дьяка прочь из Киева в неведомую мне до срока будущину, — оторвет от ватаги и бурсы, и отныне заживем мы поврозь... Грустно прощаться мне со шкурой бурсацкой, с разудалой ватагой нашей и легкостью юного образа нашего. Жалко...

Привычно скрипел снег под ногами. Кто-то что-то рассказывал, — но я уже не прислушивался к словесам, думая о своем. У склона Печерского решено было поворотить к Днепру и перейти по льду с нашего, Русского, на левый берег, Московский, — сохранились там еще в целости от побиральщиков наших хутора, куда не добрались противостоящие нам суетные ватаги из классов поэзии и богословия.

Я остановился, задержав рукою устремленного к бурсацкой поживе Брешковского:

«Иванко, я от вас ухожу...»

Остановились другие миркачи наши, окружили меня, загадели наперебой. Я не стал им ничего объяснять, ибо и сам смутно еще понимал, как буду жить дальше. Мы обнялись с каждым из наших и троекратно расцеловались.

«Трудные грядут времена, — сказал в прощании Иванко Брешковский. — Вместе легче было бы их пережить... Может быть, передумаешь? Останешься с нами,

Арсенко?..»

Я качнул головой, поклонился им в пояс. Иванко вынул из торбы последний пенязь из вчерашней добычи и положил мне в ладонь — на дорогу. Увидимся ли мы еще с вами, други мои забубенные, споем ли утешного за доброй чаркой горилки в шинке? Я еще раз им поклонился и пошел в печерские улочки. Они стояли, глядя мне в след. Все-таки в наши юные годы разлука виделась нам временной, краткой, — и никто не ведал из нас, что больше мы уже не встретимся никогда.

С печерского склона я оглянулся назад — ватага пробиралась между торосов, старательно обходя полыньи. Они дошли уже до середины Днепра.

Картина 6. ОКРЕСТ БРАЦЛАВА, 1594

Борзые пана Григора Цурковского, самозабвенно гонявшие по первому снегу крупных линияющих русаков, добежав до закраины королевского леса, замешкались, закружились рыжим огнем близ березы-свечи. Пан Цурковский не мог уразуметь, что случилось с его вышколенными собаками, — издали было не разобрать ничего.

Два русака с прогрызенными загривками уже лежали у его забрызганных грязью сапог. Одна из борзых, именем Пани Кристина, в сей гон, почти у леса уже, настигла третьего зайца, но не вернулась к хозяину, а со сворой добежала до леса, и теперь, потеряв по пути полузадохшуюся добычу, заливисто-звонко впрядала свой лай в брех других.

Пан Цурковский в раздражении хлопнул по голенищу нагаем и выругался. Затем поднес к губам серебряный рожок и свистнул своим собайлам. Свора мгновенно остановилась и огненной змейкой потекла через поле к нему. Первую, подбежавшую к владычному сапогу, пан Цурковский вытянул нагаем по костистому хребту для науки. Прочих же просто попинал по бокам, но не сильно. Собак своих он любил и жалел. Не вернулась только одна — та самая Пани Кристина, любимица главная, — она стояла близ березы и смотрела в сторону хозяина, словно звала подойти. Прежде чем привычное раздражение разгорелось в пане Григоре, мощное, почти вещественное воспоминание обожгло внутреннее его зрение, — да, не напрасно любимой собаке он дал имя любимой некогда женщины, — и чудесным, мистическим образом шляхетный норв Кристины передался собаке... Пану Григору показалось на мгновение, что все это было уже, — именно так и в таком, — и этот чистый снег, и редкое, не до конца еще облеченное золото листьев в королевском лесу, пятнающее темную стену его, — и все это было, — и под этой березой-свечой стояла в прощании навсегда та самая — настоящая — пани Кристина, обернувшаяся к молодому тогда пану Григору, — они расставались всего на несколько дней: панночка отъезжала с отцом, важным старым паном Лешек Свентожицким в Брацлав на судовые рочки, где пан Лешек намеревался решить в свою пользу спор о том самом поле, на коем стоял ныне, спустя целую жизнь, постаревший пан Григор Цурковский, — то бишь отсудить поле это посредством богатых даров или неких посул пану старосте Струсю у Цурковского-старшего.

Они, Цурковские и Свентожицкие, были соседями довольно долгое время, — еще в отцовской юности пан Лешек с головорезами из степей наехал на маетность прежнего господаря и соседа, чье имя быстро за ненадобностью позабылось, и вырезал всех, кто жил в том шляхетском гнезде, дабы не судиться потом долго и праведно с прежним хозяином этой земли. Понятно, что вину перед брацлавским урядом той поры пан Лешек переложил на козаков, с которыми прибыл сюда: это они всех убили, пограбили дом и усадьбу и убыли незнамо куда... Да куда еще? — в Запорожье, куда же еще, откуда выдачи нет и не найти там никого невозможно — концы в воду... А он, пан Лешек, с парой верных гайдуков пытался спасти там кого-то, раны перевязывал умирающим и занявшийся пожар тушил... Ну, и по праву такого участия сочтено было старостой и воеводой о том, что пан Лешек Светожицкий имеет полное основание водвориться на месте том, от разбойников опустелом. Ну, старый Цурковский говорил сыну, что без подарка уряду дело не обошлось, — но это дело их не касалось. Под старость у пана Лешека силы тела иссякли, но появилась некая страсть к расширению земельных владений, — отчего-то он стал беспокоиться о том, что может от голоду и внезапной бедности умереть. Что там в голове такое сложилось у пана-соседа, но вот решил он, что от голода и от бедности спасти его может только это вот поле Цурковских. Потому и отправился он на судовые рочки в Брацлав, к пану Ежи-Юрасю Струсю, недавно водворившемуся на гродском старостве. Захватил с собой и пани Кристину, красавицу-дочь, — обновки купить в брацлавских крамницах и вообще на людей посмотреть. Старый Цурковский был на удивление спокоен тогда, хотя домочадцы, кроме пана Григора, взывали к отпущению за столь низкий и коварный поступок со стороны давнего и достопочтенного соседа. Мать удивлялась:

«Мечислав, но почему ты с владельческими бумагами не поедешь тоже на рочки?.. Чем пан Лешек сможет перебить грамоту короля Сигизмунда I Старого Ягеллона?»

Старик же только прятал в вислых усах своих некую печальную усмешку и говорил: «Лучше усилим молитвы к Пресвятой Деве Марии...»

Это кратко и горестно вспомнилось пану Цурковскому, когда он шагал через поле, которое таки осталось за ними и без участия отца в судебных рочках того давнего года, когда на престол Речи Посполитой только-только взошел король Стефан Баторий, сменив недолгого короля Генрика, любимого сына Екатерины Медичи, отбежавшего из Речи Посполитой в гонитве за французским престолом. Шел пан Цурковский к темнеющей полосе королевских угодий за заблудшей собакой, носящей столь сокровенное имя. Но не это в воспоминании было главным, ибо принадлежало событийной истории, а то, чего не уложить в ряд обычный и общий, ибо никогда и ни у кого, как казалось пану Цурковскому, такого не было, ибо сопряжение с возвышенным чувством, зрительным образом и ароматом старых шляхетских времен создало то, чего у него никому не отнять, — но, Боже мой, как странно, что так долго он не вспоминал этого сокровенного и прадавнего, — как сладко, трепетно, скользко звучал и струился шелк ее темно-фиолетового платья и как плескалось, покачивалось в его страстной горсти ее живое девичье тепло...

Нет, подумал пан Григор. Не нужно об этом. Это страшно, невыносимо и больно. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы забыть...

И шагал по снежному полю решительными и злыми шагами — к рыжей статной борзой, сжимая в хрустящем неистовом кулаке свой нагай и уже предвкушая, как будет безжалостно сечь эту сучку Кристину за послушание, за промедление, за потерю добычи, за все, что случилось когда-то давно, и за имя ее... Да, и за имя.

У него уже ничего не осталось от молодости — ни прошлого яркого солнца, ни дивного звучания красок и полутонов всего, что наполняло те дни, ни воспоминаний. Все как-то пожухло, иссыкло, прошло. Ничего не осталось, кроме страсти к созерцанию и переживанию яростного собачьего гона по первому снегу новой зимы, когда холодный воздух так сладок и чист, что, кажется, вымывает из нутра его всю человеческую скверну и нечистоту. И он словно на краткое время преобразуется, выпрастывается из кокона повседневности и обыденных дней-близнецов. А прочее... Что в этой жизни, если ничего более не доставляет ему ни радости, ни упокоения?..

С того самого дня, когда пани Кристина уехала со старым паном Лешекком в Брадав, мир лишился всех красок, стал черно-белым. Если не серым, ничтожным, ненужным, — и в этом мире предстояло влачить свою жизнь до конца.

И печаль уже была неуместной. Увы. Оставалась одна только ярость. И еще — ожидание первого снега и гона по этому снегу вышколенных борзых.

Это поле осталось за ними.

И ныне он охотится здесь.

Конечно, он не настоящий хозяин этой земли, — после смерти отца, пана Мечислава, он перестал засеивать поле твердой пшеницей. Это не поле уже — пустошь. Единственное его назначение для неуклонно стареющего хозяина — псовая охота. Она стояла ему пани Кристины.

Подошел к собаке, рубанул ее нагаем. Она заскулила и преданно закрутилась под его сапогами. И тут пан Цурковский увидел человеческую руку, вывалившуюся из-за пятистого березового ствола.

Замерзший или умерший от голода человек был достаточно молод. По обличью русин. Пан Цурковский подумал еще раздраженно: сколько нечисти шляется по нашей земле... Пусть сидит здесь и дальше — лесному зверью пойдет в пропитание...

Повернулся лицом к своему полю, кликнул собаку и пошел от березы, от леса. Но собака осталась сидеть подле трупа.

Боже мой, думал пан Цурковский, уже и в этом, столь долгожданном снеге и гоне собак нет забвения, как и нет совершенства. Ну откуда упало сюда это тело? Зачем?

И снова шел к Пани Кристине, упорно не отходящей от помершего холопа, — и не думал уже ни о чем — без злобы, без раздражения рубя ее по бокам нагаем, — день, столь ожидаемый и так предвкушаемый, был напрочь загублен. И не шляхетная сучка в том виновата — но этот померлый русин, потому что хоть и не стоит чужая жизнь ничего, хоть и увидался пан Григор подобно вдоволь — но этот день первого снега и гона должен был во всем пребывать обновленным и чистым. Принадлежать только ему.

Увы...

Сучка крутилась под ногами, оскаливая клыки, затем передние лапы ее поддомились, и она на брюхе подползла к господарским испачканным сапогам. Он присел над ней, зарыл пальцы в холодную длинную шерсть, рыжую с белым, погладил вислоухую голову:

«Ну что тебе в нем, Пани Кристина?..» — спросил тихо.

Борзая смотрела на него почти человеческими глазами.

И снова окутывала его тонкая кисея печали по чему-то утраченному, давнему, чистому, — и как это обозначить, как осмыслить смертным веществом разума? Он понимал, что сокровенное его прошлое было не единичным в многообразной жизни тех лет, и добротная шляхетность их быта, благородных занятий, псовых охот, вечерних соседских визитов, провинциальных балов, званых обедов и даже войн, на которые и отец, и окрестная шляхта отправлялись как на большую охоту — с огромными обозами, с шатрами из драгоценной парчи, с прислугой, с шутами и бубнами, с ценным оружием, место коего было скорее на стенах парадных залов в маетках, чем на бранных полях, — все это прошлое, очищенное временем от дрянных наслоений, только по тусклому, старому блеску казалось нерушимым и прочным. Героическая эпоха королей Сигизмунда II Августа, а затем Стефана Батория... Славные войсковые походы. Победы. Трофеи. Пиры... Казалось, что прочего и не было вовсе, — только эта воинственная шляхетность и благородство прошлых людей... Виденное не однажды острым зрением детства и юности — все это засело глубоко и не вытравимо в пани Цурковском, — и когда умер отец, умер король Стефан Баторий, а до того — он лишился пани Кристины Свентожицкой, столь нераздельно слившейся с этой прошлой и навсегда утраченной блестящей шляхетностью, может быть, даже олицетворявшей ее истинность, глубину, настоящесть, — камень веры (или смысл жизни) треснул напополам, раскрошился кусками, распался в серый ничтожный прах. Значит, прошлое отнюдь не было вечным и нерушимым, как казалось отсюда, из этих надвинувшихся дней на него, — и у прошлого был свой конец. В меру бесславный... На первых порах пан Цурковский стремился сохранить хотя бы куски прошлого, — вот это поле, вот эта свора борзых, как тогда, и между ними красавица Пани Кристина, — и простой отцовский палаш над давно не разжигаемым камином захламленного дома, — вот и все, что осталось от самого духа прошедших времен.

Пан Цурковский обнял собаку, вдыхая терпкий запах разгоряченной псины, ощущая щекой шелковистость ее шерсти. Да, вот все, что осталось. Ибо ежели отнят дух, отнят и смысл, — и вещь, какой бы она ни была, становится недоразумением, залетевшим в новый строй понятий, событий и чаяний, что называемо уже новой эпохой. Прошлое остается в памяти только, — но и память смертна, конечна, ибо угасает еще при жизни наследника и умирает окончательно с ним вместе. Но ведь все это было так недавно, — и живы люди еще, при ком звенела мечами и золотом звонким славная эпоха короля Стефана, — жив староста Струсь, — да-да, тот самый брацлавский пан Ежи-Юрась, который так и не дождался, похоже, в те давние годы даров от старого Лешека Свентожицкого...

Сердце пана Цурковского ударило сильно в клетке груди и на мгновение замерло. Пальцы непроизвольно сжались в собачьей шерсти, и тут он ощутил, с какой мертвенной болью затекли ноги его, — нет, он не хотел и не будет думать об этом...

Зачерпнул горсть снега, тронул губами холодный и чистый белый пух родины. Затем разгреб снег ладонями до самой земли — вот она: обледеневшие, но все еще зеленые травы, былки, персть, зерна, белые семена неведомых растений... Эта земля со всем, что на ней есть, осталась за родом Цурковских.

Сколько же и чего стоишь ты, земля родины, рода?..

Ты стоишь любви. Опустошенных дней жизни. Ибо третьего — нет.

Он не думал о том, откуда и как взялась эта пустошь, записанная в брацлавских книгах гродских за родом Цурковских. Все было, в отличие от старого Свентожицкого, по закону и правде седой старовины. Дарована еще королем Сигизмундом I Старым из славного великокняжеского рода Ягеллонов еще во время Великого княжества Литовского, до Люблинской унии, за воинскую доблесть против давних мятежных козаков прадеду пана Цурковского. Их род всегда славился неустрашимостью. Он не знал, кто тут жил и возделывал эту землю до прадеда, — да это было неважно вполне. Семейное предание повествовало, что прадеду пришлось устроить здесь небольшую домовую войну и выжечь дотла несколько сел, прежде чем он утвердился в брацлавских пределах. В одном из сел была деревянная православная церковка — она тоже погибла в огне. Ныне никто из живущих не знает, где стояли те села, — все забыто. Прошло более полувека с тех пор. Земля принадлежит им, роду Цурковских, и род этот знатен вполне, уважаем. Да, они никогда не боялись смотреть смерти в глаза, не боялись врагов. И потому странными показались молодому пану Григору слова отца, когда старый Свентожицкий поехал отсуживать в Брацлав это поле: «Усилим молитвы...» Почему он не взял свой палаш и не кликнул гайдуков, дабы сразиться со старым соседом и другом и с его оршаком¹ в открытом, честном бою?..

Славная эпоха короля Стефана... Может, только отсюда, сливаясь в единую,

¹ Оршак — вооруженная свита, отряд наемных гайдуков.

блестящую дорогими доспехами массу, расцвеченную бунчуками, развевающимися тяжелыми хоругвями и знаменами, золотом шлемов и давленным серебром рыцарских панцирей, — зрится величие, слава ее, — и не долетает запах прогорклого дыма пожарищ, сырой, тошнотворный запах пролитой крови, не достигает слуха вопли раздираемых крючьями в клочья, стоны и молитвенные вздохи израненных, забытых в кучах остывающих мертвецов, — ибо нет в небесах ветра такого, который мог бы пронизать грани времен, — и потому из этого отдаления, в глубине своей очищенной годами памяти пан Цурковский мог видеть только среброкованные фаланги польского-литовского войска и изумрудно-зеленую, удивительного чистого цвета траву, сминаемую бесшумным, безгласным ветром той давнины...

Всего этого больше нет на земле.

Времена изменились, как изменились и люди, словно прошлому преломили хребет, — но никто, никто этого не замечает и не понимает, кроме него, забытого Богом и забытого всеми людьми на этом заброшенном поле, — и люди живут, как жили допрежь: богатые богатеют, холопы работают от зари до зари, женщины рожают неумолимо детей. Татары наезжают за ясырем, казаки бунтуют, чумаки возят серую соль с Лимана... Все вроде по-старому — но что же дееется с ним? Откуда эта тоска и печаль?.. Почему?.. Ведь некогда он тоже был счастлив, молод и весел...

Неяркое предзимнее солнце плыло в дымке небесной из прошлого в будущее, — высокие ветры, клочья небесного дыма, шорох примерзших к земле палых листьев, источающих едва уловимый дух прели и тления, и человек на кордоне королевского запovedного леса сливались в некоем воплощении мироздания во что-то шемящее, печальное и конечное, невыразимо прекрасное и обреченное на неминуемое исчезновение. Ибо еще в молодые годы пану Цурковскому явлено было будто бы ненароком, как непрочен сей по видимости устоявшийся чувственный мир и эпоха, звенящая в памяти именем покойного короля. Его эпоха, которой больше не повторится. О, Боже, — сжалось в груди у него, — зачем даровал Ты мне эту пронзительную, неистребимую любовь, — и почему, за какие провинности мои, Ты не дал ей продлиться, осуществиться и принести некий плод?.. Порыв высокого ветра. Несущийся высоко клочок облака-дыма. Только — проводить его взглядом. И забыть, вменить ни во что, как случайность. Но ведь я живу один только раз — и скоро уже не увижу этой земли родины моего сердца, — но с чем и как предстану пред всевидящим зраком Твоим, если я столь пуст и ничтожен? Что тебе будет до того, что я несу в жилах своих шляхетную древнюю кровь со времен династии Пястов, — ибо и те старые Пясты сотворены были Тобою, — а что еще есть во мне? Услышать ли мне тогда страшное, запечатленное в Апокалипсисе: *«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою»*?.. Боже, вот каковой осталась она навсегда, ибо ушедших текучее и неверное время не в силах тронуть жесткой дланью своей: тяжелые волосы цвета тусклого золота, заколотые на затылке, серые прозрачные глаза в половину лица, высокий лоб, шляхетная стать, длинные тонкие пальцы, просвечивающие до костных суставов, когда ладонью она пыталась прикрыть светлячок теплого летнего солнца... В лице ее была некая мягкость, покойность, вневременность, — подобные лица он видел у плодоносящих женщин, — словно она знала, предчувствовала, что навсегда пребудет такой... Это и было ее неким преобразованным, метафизическим плодоношением — нетление в его памяти, пока пан Григор до срока пребудет в сих днях, месяцах и годах... Боже мой, по совершенству и чистоте она единственная достойна была пребывать в этом мире до скончания сущих времен — как икона, как статуя, высеченная великим Праксителем, — но вот — нет ее, как нет уже и великой прошлой эпохи короля Стефана, как нет и моей молодости и нет моей веры в целесообразность нашего мира, — и я сию подле борзой, названной в ее память и честь, на одичалом поле своем, в первом снегу новой зимы...

Было так тихо и глухо в этом месте земли, как на дне заброшенного колодца, — и потому сердце пана Цурковского чуть вовсе не остановилось, когда рядом, под боком совсем раздался приглушенный вздох, голосом растворенный и превратившийся в стон. Пан Григор вскочил, — борзая заметалась подле него и подала голос. С противоположного конца поля снова понеслись в самовольном гоне собаки, — взлетела с отвратительным карканьем стая ворон с черных древесных ветвей, — и в глазах пана Цурковского закружилась и заметельшила округа. Усилием воли он подавил объявшее душу смятение, вытащил из-за голенища нагай и ступил за березу к мертвому человеку. Глаза у того были приоткрыты — пустые, смотрящие в запредельное, — изо рта едва различимо веялся легкий парок дыхания, еще не до конца оставившего это по видимости мертвое тело. Пан Цурковский наклонился над замерзшим русином, отвернул пальцем веко его, брезгливо похлопал слегка по щекам — русин застонал. Делать было нечего пану Григору, и он отстегнул от пояса серебряную походную фляжку, двинул слегка кулаком русина по скуле, устанавливая его непокорную голову

в нужное положение, и влил за зубы его несколько капель драгоценной выборовой горилки. Русин закашлялся, и взгляд его стал наполняться осмысленностью.

Каждый жить хочет, — подумал пан Григор нечто необязательное, цедя стопку и себе самому. Вышил, занюхал рукавом охотничьего кунтуша и сплонул в снег белой шипучей слюной. Заткнул фляжку, повесил обратно на пояс. И только потом спросил парня:

«Можешь идти?»

Тот ничего не ответил.

Как ни противен был он пану Цурковскому, однако новая неожиданная забота несколько его развлекла, — милосердствовать было приятно, как оказалось, да и мысли и неотчетливые чувствования, раскалывающие в куски его голову, отступили на время, — и он с напускным гневом разметывал сапогами своих бестолковых набежавших борзых, ругался *kurwica* и всеми производными гирляндами от этого ругательствами, которые узнал за всю жизнь, шмарал нагаем скулящую Пани Кристину, находя в этом некое оправдание предстоящему неприятному делу волочь русина отсюда. Потом поднял, как кулю, этого парня из-под королевской березы, закинул руку его на шею себе и, продолжая ругаться («*Wypierdalaj — oddal sie natychmiast w blizej nie okreslonym kierunku*» и прочая), тащил его по полю, оступаясь в неровности и кляня на чем свет свою свору и похеренную первую охоту на зайцев...

Дома свалил русина в сенях и кликнул служанку:

«Вот тебе, девка, жениха я нашел... Вышел на русаков, а приволок русина тебе... Приведи его в чувство живое и накорми чем-нибудь, — а потом я разберусь, кто он такой и что делал в королевском лесу».

И больше не было в нем раздражения, хотя потрудился он вдоволь, пока тащил этого холопа с отдаленного поля до самой усадьбы, — ныли с непривычки плечи, саднили руки, вызванивало от усталости в голове, — пан Григор ополоснул руки от грязи водой и, размышляя, чем скрасить усталость от неожиданного своего милосердия, спустился в подвал. Возжег свечку и увидел всегданнюю пустоту и заброшенность своего рукотворного подземелья — широкие полки вдоль стен, покрытые претворенной в слой земли пылью, пустые стеклянные четверти, мохнатые от пыли, порожние бадейки, нечищенные котлы-казаны, которые браны были в давние походы под Смоленск еще при короле Стефане, а как походы те кончились, так и брошены здесь в непотребстве, ржавые цепи, невесть для чего свисающие со стен, и в дальнем углу — мусорная куча старых сломанных алебард с обглоданными мышвой держаками — сложили, дабы исправить, да так и забыли, — то ли было здесь в прежние времена?..

Постучал по бочке угорского, на слух пытаясь определить, сколько осталось в ней на питье и усладу, затем подставил кувшин, выбил пробку и нацедил золотистого цветом вина. Несколько капель упали на земляной пол, и, перебивая сырой дух запущенного подвала, поплыл тонкий, кисло-сладкий дух как бы овеществленного солнца.

Сколь многообразен мир, в котором живем, думал пан Григор Цурковский, поднимаясь по каменной лестнице к свету, вот ежели остаться мне навсегда в этом погребе — мир сузится до сей омерзительной темноты, провонявшей мышиним пометом, — выйти на свет, в мой праотеческий дом — и мир будет домом, и жизнь будет какой-то иной, нежели в погребе и в подвале. Хотя что есть моя жизнь — в доме с подвалом, или на поле, или в том же Брацлаве?.. Она есть достаточное ничто, — ибо, как говаривали древние, не место красит человека... Будь иным я по сути своей или по духу — я и в погребе затхлом своем, в коем нет доброго ничего, кроме допиваемой бочки с угорским, смог бы жить сотню лет в счастье и в радости, жизнью осмысленной, глубокой и сокровенной, — а нынешнему мне подай хоть все царства мира — обернешь ли за золото иль невиданной властью время вспять, станешь ли молодым и доверчивым, воскресишь ли Кристину?..

А если и воскресишь — что потом? Разве смерти больше не будет?..

С тем и сел на широкую лаву, покрытую старым арабским ковром, доставшимся еще молодому отцу, когда делили добычу после одного из походов на волохов, с тем наливал вино из кувшина в серебряную мятую с боков чашу, с полустертым славянским узором по краю, — и чашу сию знал он с младенческих лет, и помнил самого деда Януша с этой чашей в руках, — вино, выпитое из нее за все эти годы, составило бы целую реку, пожалуй, — и пил, едва не захлебываясь угорским, не различая оттенков вкуса его, топя меркнувший светлый образ ее, той самой пани Кристины, глядящей на него издалека...

Угорское только с виду было вполне золотистым, — и когда Мотря-служанка привела едва передвигавшего ноги русина, мир виделся пану Цурковскому кроваво-багровым уже — все качалось и плыло перед глазами. Он что-то хотел промолвить химерным фигурам, попавшим во взор, но язык упрямо отказывался складывать звуки в слова. Он махнул служанке рукой, и та, поклонившись господарю, будто провалилась

сквозь землю. Русин же остался стоять.

Вскоре помутнение разума несколько рассеялось, пан Григор поудобнее уселся на лаве, хмыкнул, утер усы тыльной стороной ладони и, запинаясь, грозно спросил:

«Kim jest?» — и значило слово сие: кто ты такой?

«Арсенко Осьмачка, мосце пане, — тихо ответил по-польски русин. — С хутора Клямка Миргородского повета...»

«Что я, все хутора ваши должен знать на земле?! — рассердился отчего-то пан Цурковский. — Клямкало ты еси, смерд, vudlo, cholera jasna!.. Кто такой ты есть — вор или нищий?...»

«Нищий», — ответил русин.

«Что, работать не хочешь? От податей законоположенных бегаешь по миру?.. Так мы быстро заставим работать тебя!.. — что-то не ладилось в речи пана Григора, и многотрудность извержения слов еще больше разозлила его. — Прочь, нечисть!.. — пан Цурковский нащупал слепую рукою чашу с остатками угорского и метнул в парня, — Kurwa-a-a-a! Гайдуки!.. Гайдуки!..» — кричал он последнее, валясь кулем с лавы.

На шум прибежала служанка. Пан недвижно лежал на полу — глаза его налились винной кровью, из горла исходил храп.

«Что случилось, Арсенко?» — спросила она.

«Он кликал своих гайдуков», — ответил русин.

«Господи, какие там гайдуки, — вздохнула она. — Давай подмогни мне перевалить его на кровать... Отец его был здесь мощным паном последним — у него и был свой оршак. А у этого... нет ничего — ни имения, ни жены, ни детей... Гонор только шляхетский остался и паном только зовется по имени».

Поверженный Бахусом потомок древнего рода мирно спал на кровати, напрудив, как в детстве, преображенным угорским в штаны, — может быть, детство и снилось ему, — сны его в настоящем стали зыбки, неотчетливы, черно-белы, словно сила, питающая жизнь каждого человека, устала пребывать в когдатошнем пане Цурковском и иссякла, оставляя его на призывол текущему дню. Снилось детство — а что было в том детстве? Для чего оно с ним приключилось, если ничего не исполнилось из тех обетований, предчувствий и знамений? И он опять был один, как тогда, в тех огромных до бесконечности днях зрелого подольского лета, когда большие переспелые яблоки с глухим стуком падали на землю его родины, великой в веках Речи Посполитой, и он сидел на крыльце, разряженный, словно кукла, в хрустящие брюссельские кружева, лежащие отложенным веером на парчовом камзоле, а высокий отцовский гайдук сек до кровавых отметин пойманных в саду за кражей яблок сельских мальчишек, его ровесников, — с ними под страхом жестокого наказания ему было запрещено даже заговаривать, и у них уже тогда судьбы были вполне понятны и определены, как понятна и определена была для всех, и для него в том числе, судьба его собственная, — а потом перед старым паном Цурковским, перед дедом его, стояли на коленях их отцы в серых досконых рубахах, и дед, расчувствовавшись от витиеватой вразумительной речи к этим холопам-руси́нам, хлестал их для большего назидания плетью по головам и плечам, а они стояли, стояли — молча, покорно, смиренно, — как животные, для которых главное — просто выжить, и все... Да что это, Господи!.. Дело привычное, ибо век, в котором жили они, был во стократ страшнее.

В детстве он готовился жить и быть воином великой и беззаветно любимой Речи Посполитой — как некогда жили и служили Польше, еще до Люблинской унии, его предки, когда земли Польши разом учетверились за счет присоединенных восточных кресов Великого княжества Литовского и государство стало настоящей империей в контексте раздробленной Европы, погибающей в религиозных войнах всех со всеми. Эту землю получил наградой за храбрость и немилосердие ко врагу еще прадед. Так жили мужчины рода Цурковских со времен великой династии Пястов. Но что-то произошло и не только с ними, но и со всей молодой и видимо сильной державой — и сила стала иссякать постепенно, уходить, как вода, в глубокий и ненасытный песок, — и начало этой беды и приходилось, по всей видимости, как раз на его детство. Может быть, потому, что по-настоящему сильный никогда не поднимет руку на слабого? А если поднимет — то рука эта отсохнет?.. Да, дед и отец без пощады секли и обирали окрестных селян-посполитых... Ну а что тут такого? Они же — не совсем и люди, так кажется... Да... Но все-таки — кто знает об этом?.. Кто, кроме Бога?.. И если виновен в былом род Цурковских — то только ли в этом?..

Был ли то сон, приоткрывший полог с того, чего не уяснить трезвым разумом в обычном течении дня и привычном круге насущных забот; было ли то противоестественным действием коварного угорского Бахуса либо вызрело к этой ночи из опыта всей жизни пана Цурковского — понять было достаточно затруднительно, — и потому, проснувшись от некоей мысленной судороги, пан Григор обрел себя возлежащим в охотничьей экипировке, но без сапог, на собственной кровати в

собственном доме. Он пытался восстановить расторгнутую угорским вином цепь событий, приведших его к столь странному состоянию, воскресившему его малые детские шалости, и вспомнил того молодого русина из-под королевского леса.

«Мотря! — нарушил пан Григор покойную тишину запустелого дома. — Мотря! Kurwa-a-a-a!»

«Извольте рассолу испить?..» — откликнулась на излюбленное ругательство заспанная служанка.

«К бесу рассол твой! — разгневался отчего-то пан Цурковский. — Где тот лайдак, которого я привел на свою голову?»

«Спочивает, — ответила Мотря, — слабый он после смерти...»

«Dobrze, пусть спочивает до завтра, — жалился пан Цурковский, он только теперь понял, что на дворе стоит глубокая ночь, и сказал примирительно: — Ладно, давай уж рассолу — в голове все спеклось...»

Утром стоял подле окна и хмуро смотрел на густой, замутнивший свет дня снегопад. Какая ранняя осень в окончание этого странного года... Ему уже ничего не хотелось — ни охоты, ни яростного собачьего гона по девственной белизне, ни золотистого угорского. В душе зрела какая-то глубокая и всепрощающая печаль — и он уже ни о чем не жалел. Что делать, если столь изжито место сие, что нет ему покоя ни в чем? Что сам он не может понять, для чего и зачем явлен он высокими небесами из вневременного беспамятства некоего в этот смятенный и страшный мир, где по видимости и не было ничего, кроме зла и насилия? Впрочем, нет, он прав не совсем — было ведь что-то еще вроде света, ибо в адовой тьме ни он, ни кто-либо другой не смог бы прожить и мгновения... Да, этот видимый мир, сужденный ему, равнозначно делим на зло и добро, на уродство и красоту, — прекрасна и гармонична земля, велика и необозрима во все стороны света; чудно солнце, согревающее благостыней своей все живое и неживое на этой земле, — как удивительно соразмерно сотворено все сущее в этом мире!.. Зло же гнездится в падшем естестве человека, возрастает в страстях, взбухает смердящей пеной и выплескивается вовне, сжигая все окрест и сжигая самого человека, — так, по всей видимости, сотворяется история человеческого мира, — из великих грехопадений, великих глыб воплощенного зла, подминающих порой целые народы, — и никакого законного искупления нет, ибо и законы сотворены носящими зло, — никакой надежды на победу добра не остается единичному человеку, кроме упования на верховную и конечную справедливость Страшного Суда Божьего... Где ныне Нерон, — думал пан Григор Цурковский, глядя на большие снежные хлопья, тяжело падающие кусками на землю за тонким, давно не мытым стеклом. — Где — «сапожок»-Калигула? Разве неистовство в зле отменило их смерть? Не отменило, но, напротив, приблизило даже. Где сонмы иных палачей и мучителей, сплетшиеся в некий губительный терновый венец на челе вещной и видимой истории мира?..

Вместе с остаточной горечью от невозможности все это изменить или переверстать на свою лад, душа его погружалась в некий глубинный покой, разросшийся из горчичного зерна необыденных размышлений, — и пан Цурковский понял вдруг, что и в этом он не совсем прав, — ибо человек не всегда отменял злой своей волей божественную гармонию мира, — ведь история сохранила и добрые имена, уцелевшие от сатанинских погромов, — тот же Пракситель, Сократ и Эсхил, а после — Марк Аврелий и рядом во времени — апостолы и первомученики на окровавленном песке римских амфитеатров, — разве это вне истории, вне живущего сейчас человека?.. Все зависит от взгляда, избирающего себе по нутру либо цепь злодеяний, либо идеальное и совершенное умиротворение и любовь золотого века, коего, ко всеобщей печали, не воскресить... Но и то, другое представление о минувшем будет неверно, ибо никогда не бывало чистого цвета в той жизни, которая неостановимо течет. По устройению Божьему мир глубже, шире, сложнее и противоречивее, чем казалось даже великому мыслью Платону, — и никому не дано понять его до конца.

Значит — смириться. С молитвой *Te Deum* довериться Промыслу... Да... Думать о смерти...

Он отступил от окна, за которым по-прежнему белела и опускалась на землю новая зима его жизни, ступил вглубь комнаты и наткнулся взглядом на древнюю книжищу в истертом кожаном переплете со следами мелких мышиных зубов, лежащую на столе, — он раскопал ее третьего дня в кабинете отца в поиске нужных бумаг для начинающих под брацлавскими стенами судовых рочек этого года. Из титула следовало, что издал ее почти сто лет назад венецианец Альдо Мануччи Старший, наименовав «Греческие послания». И это тоже — прошло без следа, — думал печально пан Григор, — какие-то безвестные греки когда-то и где-то писали письма друг другу — и у них тоже была своя жизнь: детство, отрочество, возмужание, старость — как у меня. Они зачем-то родились в сей свет. Что-то делали. Кого-то любили. И их больше нет. Не осталось даже могил, не осталось наследников, не осталось того, что делали

они своими руками, — ничего не осталось от них, кроме этих ненужных и смешных оттого писем, таких же мертвых, как и сочинители их... Развернул книжищу и прочел по-латыни первое, упавшее в глаз:

«К Валерию.

Никакой смерти нет, кроме как по видимости, и равно нет никакого рождения, кроме как по видимости, а причина в том, что поворот из бытия в природу почитается рождением, а из природы в бытие — соответственно смертью, однако же взаправду никто никогда не рождается и не гибнет, но лишь становится прежде явным и после незримым — одно состояние происходит от сгущения вещества, второе от истончения бытия, а сущность всегда одна и та же, различаясь единственно движением и покоем...»

Это место будто бы для сегодняшнего дня пана Григора было отмечено отцовской рукой.

Шел снег. Текла, как малый талый ручей, его жизнь, и ему больше ничего не хотелось, кроме покоя и тишины. И потому, когда к полудню Мотря напомнила ему о вчерашнем русине и о какой-то невнятной просьбе его, он вяло махнул ей рукой:

«Приведи...»

«Ты почему еще здесь? — спросил у него пан Цурковский. — Решил перезимовать у меня?»

«Нет, мосце пане, — тихо ответил русин, — прошу разрешения вашего с миром отойти с сего места...»

«Иди с Богом...»

«Но прежде узнать мне хотелось: где, в каком месте обрели вы меня? Ибо на том месте рекомом лишилась торба моя...»

«Что в ней — жемчуга? — невесело пошутил пан Цурковский. — Мотря даст тебе что-нибудь похожее на твою торбу.»

«Нет, пан превелебный, не заменит мне ваша торба торбы моей, ибо воистину словесные перлы сохранял я в письмовнике там...»

«Что за перлы такие?» — не понял пан Григор.

«Перлы многообразные зело, кои, сколько ни трать их на хлеб и прожиток, не убывают, но имеют вид не вещественный, но иной.»

«Что-то ты, хлопче, слишком странно со мной разговариваешь, — пан Цурковский начал сердиться. — У тебя, видать, в голове что-то отмерзло и до сей поры не оттаяло. Батогов захотел?... Отвечай, что за перлы таковые, да без книжности отвечай, ибо всыплю тебе по-простому, дабы не возносился душой своей низкой над шляхтичом урожденным!..»

«Przepraszaam, пан перевелебный, — нарочитая книжность сия засорила мое естество в нашей киевской бурсе, — да и сыплется, яко горох, егда рот отворяю за чем-то иным, кроме как откусить от хлеба насущного, из головы неразумной, przepraszaam ще раз, мосце пане, — а перлы те многочисленные суть утешные вирши мои, кои распеваю для хлеба под селянскими хатами.»

«Миркач?»

«Ваша правда, пан превелебный.»

«Требуешь допомоги?»

«Нет. Спаси вас Бог за вчерашнюю милость, оказанную в окаянстве моего прошедшего дня...»

«Пустое, — сказал пан Цурковский. — Впрочем, ты о виршах нечто сказал?»

«Да.»

«Сам ли слагаешь — или по-чужому поешь?»

«По-разному, — ответил Арсенко. — Ежели кто лучше сложил нечто утешное — пою по его, а так и самому нетрудно сложить.»

«Ныне отойдешь в путь свой, — сказал пан Цурковский задумчиво, — и Брацлава тебе не миновать. Несколько времени тому староста тамошний Струсь выкликнул оповестку, что нужен ему для некоей потребы виршеслагатель искусный. Ежели сможешь ему в сем угодить — перебудешь наступную зиму безбедно в тепле. Напишу тебе, пожалуй, грамотку, чтобы в целосто до Брацлава дошел... Мотря, принеси каламар¹ да перо!»

С тем и отбыл Арсенко из усадьбы пана Цурковского. На краю королевского леса долго блуждал по снегу в поисках торбы своей, но ее не обрел. Ему жаль было письмовника, заполненного виршами утешными и разнообразными рисунками, — там и дьяк Иуда мордой, похожей на живую, присутствовал, и друг Иванко, и богатырь Петро Кухар, и как растянут на лаве школяр под розгой, — как все это ныне восстановить? — но пуще всего жаль ему было нескольких книжиц польского и

¹ Каламарь — род чернильницы.

славянского писем.

Длился новый день на земле. Холодное солнце стояло в зените предзимнего неба, хотя по счислению дней время осени не завершилось еще. Веял легкий ветрец, сминая снеговые языки и обнажая зеленую залубенелую землю. В глубине королевского леса с едва слышным звуком падали последние тяжелые листья, и жизнь, по видимости замирая, все-таки продолжалась.

Как-то странно и скоро сбылось то мимолетное предчувствие пана Цурковского, когда цедил в кувшин он угорское, дабы вознаградить себя за явленное в мире добро. Слабая и усталая мысль того дня первого снега и собачьего гона в свой срок припомнилась и поднялась в нем в ужасающей своей непреложности. Верно, заключена в человеке некая жизненная опара — мысль ли, чувств ли, либо чего-то иного, неведомого и не называемого человеческим словом, — которая в конце бытия, о сроках коего неведомо ничему человеку, вызревает в нем неприметно, и выплескивается в разум какое-то слабое предчувствие, бледное видение, необязательная и вполне проходная мыслишка, дабы при реальном воплощении предчувствованного пред окончательным уходом из жизненной круговерти ослепить существо человека этим потаенным знанием, которое в нем пребывало, а он по суетливости не придавал ему никакого значения. Все это в свой срок с пронзительной и не утихающей болью вспомнилось пану Григору Цурковскому, когда мещане брацлавские, впустившие его в крепостные ворота как друга, соседа и доброго радника от окрестной шляхты, табором стоявшей на поле под стенами, внезапно схватили его и под наставленной в спину пикой привели к мятежному козацкому гетману. На обратном пути от гетмана какой-то плюгавый брацлавский мальчонка ткнул ему прямо в лицо пылающий смолоскип¹ — пан Григор скорчился от боли, белым огнем воспрянувшей в нем, и едва не упал, и не видел уже, как громадный козак в заляпанном грязью дорогом польском жупане ударом плети сшиб проказливого пащенка с ног и, поддав под ребра носком сапога, отшвырнул визжащего малого чуть ли не на середину майдана. На лице пана Цурковского взбухли серые водянистые пузыри, зачерненные следами дыма от факела, и он, шатаясь, шел туда, куда вел его провожатый козак, едва ли что-то соображая. Затем боль стала устойчивой и привычной, и сожженные, саднящие глаза его едва различали под какой-то белой стеной фигуры людей, и в сознании снова высветилось то, для чего был он послан сюда своими соседями — собором шляхты Брацлавской земли, стоящим большим табором в ожидании судовых рочек и старосты Струся в виду городских стен, и в одночасье, сквозь боль, позор и страшные пузыри, он понял, внутренне леденея, что жизнь его теперь кончена, завершена без остатка. Но осталось последнее, не исполненное им по закону чести шляхетской, и он сказал то, что должен был сказать им, стоящим в радости, смешанной с каким-то испугом и страхом пред неотвратимой расплатой, под чем-то белым, похожим на смерть:

«Люди, сограждане, — отрекитесь от бунта сего... Бунтовцы не изменят ничего в этом мире, ибо великая держава наша, Речь Посполитая...»

Козак, сопровождавший его, не дал ему завершить дело чести шляхетской: ударил кулаком по затылку, и пан Цурковский упал обожженным саднящим лицом на корку затоптанного тысячами ног снега.

Очнувшись он от глухой, давящей тишины, и ему показалось, что глаза его вытекли от огня смолоскипа, — его окружала густая чернильная тьма. Он знал, что не умер еще, ибо ноющая и саднящая боль остается с телом, когда душа отделяется от него, и там уже, куда воспаряет она, физической боли больше уж нет. Его же боль — продолжалась, а значит, продолжалась и жизнь. Пан Григор поднес дрожащие пальцы к лицу и осторожно ощупал свои громадные пузыри — усы сгорели в огне, а то, что было на месте лица, определению не поддавалось — вздувшееся, распухшее мясо, липкое от сукровицы...

«Лайдаки! — гнев и ненависть во мгновение заполнили его душу. — Холопы!.. Ничего, Речь Посполитая поставит вас еще на колени!..»

И после, скорчившись на клоке вонючей соломы, трясся в бессильных слезах...

В этом мире, преображенном зимне снегами, по видимости все оставалось прежнему: сухо и властно бомкал в срок державный колокол старосты Струся на ратуше; присмирившие в поборах и кредитовании и ныне как бы бескостные в многообразных угодливых поклонах еврей-орендари по утрам отпирали крамницы, торгуя мелкой всячиной, горилкой и пивом; совершались благодарственные молебны за приход в Брацлав козаков; в костеле на брацлавском майдане тоже совершались богослужения — величаво и воистину не от мира сего звучали под высокими сводами

¹ Смолоскип — вид факела.

органные переливы, и шляхетные дамы, приютившиеся здесь со своими детьми во избежание возможного насилия от диких и своевольных мятежников, молили Деву Марию об утишении бунта. Некоторые дома уже подверглись частичному разграблению, и каждую ночь через потаенные выходы те, кто мог и хотел оружие послужить Короне и государству, уходили в зимнюю степь, препоручая семьи свои покровительству все той же Пресвятой Девы.

Староста Ежи-Юрась, преступно обманутый мятежниками, что вдерлись в Брацлав так неожиданно, что он не успел даже поджечь фитиль главной мортиры и оказать бунтовцам хоть какое-то сопротивление, был лишен всех полномочий городской власти. Его выгнали из резиденции в замке, откуда открывался такой замечательный вид на Брацлав. Среброчеканные кубки его были расхищены, сентифолии-розы — растоптаны сапогами, батальные полотна на стенах со светлыми ликами победителей-королей исполосованы ножами и саблями. Наградное оружие от короля Сигизмунда... Эх, да что о том вспоминать!.. Верные люди успели вывезти Марысю и подростка Элжабету — и за то уже надо было благодарить Бога. Гетман Павло Наливайко, который водворился в резиденции старосты, только расспросил пана Ежи-Юрася о городском хозяйстве, о казне, о припасах, о сообщении с Варшавой, с Винницей, с Луцком и с Кременцем, и с городским воеводой Иваном-Янушем Збаражским, старостой кременецким, расспросил и о собирающейся под стены на судовые рочки шляхте окрестной. С тем и был староста Ежи-Юрась отпущен на все четыре стороны, сдав козакм связку ключей от комор. Но предварительно — староста едва не погиб, был ободран, раздет, изуродован и подвержен позорному осквернению. Пан Тадеуш Ковальчук дал бывшему старосте притулок близ кузни, и теперь пан Ежи-Юрась ютился, подобно холопу последнему, в некоей каморке, в которой стойко пахло прогорклым и тягостным духом перекаленного железа. За пределы кузни пана Тадеуша староста выходить без особой нужды не хотел: пусть уж Наливайко с клеветрами думает, что пан Ежи-Юрась оставил свой город на произволяще. Да и потом: как он мог оставить свой город? Под стенами табором стоит шляхта в ожидании судовых рочек. Где-то под Кременцем или под Луцком — разрозненные отряды кварцяного войска уже встали на зимование. Рано или поздно до Збаражского дойдет весть о захваченном городе. Смута эта пройдет, как преходит все под небом земли, козаки в конце концов уберутся из города, оставив поруганным и разгромленным все, что только можно испоганить, — но ничего, ничего, — главное, чтобы до времени сохранилась его жизнь, а там он все наверстает и со всеми проблемами разберется. Посему — до срока — пан Ежи-Юрась маялся тоской и бездельем, слушая днями напролет звонкий перестук молотков кузни, где пан Ковальчук безмездно с утра до ночи со своими подмастерьями подковывал бахматых — низкорослых и выносливых запорожских коней. Сны его по ночам были тревожны, обрывисты, — часто в глухой тьме полуночи он вскакивал на жестком и узком ложе своем и не мог уяснить, где и зачем он находится, — и когда разум возвращался в тело его, в глазах закипали горькие слезы.

Да, — думал пан Ежи-Юрась, — все было недвижно и прочно, подобно стенам брацлавским, — и жизнь в городе тлела и двигалась невесть куда, как и должно ей двигаться. И был он в силе, в почете, в довольстве, — да, было, все это было... Полно, уж не сон ли некий привиделся старосте Струсю, — и есть он, по сути, вовсе не знатного рода-достоинства — но есть урожденный холоп, и вот уснул он после тяжелой земельной работы на поле, и привиделся под утро странный сон золотой, что жил он в достоинстве старосты столицы Подолья?... И вот он скоро проснется — и не было ничего: омоет чело, съест миску сухой каши без масла и пойдет выгребать из стайни навоз... Он щупал тело свое в липком ужасе и испуге, щипал крепко за толстую кожу предплечий, — да нет же, он чувствует колкую боль, и значит, все это было с ним, — было и минуло?... Да как бы не так!.. О чем там он думал, чем наслаждался, — тогда, до этих позора и ужаса, — о сентифолиях-розах, о славе невящей... Немо, леденяще, бездонно его настигало отчаяние, и он старался не думать, напрочь забыть о том, что было насущно и вечно вчера, ибо ничего, кроме саднящей боли и стыда за сегодняшнее его состояние воспоминания эти не приносили, — но сознание и разум уже неподвластны были ему, и ширились в раскрытых в полночь глазах недавние отблески его мерной и такой обманчиво-прочной жизни, коей уж нет, — и в многоцветье, в движении, в звуках колоколов и литавр воссоздавались из густой темноты ежегодные судовые рочки — блистательные смотрины окрестной шляхты, подвластной ему, где старосте не столь приходилось рассуживать и разбирать привычные горделивые притязания шляхтичей на рощи, балки, ручьи и холопов, сколь показывать полноту и безмерность власти своей и, конечно же, принимать богатые подношения в знак уважительный. Так сказать, польские дары в брацлавском таком разумении. Да, все это было — а будет ли еще хоть однажды?... Или ход фортуны его неумолим, непреложен и скор на расправу?... Но в чем, в чем он прегрешил перед Богом и королем Сигизмундом?..

Падал на жесткое, узкое ложе пана Ковальчука, в затхлое нечистое тряпье, наваленное грудой на неровные доски, сжимал голову что было мочи ладонями и чуть ли не выл по-звериному от непреложно восстающей на него безысходности. Что делать? Что делать мне, Боже? — в отчаянии вспыхивало в мозгу. — Выбираться все-таки из города и бежать к тем, кто собрался на рочки? Но сколько их? Горсть или две? Что могут они совершить против этой козацкой навалы?.. Но тут же приходило и ясное упокоение: но разве он, староста Струсь, доверенное лицо короля Сигизмунда и варшавского сейма, столь одинок иль обречен? За ним в довременном покое и величественной блистательной непобедимости стоит великая Речь Посполитая... Польный гетман Станислав Жолковский, воин отважный и славный еще со времен короля Стефана Батория, готовит уже — староста был в этом уверен — армию коронного войска, которая, как пепел, сметет с лица польской державы своевольных мятежников... Да, пока что перевес на их стороне, — думал пан Ежи-Юрась, — они вдерлись в Брацлав умело и неожиданно, научившись сему на крымских аулах, когда ходили освобождать своих пленников. Мещане брацлавские, единые во временах мирных, в вооруженной смуте раскололись на две неравные половины, и схизматы, возглавленные значным мещанином Романом Титченком, да будет имя его проклято на веки веков, — со своим неумолкающими колоколами, отшатнулись от законной власти старосты Струся, преклонясь пред саганинской волей мятежников. Теперь, размышляя над этим задним числом, пан Ежи-Юрась мог бы сказать на дознании в сейме, да и пред самим королем, о том, что было сему множество предзнаменований — но как часто обманывали они старосту Струся!.. И он — не внял этим явным знамениям... Да, он виноват. Виноват...

Так, боевая кобыла его чуть ли не взбесилась в конюшне, когда за пять дней до нашествия «иноплеменных» конюх засыпал ей меру овса, — ревела белугой, трощила дощатую загородку копытами, брыкалась, изувечила холопа, вырвав зубами щеку его... Это было, так сказать, — знамение явным — она по-своему чуяла бой, просилась в открытое поле за стены, рвалась к сече... Но староста пропустил это мимо разума своего.

Косвенные события и знамения после Покрова перед козацкой навалой были более сумрачны и загадочны, будто некие таинственные силы, приутоготовленные Богом по грехам граждан Брацлава к свершению и сотрясению в городе державных основ, исподволь являли в текучем и привычном городском бытии свои неизъяснимые писмена.

Так, староста Струсь мог бы поведать на королевском дознании о мятеже и отдаче города в руки смутьянов, как за три дня до появления козаков под Брацлавом город был потрясен вестью о том, что подле одной из православных церквей во время совершения «жертвы бескровной», сиречь литургии, распустилась верба, — граждане толпами ходили смотреть на нее, — так нарушилась, вспять обернулась природа, как бы нечто вешуя. Но что, что — предвещало все это? Пан Ежи-Юрась тоже видел серебристые мохнатые буруньки на той вербе (пропади она пропадом!) — распорядился сломить ему веточку для разбирательства и уличения схизматов в подлоге, крутил и вертел ее перед глазами, отщипывал светлые ворсинки мягкой буруньки, но так и не понял, что произошло с этим деревом, — он отчетливо запомнил и в памяти удержал до сего, что в тот день (чуда и знамения, как утверждали прихожане той церкви) брацлавскую землю сокрушил страшный трескучий мороз, невиданный об этой поре, — и верба цвела...

Старосте казалось теперь, что он правильно рассудил, приказав спилить это дерево, не в срок празднующее весну, дабы пресечь разные суеверные толки. Русское духовенство противилось старосте, но он ничтоже сумняшеся пригрозил тем попам батогами и унией с папой Климентом, и они отступились — только бы в схизме своей помереть, со своими проклятыми патриархами османскими, — невесело усмехнулся пан Ежи-Юрась. Однако старосте донесли, что во всех храмах, сколько их было в Брацлаве, отслужили по этой причине благодарственные молебны. Ну, их хлебом не корми, этих русинов, — дай только помолиться...

В тот же день, ставший проклятием для него и позором, он проснулся, как водится, под державный бой с ратуши, и утро это ничем не отличалось от бесчисленных прочих, встреченных им в высоком достоинстве должности городского главы. На душе у него опять было сумрачно (и это тоже сегодня разумелось как предвестие бед, обрушившихся на него после), и он сидел в своей огромной помпезной столовой, стены которой украшали потемневшие портреты родовитых дворян (увы, не Струсей), творцов Люблинской унии и сподвижников других государственных начинаний короля Сигизмунда II Августа и Сигизмунда I Старого, сидел в ледяном одиночестве за длинным дубовым столом, уставленным серебряными судками и затейливыми бутылками, жевал холодное мясо, приправленное изысканной тонкой подливой, но вкуса не ощущал никакого. Многосложное ароматное вино, которым он запивал

снедь, хотя и доставлено было из солнечных французских апелласьонов и встало не в единую сотню коп грошей литовских, ныне утратило свой вкус и цвет и казалось пану Ежи-Юрасю дрянной орендарской бурдой, которой это лукавое иудейское племя травит, как тараканов, дураков-посполитых.

В это утро все раздражало старосту Струся, — он накричал на безмолвных, застывших изваяниями слуг, приказал выпороть повара за загубленную подливу, хотя подлива была в точности и в пропорции приготовлена по старинным французским рецептам из плененных некогда в одном из замков фолиантов при усмирении давнего шляхетского рокоша¹, — ему хотелось на ком-нибудь выместить утреннее свое и по видимости беспричинное раздражение, — когда повара порол на заднем дворе и он вопил благим матом, вопли его опять-таки раздражали чувствительную натуру пана Ежи-Юрася, и, дабы быть справедливым во всем, к чему имели касательство руки его и душа, он приказал так же выпороть и тех, кто выпорол повара.

После завтрака прошел в кабинет, но душа его сегодня не лежала к занятиям, — тупо и бессмысленно переключался с места на место матово-кремовые грамоты, испещренные затейливой каллиграфией и скрепленные тяжелыми королевскими печатями красного воска, бездумно, не вникая в слова, читал чьи-то прошения и ходатайства, — кто мог подумать, что спустя один только день все это станет хламом, коим козаки будут разжигать для тепла его голландские печи?.. — забавлялся золотым ножичком (и ножичек тот будет украден), опять же бездумно, бесцельно листал тяжелые страницы огромного тома свода законов, читал по строчке-другой те места, на которые падал досужий взгляд, и от выхваченных с этих страниц законнических латинских словес абсурд и бессмысленность этого дня еще более усугублялись. Так, для себя неожиданно, он принялся думать о составителях и писателях сего свода, об их жизни вне этого занятия, о женщинах, которых любили они в своей исчезнувшей и затерявшейся в истории жизни, об их повседневных занятиях, — но что ему было за дело до всего этого? До этих людей? Ведь свод сей, внушительно стоящий на полке библиотеки и тускло поблескивающий золотым тиснением массивного корешка, составлен и переписан в Варшаве еще при короле Сигизмунде Августе, и тех людей давно уже нет на земле, — и нет их возлюбленных, — истлели шелка и кружева их нарядов в склепах фамильных, — и, кроме громадной книжищи этой, нет никакого больше следа их пребывания, жизни, делания и любви на земле Речи Посполитой... И он думает вяло о них... И это — все? Это — итог?

И сегодняшней ночью, бессонной и маетной, близ кузни пана Тадеуша Ковальчука, в гнилом тряпье, под шорох мышей, он снова думал о тех самых людях, чей единственный след на этой земле истопили козаки в печах его дома, обогревая своего мятежного гетмана. Вот он, смысл и назначение жизни, — думал пан Ежи-Юрась, — чего я не мог уяснить для себя в те дни, когда все было по-старому. И зрела в груди у него горячая, со слезами, молитва: Боже, спаси меня от забвения, когда я умру, — пусть хоть что-то малое и неважное останется от меня в этом громокипящем смутами времени, чтобы имя мое не прешло, не затерялось в беспамятстве будущины — как ратуша, как... что еще?.. Но в тот поминаемый день не было в нем такого прошения, ибо и пребывал он иным. Так что же, — думал пан Ежи-Юрась, — для достижения этих вот слез — потаенных и внутренних, для достижения этой вот глубины взывания к небу и не милосердному Вседержителю, — и нужно было таковое падение на самое дно текущего бытия, в эту смрадную яму позора и ужаса? Ради этих вот слез, источаемых скудно и не смиренно душой?..

И все-таки тень такого близкого и неотвратимого будущего, как оказалось невольное совсем, — будущего, принесшего беды, — подспудно отразилась в старосте Струсе — неявно, тихо, обманчиво, — и день, последний день его видимого покоя, как выяснилось уже скоро, казался разве что несчастливым, и только, — он позвонил в серебро колокольца, отодвинув судки и недопитый бокал с бургундским вином и приказал привести пред ясны очи свои того мандрованного дьяка из русинов, пришедшего третьего дня из владений пана Григора Цурковского. Он прибыл с запиской от этого разоренного шляхтича, и потому пан Ежи-Юрась не заключил его, сочтя за бродягу, в подземелье под ратушей для дознания, а дал притулок ему в своем доме вместе с прислугой.

Признаться, староста не поверил, что этот замызганный и непревелебный русин способен на какое-то достойное дело, как указывал на то пан Григор Цурковский, — тем паче, что речь шла о божественном даре глагола и рифмы, пред коими староста преклонял свою большую и многомудрую главу, серебрящуюся коротко стриженными волосами, — пробежав взглядом еще раз бумагу Цурковского, он пристально и тяжело

¹ Rokosz (рокош, восстание) — старинное право шляхтичей законно взбунтоваться против неправильных — по их убеждению — решений короля и оружно отстаивать свои интересы.

посмотрел на подателя:

«Значит, виршетворец ты есть?»

«Вирши слагать я умею, — ответил русин, — но мною, не затем в свет сей родился...»

«Мнишь, говоришь, — ухмыльнулся пан Ежи-Юрась. — Ну мни и дальше себе... Хотя ты и гордец, как я понимаю, ну да ладно уже, продолжай...»

«Однако не знаю пока — для чего... — должно быть, русин долго не разговаривал с живыми людьми, — подумал пан Ежи-Юрась, — и теперь, как из дырявого мешка, посыпался из него этот словесный горох, — русин же вел дальше затейливое свое: — С тем и хожу по земле, дабы что-то понять. Вижу злобу и ненависть некоторых человек, забывших о смерти и мнящих себя в жизни сей бесконечными и безгрешными, аки Творец. Вижу добро и милосердие в иных, и боголюбие, и страннолюбие, и даже праведность... Зрел разное аз...»

«Хватит. Довольно уже, — остановил это непотребное извержение староста Струсь. — Мутит уже от твоих никчемных словес. Оставь их себе. Расскажешь другим, кто захочет слушать тебя. Мне нужен даровитый в красном виршевании человек, кой превзошел бы Симона Пекалида острожского, Павла Русина из Кросна, Севастиана Кленовича и всех других иных, что были здесь некогда знамениты между людьми...»

«Возможно ли? — усомнился миркач. — Эти поэты — воистину призваны Господом были на красное слово, — а кто есть мы, шутники-бурсаки, — мы же только играем, притворяемся, выворачиваем мысленный тулуп наизнанку, напяливаем на морду машкару и валяем дурака под селянскими хатами, волаем дикими голосами за кусок паляницы... Разве можно нас поставить на доску одну хоть с тем же Павлом Русином из Кросна, великим виршеслагателем и слушателем божественных глаголов? Возможно ли превозмочь свое естество?..»

«Возможно, — медленно и раздельно ответил на это пан Ежи-Юрась, — если хочешь чего-то от жизни — помимо куска паляницы и куска колбасы. Часто человек и сам не знает того, на что он способен. Ну, братец, зачи что-то для знакомства, — то, что сам сочинил, я же послушаю...»

Как ни странно, разговор с миркачем немного развеял утреннюю хмарь в душе пана Ежи-Юрася, и день, не успевший начаться, уже не казался ему загубленным на корню.

Ровным, бесцветным голосом русин начал проговаривать-петь нечто невразумительно-дикое, как это обычно у холопов и бывает, от чего глаза у старосты полезли было на лоб, но он усилием воли удержал в себе закипающее негодование и раздражение на эту несусветную брыдню голодного брюха и раззявленного на все съедобное ненасытного хлеба, — это так их там, в киевской бурсе, учат — сему?.. — изумился староста. — Да разогнать их по белу свету к чертовой матери, отправить на ланы косить и вязать, — Боже, почто терпишь Ты эту накипь в Речи Посполитой? Но староста все-таки удержался в гневе и в праведном своем раздражении, ибо не самый смысл износимого важен был ему ныне, но — мера способности и свободы этого бурсака обращаться с невещественным словом. И потому он молча, гася первую волну чувств своих, слушал эту странную речитативную песнь, и вскоре, как ни странно, раздражение его угасло само по себе, и, к вящему его собственному изумлению, в какой-то момент он даже нашел, что слушает миркача даже уже с интересом, — и даже единожды притопнул в ритм выпеваемому. Староста мельком подумал, что это снова, наверно, в нем горит черная, русинская кровь, унаследованная от деда Якуба и отца Станислава, — да, можно веру переменить, дух свой преобразовать в достойнейшее, но телесное вещество, но влагу, что струится в жилах твоих, — как это переменить и куда от этого деться?.. Но слушал дальше, не успев своим умершим попенять:

*Привандрував я до міста Козина,
Аж там школа пирогами накривана.
А почав дощ на мене сметяний іти,
А я, неборак, почав рот підкладати.
Аж зараз почав іти і пироговий град,
І тій пригоді барзо був рад.
Там-то, панове, місто снігу бринза, як сніг, з міха ся сиплеть,
А з-межи неї масло плястрами ся ринеть.
Там-то доми з самих сал муровані,
А лоєм, замість вапна, шмаровані,
Книшами, пирогами побиті,
А паляницями зверху накриті.
Двері з полтів, а ковбаси до неї заціпки,
А вмісто колодок — пшеничнії галушки.
Там душа моя прагне, там я іти маю,*

*Допоможи, Боже, о що я гадаю,
Бо ви, господи́ньки, на нас не барзо ласкаві.
Не даєте нам хліба, ані жадної страви.
Але ви, панове мужеве, ліпший на нас респект майте,
Коли прийде нищий, хліба і страви давайте...*

Когда русин закончил свой вой, старосте зачесалось вынуть пару шелягов и положить в ладонь миркачу, но он не стал, разумеется, этого делать, ибо мог иначе ему отплатить, и сказал:

«Добро. После этого, значит, посполитые одаривают хлебом тебя?»

«Так, пан превелебный».

«И чарку, бывает, подносят?»

«И чарку», — ответил русин.

«Так как, бишь, имя твое?»

«Козацкий сын Арсенко Осьмачка».

«Добро, Арсенко, добро... — раздумчиво молвил староста Струсь. — Занимательно, да, кныши, пироги... Других интересов нет в вашей бурсе? Богословие, святые отцы...»

«Та все есть, мосцепану, и отцы святые, и все прочее, но токмо бурсак всегда голоден по неизвестным причинам, и тому аки бродячий пес посему возвращается на блевотину свою: на кныши и пампушки, — пробачте за цитату из Святого письма...»

«Одно только плохо: сложено это по-русски...»

«Так что же в этом плохого, пан превелебный? Маем великий и от древности знатный язык, на коем летописцы первые летописи на киевских кручах писали и коим славные русские войны меж собой говорили...»

«Говорили! Писали! — нахмурился староста Струсь. — Это было давно, — и язык ваш вполне особачился с той поры, как, впрочем, и вы сами, русины! Ни вам, ни вашему поддому языку не наследовать будущины наступных веков!»

«Przepraszą pana, но вольно ли нам ведать о сем?» — тихо сказал Арсенко.

«Молчи, psia krew! — рассердился на это староста Струсь. — Разве не знаешь, как ваше русское панство теперь католичится и цурается разговаривать на своем языке? Через одно-два поколения изглажена будет ваша речь из мира сего!»

«Да, пан превелебный, все то ведомо мне... Но горя в том мало, что панство наше природное выкрещивается в ляхов, — ибо народ остается все таким же безмерным, несчитанным и великим, — и от того, что горстка верхних наших панов наносит вред своим душам, народ не убудет, но токмо очистится и укрепится... Да что говорить...»

«Да, лучше уж замолчи. Закончим бессмысленный разговор, — ведь не для того я призвал тебя и не для того дал тебе кусок хлеба, корчагу воды и притулок под лестницей. Дело тут вот в чем: жизнь моя почти что закончилась, и много чего было в ней. Не счесть малых войн, обороны кордонов здесь полуденных от турка-татарина, вот град какой мною управляем многие годы — столица Подолья, ратушу выстроил я во славу державы нашей, — тем горжусь я по праву...»

Бурсак слушал молча.

«Но вот в чем некая странность, — продолжал пан Ежи-Юрась, — может быть, уже нечто возрастное настигло меня — какое-то странное чувство вроде печали, не знаю, как и сказать, — чувство, что все преходяще, конечно, уходит водою в песок, — все, что ни делал — даже ратуша эта, — все бrenно и все будет забыто... Что можно, потвоему, этому противопоставить?..»

«Ну, может, еще одну ратушу вам возвести, пан Ежи-Юрась, или церковь поставить в честь покровителя вашего Георгия Победоносца?..»

«Все не то... — сказал староста. — Вспомнил я тут о Троянской войне. Ну вот кто бы ведал о ней, — и где эта Троя? — если бы не Гомер и не дар глагола его, воплощенный в гексаметре и сохранивший память о том? Вот, кажется мне, что потребно для того, чтобы упорядочить время, прошедшее, но все еще тлеющее углями, в нечто стройное и завершенное. Но если промедлить, то эти угли погаснут, остынут и рассыплются в прах. Память людская подобна пару, росе, которая высыхает с первыми лучами рассвета нового дня. Разумеешь ли, что мне от тебя нужно?»

«Догадываюсь, пан Ежи-Юрась. Я мог бы попробовать нечто такое соорудить... Но мне для того потребуется тихий угол, теплая печка и время какое-то жизни, — ну хотя бы перезимовать здесь под вашим многомудрым водительством и покоем, — ну и самое главное, без чего не начать, не продолжить и не закончить, — какая-то крохотка о вас, вашем роде, ваших предках, воссиявших благородством и справедливостью на наших всходних креслах Руси-Украины...»

«Все это будет тебе. Ну а пока ступай на кухню, там тебя кашей накормят. А потом, дней через несколько, призову тебя и дашь ответ, что ты придумал: шо оно и как».

Но у миркача не ладилось ничего: ел даром кашу, жег лучину ночами, корябал что-то

в письмовнике, а когда староста Струсь вновь призвал его пред ясны очи свои, он тупо молчал, уставившись в пол. Пану Ежи-Юрасю показалось, что понапрасну он призвал этого бурсака к столь важному делу и открыл ему потаенные схроны души. Следовало ему, по всей видимости, не ожидать озарения от чужака, а самому определить некое русло овеществленного памятования, — и тут вспомнил он, как в молодости читал «Энеиду», и подумал: а чем это не канва повествования? И сказал:

«Раз ты так неповоротлив в разумении и можешь слагать виршованную брыдню только про колбасу, то вот что скажу: ты же в бурсе киевской «Энеиду» читал, так что тут думать особо: пиши со старанием по лекалу тому, и когда завершишь труд, то может статься, что всяк сущий язык назовет тебя новым Вергилием...»

«Кто же будет в ней вместо Энея?»

«Я, — твердо сказал староста Струсь. — Ныне даю тебе еще три дня, — покажешь зачин...»

«*Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris...*»¹ — произнес Арсенко, задумчиво глядя в окно.

«Иди же», — сказал пан Ежи-Юрась.

Ныне же, призвав миркача через слуг, сидя в венецийском кресле с высоченной резной спинкой черного дерева, поигрывая в пальцах изысканным золотым ножичком, он не склонен был вдаваться в пустые разговоры с этим холопом, — миркач не стоил того. Староста знал, что ныне Арсенко ляжет под батоги и после покарания отправится в несколькодневное заточение под ратушу городскую — на хлеб и на воду. Ну а как еще стяжать вдохновения муз, если не так? Глядя в его бледное молодое лицо с легкими тенями под потускневшими глазами, староста думал о том, что прикажет поставить ему в подземелье стол с горкой грубой бумаги, на которой ведутся памятные записи в Книге гродской брацлавской, каламарь и бутылка чернила *atramentum*, для письма потребного, а также пук лучины и поставец, дабы мог сочинительствовать... Пусть думает и старается, пусть... Мешать ему не будет никто, кроме крыс...

И сказал:

«Ну, чем порадуешь?..»

«Нечем мне радовать, — тихо ответил Арсенко. — Не забыта *Vulgata*², но пуста к сему голова, — и отнято слово... *Przepraszam* пана...»

«Ты сколько дней уже жрал за оба уха мой хлеб? — сказал староста Струсь. — Пил мой узвар³. И тебе нечего сказать господарю своему?..»

«Един Господарь у меня», — отвечивал Арсенко, будто не видя, как лицо старосты багровеет от гнева.

«Нет, — просычал пан Ежи-Юрась, — ты мало жил еще в этом мире, собака, *psia krew*, — брошенный золотой ножичек тускло звякнул на стол и следом о столешницу грянул старостин кулак. — Последний раз вопрошаю тебя: будешь ли радовать господаря своего и сиропитателя или с жизнью простишься навеки?!»

«Буду», — помертвевшими губами прошелестел Арсенко.

«Ну-у?..» — нукнул староста грозно.

«Я... я...» — мямлил Арсенко.

«Что, растерял дар свой никчемный, лайдак?!.. Что разъяркался? Радуй, засранец, старосту своего!..»

«Я название к «Энеиде» рекомой придумал...» — справился с собою Арсенко.

«Что же молчал до сих пор? Каково же название то?..»

«Струсиада...» — ответил русин.

Признаться, пан Ежи-Юрась не знал, как ему быть — покарать ли хлопчака батогами вдвойне либо, напротив, нацедить ему чарку выборовой за разум. Староста хмыкнул и снова взялся за ножичек свой, помолчал какое-то время, крякнул и сказал как бы себе самому:

«Конечно, пока что слух несколько утруждает, — но это, как разумею, от беспривычки... Ухо притерпит, и, верно, будет даже неплохо весьма... Стр... Стр... Как ты, братец, сказал?..»

«Струсиада, мосце пане...»

«Н-да.. Ну, да быть по сему, — как ты хотел, так и назвал, — не могу стеснять волю творца-демиурга...»

В душе старосты затеплилось нечто светлое и забытое за давностью дней, очень острое, терпкое и вместе с тем благоуханное, — он весьма удивился не столько этому ласковому теплу, осветившему закрубелую в многообразных заботах по старостству душу его, сколько тому, что тепло это оказалось знакомо ему, и было, — да, было в

¹ «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои...» (лат.) — начало «Энеиды» Вергилия.

² *Vulgata* (*вульгата*) — бытовая латинская речь и письмо, употребляющиеся до сих пор.

³ Узвар — компот, фруктовое сладкое вариво.

нем некогда, — и мгновенно из некоей пустой бездны его встало ослепительное и невероятное нечто, — а он и забыл, поди ж ты, — выпавшее на его долю столь давно и беспмятно, и отсюда, из этого тусклого осеннего дня, исполненного заботами и бессмысленными словами, казалось разве что розовым сном раннего детства, — и зашлось сладкой горечью в груди у него: о, каков был тот обещанный бессловесно дар-подношение в благоуханном теле девичьем... Господи... И это ведь тоже — было под небом Твоим... Было... И больше нет... Все завершилось, не успев и начаться... Когда же?... Когда?..

Он прикрыл на мгновение глаза, сиюсья удержать и продлить восстающий в нем свет из тайных схронов-вместилищ памяти, — и запахи, и шелест желто-красной листвы под подошвами, когда они шли по осеннему старому парку, и он, такой молодой еще возрастом пан Ежи-Юрась, только что получивший из рук короля Стефана Батория универсал на брацлавское старство, — он, так открытый любви и томлению, метафизически исходящему от женской неземной красоты, юности и чистоты, — и она, юная дочь пана Лешека Свентожицкого, приехавшая вместе с отцом по давнему делу на судовые рочки, — и нечто тайное и не произнесенное словом, но обещанное взглядом больших серых глаз, легким жестом тонкой, полупрозрачной руки, — и он сказал ей тогда только то, что и было в пору сказать этому ангелу в виде безукоризненной в своем совершенстве дочери благородного польского рода:

«Пани Кристина, эту аллею я назову вашим именем...»

И она посмотрела в его глаза своим серым пронзительным взглядом, словно пронизывая в сокровенную суть его сердца, и слегка — уголками губ — ему улыбнулась...

Боже мой... Господи...

Да я ли тогда был в том старом парке? Со мной ли это было? Со мной?.. Но куда же я потом делся? И она? И светлый день осени той великой и славной, польской эпохи короля Стефана?..

Староста вяло махнул Арсенку рукой уходить и остаточко слышал, как тот запнулся еще, прикрыл осторожно высокую дверь и потопал по сходам вниз в людскую, — а в нем, затопляемая теплыми, невесть откуда взявшимися слезами, горела малиновым пламенем его странная, внезапно пришедшая и ныне позабытая за давностью человечья любовь, и он смог только спросить это видение: где ты была? Почто оставила меня на все эти долгие годы?.. Отчего ни разу не напомнила о себе, — может быть, я и прожил бы жизнь свою по-другому...

Звякнул выпавший из пальцев ножик, — здесь и сейчас, — но староста видел в глубине своей памяти ту давнюю осень, время давнишних рочек, золотой месяц октябрий-razdziernik, по-русински же жовтень... Такой, как и ныне... Что изменилось под извечным этим небом?.. Умерли многие... Но это ведь неизбежно... Умер Стефан-король... Выросла до небес ратуша средь Брацлава, — и сам он превратился в почти старика... Умерла и она, пани Кристина, — самая первая утрата его на брацлавской земле, — дар ему, подношение от краткого милосердия судьбы...

И он снова увидел — в памяти, но как бы въяве и вживе, — как к его резиденции в замке статечно идет старый пан Свентожицкий в сопровождении двух рослых красавцев-гайдуков, вооруженных богато украшенными саблями и с пистолетами за кушаками, — вот протянуть бы руку из этого дня в свою память и все изменить, кликнуть жолнеров иль шляхтичей, кто тут рядом находится по делам, да спутать тех молодцов, — и, может быть, жизнь сложилась бы как-то иначе, совсем по-другому, — ведь один легкий как пух палый листок преклоняет весы жизни в обратную сторону, изменяет ток predetermined бытия, — но как это сделать сейчас? — староста лишь горестно усмехнулся в усы. — Или: как это было сделать — тогда?.. — и рядом со старым паном Лешеком шла в призрачном, золотистом сиянии его дочь Кристина, польская девушка удивительной, пронзительной красоты...

Помянув то истекшее и сгинувшее жизнь тому прочь сияние, исходившее от пани Кристины, он вспомнил и то, каким невероятным солнечным светом был залит Брацлав той осенью, словно природа в предзимье напрягла остатний раз свои силы и раскрылась во всей своей сокрушительной красоте, чтобы каждый, живущий здесь или проезжающий брацлавской землей по нужде, запомнил этот день навсегда. И глядя на них, пересекающих радный майдан, идущих к нему с насущным и столь важным делом своим, тот молодой староста Струсь, только что водворившийся на городском уряде, ощутил, как под ложечкой у него что-то защемило — сладко, истомно заныло, и он, на миг показалось, был близок нечто понять, столь важное, насущное, основное, что приоткрывается на краткий миг снисходящей откуда-то благодати... Ныне рассеялось все, избыло и вовсе забыто. Остался лишь след, который и не определить словом земным, человеческим... Что-то говорил ему старый пан Свентожицкий — будто бы рыба безмолвно отверзала полупрозрачные губы, — пан Ежи-Юрась только кивал чему-то, поминутно одергивая разноцветный камзол и теребя в раздумье о своем

конец русого уса, — молодая и горячая кровь в голове гудела набатно, призывно, — и он старался не смотреть в сторону пани Кристины, лишь краешком зрения захватывая полуoval ее розового лица, на котором дрожали тени и отсветы колеблемой ветром листвы, — что-то о поле, о пустоши, — да-да, я внимательно слушаю вас, досточтимый пан Лешек, — да, вот рекомендую вам, мосце пане, свою дочь Кристину — *piekna dziewczyna, ladna kobieta*¹ — на выданье и на загляденье, не так ли? Сам не устаю любоваться этой трояндой... Да не за кого отдавать сей перл вселенной: захудалость одна позосталась в наших краях после Московской войны — столько молодежи полегло под Смоленском, — и нет уже рыцарей, нет... — и снова пан Свентожицкий вел свое о пустоши или о чем там еще, а пан Ежи-Юрась видел краешком глаза только ее, пани Кристину, и она тоже смотрела на молодого брацлавского старосту — и мягко улыбнулась ему неожиданно... Может, вы последний рыцарь на подольской земле... Было ли сказано так? — староста теперь уже вспомнить не мог.

Рочки шумели в тот месяц октябрий-*październik* долго и щедро — пенное пиво и поставные меды лились широкой рекой, ибо, сдается, то выпало первое мирное время, когда войны и свары до срока утихли, — и пан Ежи-Юрась гулял с юной пани Кристиной по старому парку, укрытому толстым ковром облетевшей листвы, и бережно целовал ее холодную руку в молчании и сокровенности предзимней поры... Она ничего не обещала ему, да он и не ждал от нее обещаний, — ибо что может обещать женщины-полька? — достаточно было того, что она позволяла ему быть рядом с ней.

«Мне не хочется возвращаться...» — только и сказала она, и только потом, много спустя староста Ежи-Юрась осознал трагическую глубину этих слов. Он снова и снова пытался вспомнить о том, чего все же хотел старый пан Лешек: какое-то поле, какая-то пустошь, без чего он не мыслил окончания своих дней, какие-то невысказанные, но подразумеваемые обещания. И пани Кристина, ослепившая его зрение, как свет открытого солнца, когда ничего уже не видишь, кроме красных кругов и пульсирующей крови в висках, — и ее голос... И прохладу ладони... Да, помнится, он отдал приказание составить какую-то грамоту на то поле — решение судебных рочек, делал отпечаток гродской печати в мягком теплом воске красного цвета... Да, поле, которое числилось за старым Цурковским... Боже мой, — думал пан Ежи-Юрась, лежа в пустой и гулкой ночи своего падения и позора, — ведь никого из них уже нет на земле, и я отраженно и призрачно вспоминаю, как пани Кристина пришла ко мне в глухой час полуночи — рочки уже завершились и шляхта разъезжалась на грунты своей и в поместья, — поутру уже в путь отправлялись и Свентожицкие, — и я со своей в дрожащей неверной руке провел ее наверх в вязкую и непроглядную темь спальных покоев, — и я помню легкий шелест тонкого шелка, когда ее платье упало к ее обнаженным длинным ногам, лунно просвечивающим в темноте, — и пространство вокруг немо и страшно молчало, кроилось на черные с блеском куски, в безмолвии расседающиеся от жаркого потустороннего пламени, — и я видел, не веря собственным глазам, столь совершенное тело ее, сминаемое волной судороги и страсти, — но ко мне ли? Или это столь присуще от века женскому естеству, что неважен партнер, не нужен адресат, — но неведомая и всевластная сила возгоняет женское предвечное к живительной влаге мужского семени, в достижении метафизической цели продления и продолжения жизни? И я вдыхал жасминовый запах ее гладкой молодой кожи, душистость и пряность волос и, казалось мне, видел ее расширенные зрачки, из которых смотрело на меня то, что было древнее нас вместе взятых и древнее земли... Свеча выпала из моих пальцев, стукнула об пол и погасла, кратко задымив фитильком, и я уже стоял перед ней на коленях, шепча ее имя, словно молитву, — она погрузила ладонь свою в мои волосы... Что со мной было? Как определить это? Потрясение? Да, — но такое, когда сдвигается все так, что моря становятся горами и горы опускаются на дно океана, — если допустить такую метафору. К полудню наступившего дня пошел первый снег новой зимы, — как в горячке припомнил староста Струсь, и не обыденные эти воспоминания вполне имели под собой объяснение: а чем еще было ему заниматься в каморке у пана Ковальчука, если только не вынимать из забытых вместилищ памяти эти сохлые листья того, чего давно уже не стало на свете, — и снег был мягким, сырм, отливающим забытой небесной голубизной. Свентожицкие уехали. Я оседал кобылу и припустился рысцей в пустое безмолвие сырого и голубоватого от снега пространства, развевая по ветру стоны, шепот и хмель ночи нашего обручения, — ибо чем еще была эта ночь? — с той поры никогда мне не хотелось жить так, как в тот день первого снега... Только под вечер я вернулся уже почти приуточенный к своему новому, преображенному пани Кристиной бытию, и на въезде в крепостные ворота вартовые жолнеры прокричали мне нечто жуткое и безумное, столь не вяжущееся с обретенной сегодня истиной, что я не понял сперва ничего, принял за глупую шутку и пригрозил

¹ Красивая девушка, прекрасная женщина (польск.).

шутникам тем нагаем, — и после кобыла несла меня по узким улочкам города, мягко постукивая копытами по снежному пуху, и вокруг меня снова замерла глухая и непробиваемая тишина, — я видел чьи-то смытые серые лица, чьи-то фигуры, повозки и фазтоны, — и когда кобыла вынесла меня на простор городского майдана, я увидел два тела на том самом месте, где ныне высится в небеса моя ратуша, прикрытые белой холстиной... Ратуша — стала памятным знаком пани Кристине...

Уже после стало известно, что те самые рослые красавцы-гайдуки из оршака старого Свентожицкого преступно ему изменили и, когда выехали они из Брацлава, в ближайшем лесу отняли драгоценные жизни у отца с дочерью, со всем тем, что было при них...

И теперь, близ кузни пана Ковальчука, в неожиданном воспоминании прежнего старосту утешало лишь то, что случилось это все в незапамятные уже времена, и все-таки забытая за током другой повседневной жизни пани Кристина мнилась теперь ему не настолько единственной, чтобы застыть пану Ежи-Юрасю в оцепенении боли и памяти. Он должен был выжить тогда, превозмочь и боль, и любовь, и утрату. Ну а как же еще? Ему предстояло жить и прожить еще долгую, долгую и многотрудную жизнь — и многое позабыть, через многое переступить, словно не бывшее. И он выжил и пережил. И, вероятно, почти что забыл, и, если бы не сегодняшняя беда, обрушившаяся на него, он, может быть, даже и не вспомнил бы тех давних, припавших пылью событий. Всю зиму до весенних ручьев и таяния снега он бродил во главе большого отряда жолнеров по окрестным степям и лесам в поисках тех гайдуков, — они сидели в засадах близ дорог, ночевали в охотничьих заимках окрестных панов, — усталые, обессиленные лошади по брюхо увязали в глубоких снегах той проклятой зимы, — он порол посполитых селян, которые, по его предположению, могли что-то знать об убийцах, сжег три селянские хаты по подозрению, что гайдуки в них ночевали, — он лютовал и не был милосердным, да, в нем много чего открылось для самого него неожиданного, — но безмерные просторы Подолья, Волыни и всей Руси-Украины накрепко скрыли от его жаждущей мести вооруженной руки тех двоих, рослых, статных, красивых русинов, навывших в убийстве и грабеже.

Все прошло, и все позабылось, — и ничего не поделаешь.

И только теперь, в этом пристальном воспоминании пан Ежи-Юрась задался простецким вопросом, который в смятении и гонитве той прошедшей зимы совсем затерялся в сумятице событий и острых, безотрадных ощущений и чувств: а куда делась та городская грамота на поле Цурковских? Она ведь исчезла со всем scarбом убитых тогда Свентожицких. И постановление о принадлежности поля так и не было приведено к исполнению.

Но это было уже давно неважно. Неважно... Все миновало...

Но об этом он вспомнил только сейчас, лишенный власти и нажитого добра, брошенный немилосердной судьбиной своей на смердящие мочой и окалиной тряпки пана Ковальчука, — вспомнил в сегодняшнем горе свое прошлое безмерное горе, потому что утешения в этих днях его и не могло быть ни на шеляг. Тогда же, когда он отпустил от себя в обжегшем душу воспоминании пивореза Арсенка, он заново переживал не смерть, а любовь, начало ее: шорох листьев, запах ладони ее, глубину серых глаз, тонкое одиночество осени, глубины молчания женщины... Что было в глубинах молчания оного? Какие тайны? Какие обетования? И было ли разве что-то? А может быть, и не было ничего — только обманчивая и многозначительная пустота? Бог весть... Теперь уже не ответить на это и ничего не понять. Но этого вполне было достаточно — ибо свет и тепло той истекшей поры повторились чудесно и одарили каким-то отраженным теплом его утомленную душу...

И вот тогда, отпустив рекомого виршеслагателя, с этим светом, с этим отраженным теплом, ища едва ли не романтического уединения и приемлемой окружающей красоты по достоинству воспоминания, он поднялся на городскую восточную стену и пошел по направлению к крепостной башне надвратной, рассеянно глядя в сизые дали, густо синеющие уже в часе предвечера, — но, конечно, смотрел он не в глубину окружающего пространства, но в свою душу, в растревоженную невесть чем память, в расчленение сгустка нахлынувших чувств, — разве он никогда не видел брацлавской округи? — шел мимо чугунных мортир и гармат, мимо пирамидок малых ядер, дыням подобных, мимо больших пустых казанов на треногах, — попался навстречу замерзший жолнер:

«Все спокойно, пан староста, без происшествий...»

Вокруг лежала бездыханно глухая зимняя тишина, окаймленная по окоему дымкой дальних туманов, — но удержать в себе пришлый и призрачный свет давнины было трудно, и он чувствовал, как душа исподволь развлекается внешним: замерзший жолнером на варте, видом зайненных ядер, тусклым отсветом массивного тулова головной брацлавской гарматы... Промельком подумал о чем-то мелко-хозяйственном,

— ну, это было природно, естественно, — он ведь державный шляхтич, — и слепящая точка света, которую он намеренно, дабы сохранить подольше в себе, унес из городских улиц сюда, на стылый ветер высоты крепостных стен, медленно рассеивалась в душе у него, теряя отчетливые свои очертания, расплываясь краями, — и когда-тошние запахи увядали, сворачивались пересохлыми листьями и рассыпались в прах и труху, и лицо женщины, прекрасное и далекое, как бы задерживалось бесцветной кисеей беспамяття и забвения, в коих он и прожил все эти годы. Он остановился близ башни, тронул шершавый, стылый камень ладонью и, прикрыв на мгновение веки, снова силился вспомнить то пронзительное и реальное из потаенного, свершившегося с ним в густой тьме той памятной ночи, где бликами нетварного света пребывали ее шепот, прикосновения к ее коже, — внешняя тьма была беспросветна, но ему казалось тогда, что у него еще больше потемнело в глазах, когда его губы прикоснулись к девичьей груди, — и не мог, не мог того всего воссоздать. Да и возможно ли все это еще раз? Возможно ли вступить в реку дважды — да еще спустя целую жизнь? Помнил в остаточном, как с тихим стуком упала свеча и, почадив сладким дымком, погас фитилек, — и ее длинные ноги, лунно просвечивающие в темноте, в груди смятого перламутрового шелка...

Староста горько вздохнул, прощаясь с отходящим видением, и подумал, что, должно быть, не случайно объял его этот призрачный свет давнины, — на ресницы навернулась капля слезы, — аллея ее незабвенного имени... Да, была и такая аллея... К годовщине смерти ее, в очередные судовые рочки он отдал приказ холопам своим вырубить эту аллею, — неизвестно зачем, теперь не понять, — а без нее и парк стал как бы неполноценным, чужим. Через десятилетие, которое днем единым промелькнуло мимо пана Ежи-Юрася, парк совершенно зарос диким мелколистным кустарником, а деревья позеленели стволами от мха и начали медленно гнить... Тогда и умер в Гродно король Стефан Багорий, и началась другая эпоха... Он провел ладонью по лицу, словно можно было стереть неотступное, и ладонь словно слышала морщины, усталость и старость лица, глубокие и не вытравимые следы, оставленные изжитым старостой временем.

Господи, — подумал, содрогаясь от внутренней муки или от холода, пан Ежи-Юрась, — почто Ты мучишь меня? Отпусти с миром, дай жить по-прежнему, исполняя верно и честно свой долг и не зная об этих вот безднах несбывшегося, памяти, отчаяния, одиночества... — и посмотрел в низкое дымное небо с надеждой, что Господь все же слышит его, и перекрестился, и пошел вокруг башни, охватывая взглядом белый простор, — и неожиданно увидел внизу, в некоем отдалении от стены расплывающееся в белизне, подобное раковой опухоли, большое пятно черного войска, в молчании и скрытой неистовой силе подходящее к его городу.

Господи, а это что такое?.. — староста застыл в изумлении совершенном, и билось испуганной птицей: — Откуда? Почто?.. И разве могли быть на это отчаянное какие-то ответы?

И тут пан Ежи-Юрась услышал скрип снега под копытами лошадей и под сапогами пеших козаков, бряцанье упряжи, негромкое постукивание сабельных ножен о некий металл, тихий шелест значков, бунчуков, — и разом увидел теперь близ возглавителя войска, который выделялся богатым кунтушем, белый с малиновым колером стяг, и боевые хорутви, и опять-таки бунчуки куреней... Сколько же их? Сердце будто упало в низ живота и в гортани образовалась некая мерзкая кислота, словно в рот ему сунули дуло мушкета, — неверной рукой он нащупал крыж сабли и оцеленело долго тащил ее прочь из ножен, — а черная и молчаливая череда запорожцев тем временем подошла к восточным вратам и остановилась.

Что-то сырое жалкое забулькало в горле у пана Ежи-Юрася, и, наконец обнажив драгоценную дамасскую полосу, он прошептал едва слышно:

«Жолнеры... К бою, жолнеры...»

Крупный станом и брюхом старый полковник с вислыми седыми усами, обряженный в нарядный кунтуш, взял у спутника пику и с силой воткнул ее в запертые крепостные ворота. Затем перначем трижды ударил в дубовые доски и прокричал, разодрав и разрушив хрустальную снежную тишину синеющего предвечера:

«Именем короля Сигизмунда — открывайте!..»

Картина 7. ЗАХВАТ ГОРОДА И СВОЕВОЛИЕ КОЗАКОВ, БРАЦЛАВ, 1594

В рядах после сего засмеялись, и старосте враз полегчало: ну конечно же, они не во-евать город пришли, — да и мыслим ли бунт и сопротивление толикого числа навывкших в битвах людей? Верно, се новый поход на Волощину, как в июне прошедшего лета, когда вожди запорожцев, счастливо соединившись с посполитым рушеньем под начальством коронного гетмана Яна Замойского, преградили отход крымской орде из Волощины близ Карпатских отрогов, — и ныне опять польный гетман Жолкевский

нечто с козаками затевает, — да только старосту Струся Жолкевский за многой заботой своей забыл известить, бывает такое, — староста понимал все хорошо, уряд у польного гетмана куда как обширнее городского, — а Брацлав высит стены свои на самом кордоне дикой степи... Отсюда — недолгий путь в пределы волошского господаря... И эта оружная козачья орда — есть первое войско похода сего, — только вот забыл польный гетман оповестку прислать достоверную... — эти краткие и недоуменные размышления отчасти образумили и успокоили старосту, вдохнули ощущение некоего зыбкого мира в душу его, но все же что-то противилось в нем этому ясному миротворному и державному строю, ибо, будучи человеком бывалым и государственным, ум его усматривал в изъясняемом самому себе в утешение некие несообразности... Так, первая из них была та, что польный гетман не известил нарочным его о передвижении по Подолью толикого количества оружных людей и о сборе их под Брацлавом — хорошо, если в волошский поход, а ежели нет?.. Как быть тогда? Другое: староста видел теперь уже со всею отчетливостью подтягивающиеся медленно из открытой степи козацкие возы, сцепленные особливим воинским табором, который представлял из себя готовую неприступную крепость, движимую мерно волами, приуготовленную к бою, к осаде и к другой войсковой хитрости польной. Но и этому можно было найти разумное объяснение: каждому подданному Речи Посполитой известно, что в походах запорожцы часто, но не всегда, разумеется, передвигаются подобным манером во избежание неожиданных нападений со стороны кого бы то ни было, — в таком хитроумном сооружении сотня козаков способна отразить нападение десятикратных сил крымских татар или пятикратных же сил отважных польских жолнеров.

Тем временем спешившиеся козаки уже принялись топорами трощить крепкие городские ворота, — староста видел, как на стене заметались сторожевые жолнеры, задымил зажженный фитиль, пушкарь опустил ядро в жерло гарматы и принялся забивать его пыжом; хлопнул одинокий выстрел мушкета, — внутри стен, в улицах, залиvisto зашлась лаем собака и вскоре большая толпа горожан устремилась к воротам. Пан Ежи-Юрась, совладав наконец-то с собою, подошел к борту внешней стены и подал владетельный голос:

«Кто такие, панове?..»

«А ты кто таков, старый хрыч?! — крикнул ответно полковник в дорогом кунтуше. — Уж не староста ль Струсь?»

«Да, это я. И потому приказываю отойти на десять шагов от ворот и прекратить долбать топорами. Известите: кто вы и что, зачем пришли к городу нашему?.. В случае неповиновения мы открываем огонь...»

«Молодец, староста, — добре королевскую службу несешь, — так и передам светлейшему королю при нагоде о тебе, что стоишь днем и ночью на стенах, как поганский кумир, — но правильно, так и надо, бо неровен час беды на богохранимый твой град!..»

Красавец-огирь, племенной жеребец из табунов низовых, норовисто крутился под могучим полковником, и тот осаживал его, задирая поводьями голову.

«Давай-ко, пан староста, прикажи воякам своим открыть ворота по-доброму, — мы приустила в пути и голодные вельми, сам ведь знаешь, каково это нашему брату, ибо родом ты наш и памятен дед твой Якуб, удачливый воин на Кошу Низовом, — знаешь, что нет под солнцем ничего злей голодного козака, — так что не доводи до греха!»

Староста Струсь был весьма удивлен поминанием деда и рода его, — сколько же должно пройти еще лет, чтобы все это темное прошлое забыто стало под этими хмурыми небесами? — но чел ниже достоинства своего говорить о том с неизвестным полковником из степей — и сказал о другом:

«С чем пожаловали, панове козаки?»

Спросил так все-таки неожиданно для себя, ибо прежде хотел пригрозить полковнику огнепальной стрельбой из ручниц, ибо козаки все продолжали трощить городские врата, невзирая на его приказание-просьбу.

На ратуше одиноко бомкнул колокол, словно звонарь, видя перекликающегося с козаками старосту, в замешательстве не решился бить в заполошный набат.

«Да что ты, полковник, с ним водишь балачки? — воткнулся другой козачина в оксамитовом алом колером жупане, отороченном по груди черным собольим мехом и блестящим серебряным галуном. — Так и состариться можно прежде всех век, — дозвожь, батьку, сбить его, яко толстую птаху с-под небеси!»

И выхватил молниеносно из притороченного к луке татарского колчана оперенную черным пухом стрелу, — единым движением сбросил с плеча драгоценный лук, крытый тонкими серебряными пластинами. Староста инстинктивно присел за зубцом. Но полковник удержал скорую руку расправщика и сказал ему так, что и староста расслышал произнесенное:

«Негоже, хлопче, зачинать доброе дело со смертоубийства доброго королевского старосты, — вот я и в Варшаве днесь слышал о нем от польного гетмана пана Жолкевского...»

Староста выглянул из-за стены:

«Шо, пан с Варшавы приехал?..»

«Так, — ответил полковник, — два месяца сподобился пребывать в ожидании ответа на гетманский лист, — насмотрелся там при дворе и наслушался всякого, — часу на се было довольно, — а ты, пан староста, давненько, видать, не покидал своего боохранимого града?..»

«Prosze, пане полковник, — сказал примирительно староста Струсь, — но с кем имею честь розговлять?»

«Запорожского вольнолюбивого рыцарства миргородский полковник и атаман Григорий Лобода, не далее, как еще третьего дня полномочный гонец-листоноша новоизбранного козацкого гетмана Павла Наливайка, ваша мосць!»

«Однако, пан полковник, — твердо сказал пан Ежи-Юрась, — прикажите вашим молодцам не рубить ворота мои, ибо вынужден буду смирить своевольство огнем и мечом!»

«Хорошо, — ответил полковник, уже насилу удерживая своего жеребца, — но и вы, пан староста, велите рабам своим открыть ныне врата, дабы рыцари наши заслуженно вошли в град сей, аки праведники в Новый Иерусалим!»

«Могу ли я видеть вашего гетмана?»

«Конечно, — но токмо в подобающей званию его обстановке, — за корчагой пенного пива, за смажениной, за соленным кавуном — по обычаю нашему... Эй, герои, — крикнул он в сторону, — оставьте до сроку врата эти чертовы!.. Ну, пан староста, чаем гостеприимства!»

Староста Струсь не успел ничего ответить ему, как увидел боковым своим зрением бегущего к нему по стене в черных развевающихся одеяниях протопресвитера Василия Великого чина подпанка Хайла, еще в отдалении начавшего запретительно размахивать руками, — жесты его были подобны взмахам воронова крыла из-за широких рукавов теплой зимней рясы, — серебряный крест бился и мотался на его высокой, как у женщины, груди, едва не забалтываясь в движении за спину. Глаза его расширились от смертельного ужаса и вылезли под самые коричневые кудри, успевшие отрасти за время пребывания в городе, посинелые щеки от бега тряслись, в уголке перекошенного бескровного рта поблескивала запекшаяся слюна. Задыхаясь и хекая, он обдал старосту могучим духом накануне съеденного борща, запитого доброй склянкой горилки, и, закатив под лоб глаза, как во время проповеди о первенстве римского первосвященника, и держась утомленной рукой за свою отвислую женскую грудь, силпо выхрипел:

«Ни за что!.. Ни за что!.. Ни на какие посулы их... не поддавайтесь, пан староста... Стоять до последнего — это благословение, это приказ... Отдать жизнь за короля и за папу Климента!.. — и шумно рухнул на колени пред старостой: — Езус-Мария! Спаси-сохрани от нашествия супостатов!..»

Староста брезгливо отступил от него:

«Я — не Езус-Мария, перепрошую пана попа!»

«Да я и не к вам, пан Струсь, молитву сию возношу! — раздраженно воскликнул Хайло, и глаза его колюче блеснули, и сказал то, чему научен был от иезуитов брацлавских: — Аще впустите сих слуг антихриста в город — мы вас от святого костела отлучим!»

Староста только скрипнул зубами и ненавидяще произнес:

«Достопочтенный подпанок Хайло, или как вас там в кабаке прозвали наши мещане, — ты сюда прибежал весь в репьях на голой жопе и в железном ошейнике только летом прошедшим, — а я в городе сем старостую всю свою жизнь, — и не позволю мурлу вашему преподобному-пьяному так со мной изьясняться!»

Он поднял десницу с обнаженной домахой и лезом плашмя врезал Хайлу по башке, — подпанок со всхлипом распростерся у его ног, жидкие его волосенки намокали багровым. Когда в голове у него отзвенело, он встал на карачки и, озираясь время от времени на старосту Струся, по-свинячьи побежал к лестнице со стены. Уже спустившись на несколько ступеней, остановился, — староста видел одну только разбитую его голову, — и прокричал:

«Ныне же! Ныне же и на вашу главу опустит Господь карающую свою длань! — и то есть — пророчество страшное! А мы уж постараемся, дабы кару вашу усугубить, пан староста!»

И затопал вниз, в город, гудящий растревоженным ульем.

Староста вновь подошел к борту внешней стены и не поверил увиденному: в распахнутые настежь ворота, как в весенний водоворот на стрежне реки, всасывалось

доселе стоявшее в ожидании козацкое войско, и полковника, с коим доселе он разговаривал, смыло этой паводковой водой. Пока он разбирался с Хайлом, внизу что-то непонятное произошло, и пан Ежи-Юрась отчетливо вдруг осознал, что его безжалостно обманули. Он крикнул жолнерам:

«Приготовиться к бою! Фитиль — зажи-гай!..»

Но по сходам у сторожевой башни стучали уже стуком особым подкованные железными скобами чоботки запорожцев. Снова, словно в тумане густом, еле слышно, бомкнул ратушный колокол и затих, никем не услышанный, кроме старосты, — и снизу, из лестничного проема первым опять-таки выскочил бутылочной пробкой перепуганный насмерть подпанок Хайло, — спустившись до половины сходов, он увидел в подножье стены спешивающихся с огирей козаков и снова, подоткнув свою драгоценную рясу, подбитую мехом, ринулся наверх, к старосте Струсю.

«Пан староста! Пан староста!..» — белькотел он, размахивая по-вороньи своими широкими рукавами, — за спиной его слышался топот множества ног, — и едва расхристанная фигура Хайла уметнулась куда-то за старосту в сторону — пан Ежи-Юрась увидел козаков.

Глаза первого, поднявшегося на крепостную стену, словно вплотную приблизились к старосте и заглянули в душу его, но, видать, пуста и уныла была душа у него, обряженного в парчовый камзол со свисающими собольими хвостами, и серые, беспощадные глаза козака метнулись за старосту в сторону, вверх, и когда за ним выросли фигуры других козаков, он кратко приказал нечто им, и те разбежались по сторонам.

«К бою...» — едва слышно выдохнул староста и краем глаза заметил, как полетел за стену, в снег, чадящий фитиль от гарматы, вырванный из рук пушкаря. Козак, отобравший фитиль, не обнажил даже сабли — развернулся на корпус и двинул пушкаря по зубам. Тот снопом рухнул к ногам козака.

Вояки, cholera jasna... — устало, почти без раздражения подумал пан Ежи-Юрась и все смотрел в холодные и шальные отчаянием глаза первого гультая, который, не отрывая пристального взгляда от старосты, сказал так, что все слышали:

«Всем стоять на местах! Кто стоять не желает — прыгай за стену!»

Пан Ежи-Юрась слышал стук ручниц, алебард и отстегнутых ножен, — жолнеры разоружались и складывали оружие в кучу, — и тяжелая, страшная, запоздалая догадка разрасталась в мозгу, но он силился ее удержать, не дать ей созреть и обрушиться на его смятенное естество, ибо погибель была бы тогда неминуема, и блеклая, слабая мысль о том, что козаки пришли все-таки в город его с миром, а не с войной, медленно угасала в восстающем прозрении.

Козак ступил к старосте:

«А ты чего не сдаешься по-доброму, старый пенек?!.. Или хочешь погибнуть в бою, чтобы слава осталась о смерти твоей в хрониках исторических? — так это мы быстро исполним!»

В ладном, ловком движении он молниеносно преодолел пространство, их разделявшее, и староста успел различить только краткий, призрачный блеск лезвия сабли его, услышал, почувствовал шорох разорванного воздуха над своей головой, — тень смерти коснулась его черным крылом, вздыбливая волосы, — и староста, на мгновение утративший способность к пониманию происходящего, увидел свою соболью шапку, мягко разваливающуюся в полете на две половины и падающую к заиненным ядрам. Голова его как-то сразу замерзла и произвольно втянулась в плечи, и он понял, что ничего изменить он не в силах уже.

Город он сдал — позорно, постыдно — без единого выстрела, без единого удара домами по вражескому мягкому телу. И пушки его на стенах были немые...

Дрожащая рука сама по себе уже подняла острие сабли к ножнам, — но сабля отчего-то не лезла в жилище свое — то ли в некоем перекосе застряла, то ли боевой металл мистически взывал к звону ударов, борьбе и победе, — а он смотрел в близкие, холодные и шальные глаза козака и понял вдруг, будто кто-то подсказал ему со стороны, что это — глаза мертвеца... Оттого и нет в них ничего, кроме холода и отчаяния пустоты, — да-да, забились, затеплилось в старосте миготливым и неверным огоньком, — конечно, этот козак, считай, почти мертв, ибо вольно избрал для себя эту судьбину и знает о смерти своей так же отчетливо, как и староста, — ибо кто они есть и долгие ли пути будут их по земле великой и нерушимой в веках Речи Посполитой?..

«Нет, — сказал козак, — ты брось саблю свою — на посмешище всем, ибо недостин ты еси оружия своего...»

Но староста упрямо пихал саблю в ножны. Справившись наконец-то, он пригладил ладонью усы и приосанился:

«Слушаю вас, панове козаки!»

Брови козака удивленно приподнялись, затем он прищурился и сказал:

«Дозволь, пан без имени доброго, нашему Омельку дурковатому твой кафтан поносить!»

Свистнул, взмахнул рукою и тяжелые руки опустились сзади на плечи пана Ежи-Юрася. Посыпались, запрыгали по камню подножному мелкие серебряные пуговицы, затрещала, расплзаясь по швам, парча, сдираемая со старосты, взметнулись в остатний раз собольи охвостья, нежно коснувшись мягкостью меха отерпнувших щек. Он стоял молча, набычившись, уже вполне совладав со своим естеством. Так тому быть... Быть — до поры... Только бы остаться в живых, — и в свой срок — а срок этот придет неминуемо — он так же сдерет кожу с этого козака, с этого мелкого атамана разбойников на брацлавской стене. И с других — со всех правых и виноватых — сколько их выпадет еще до конца его жизни.

И сказал:

«Отведите меня к гетману вашему, добродии, — хочу с ним говорить».

«Кто ты такой, чтобы гетмана нашего видеть? — спросил сквозь зубы козак. — А ну-мо, Омелько, сбрось его со стены!..»

Мироколица в глазах старосты перевернулась вверх тормашками, ноги беспомощно засучили в пустоте, заголившимся брюхом он ощутил режущую, давящую боль, — держа за ноги и слегка приспустив, его свесили вниз головой над Брацлавом, — и заплывающими тяжелой кровью глазами он видел свой город, будто нависший над ним тяжелой каменной глыбой, — его островерхие крыши и дымари, курящиеся мирно дымками в прикровенном свете предвечера, белокаменную красавицу-ратушу, толпы мешчан, посполитых, верховых козаков, несущихся по узким улочкам, слышал среди разрозненных звуков одинокий и безотрадный звон сражающегося где-то в переулке оружия — кто-то из шляхтичей все-таки обнажил свою саблю, отстаивая доброе имя, добрую честь для потомков... — староста видел в этом черно-белом небе города и земли все родное, милое сердцу, любимое, и прощался, шевели вывалившимся из рта языком.

«Ну шо, атаманы, — услышал он сверху вопросительный глас, — хай летит к бесу в обоймы?.. Бо важкий, кабанюка!»

«Хай еще повисит, — отвечено было ему, — а ты, дурень, не трать свои силы: возьми мотузок и пришпандерь защитника этого к пушке — и кто кого перетянет, — хай испытает судьбу!..»

Вязали пана Ежи-Юрася, бросив на бок под крепостной борт, — он отошел головою немного, пока козарлюги искали веревку и путали петлей и узлом ее на его голенях. Руки и ноги дрожали у старосты, — он пытался что-то сказать этим гогочущим дикарям, но язык, прикушенный крепко зубами, когда затаскивали обратно на стену, был нем и недвижим. Туман, звон и кровавая пелена немного рассеялись, и он увидел в некотором отдалении заваленного на спину и истошно визжащего подпанка Хайла, сучившего тонкими ножками в путях широкополого поповского одеяния.

«Сдирайте теплую рясу с него, — слышал он голоса, — подарим панотцу Стефану, шоб не замерз!..»

«Та панотец Стефан не наденет на себя такового — после этого чиряка. Только если в печке спалить...»

Староста так и не уразумел, что козаки делали униату, что тот так брыкался и визжал. Может быть, обрезание некое или нечто подобное?.. Станется с них. И не такое удумают. Затем в подпанковом писке и вереске он различил свое имя, и до него постепенно дошло, что подпанок, показывая козакам свою разбитую голову, жалуется на него... Голова прояснилась уже окончательно, и звуки, смысл изнесенного складывались в осмысленные слова, которые Хайло в животном страхе орал козакам:

«Панове! Освободители от тирании! Дорогие наши козаки! Мы ж так вас ждали-чекали с мешчанами града сего! Я ж лез на стену сию, абы главного угнобителя сего, рекового старостой Струсем, скинуть униз, дабы мозок его, кой мучительства и тортуры для бедных нас выдумал, разлетелся шматками на посполитых тынах! Дабы сполнить Давидом некогда прореченное: *Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень...* Ось-о — он вдарил саблюкой мене!.. Ось-о, подивитесь, панове козаки, спасители душ и телес наших! То я, здешний православный святитель, приказал одчинить вам ворота фортеции сей!.. То я — пострадал разом с народом русинским моим!.. Пощадите и отпустите в поле мене!..»

«Раз ты герой и помощник нашего правого дела, — сказал атаман, — что же тебе в поле идти? Нет, — мы тебя чествовать будем, преосвященнейшим владыкой тебя называть, ручки святые твои целовать и благословение на наши дела благородные от тебя получать. И раны твои, понесенные от сего, тебе же подобного борова, гетману нашему предьявим, — может статься, и наградит тебя не только веревкой на шею...»

«Не надобно мне наград никаких, — кричал униат, — по смиренню моему не надобно! И язвы мои наисветлейшему гетману без надобности, — недостоин аз чести

такой, — вы в поле отпустите меня, — и се будет наградой мне лучшей!»

«Недаром, вижу, в поле ты просишься, — сказал атаман, — а ну-мо, хлопцы, вяжите и этого толстого, чтобы не убежал по дороге, и препроводите к полковнику Лободе, — хай разберется: не признает ли кто здесь этого рыла свиного?»

Отчаянно вопящего Хайла перевернули на брюхо и связали запястья веревкой. Это было последним уже, что увидел здесь староста Струсь, — Омелько-дурковатый, как называли козаки дюжего детинушку, мучителя старосты, окончив путать лядвия пана Ежи-Юрася вервием, ухватил его поперек тулова и бросил за стену. Пану Ежи-Юрасю на мгновение показалось, что ноги его вышли из суставов своих, — и боль от удара, хлестнувшая плетью, завесила свет и позор этого дня черным и непроницаемым пологом.

Он не знал, сколько продолжалось беспмятье, — очнувшись как бы в чистилище по вере своей, староста обнаружил себя в глубоком сугробе в одной полотняной исподней рубахе, — тело его было обобрано и осквернено: драгоценные перстни были с кожей содраны с пальцев, а на рубахе желтела корка прихваченной морозом человеческой мочи. Пан Ежи-Юрась кое-как выбрался из сугроба, сотрясаемый крупной дрожью, и, в одних обмотках, ибо и сапоги с него стянули злочинцы, поковылял в ближний проулок. Все тело ныло тупой непрестанной болью, ступни не ощущали студеного жжения снега, в глазах было багрово, темно. К своему вящему удивлению староста обнаружил в душе своей странную тишину, — в нем будто угасли те разнообразные чувства и ощущения, сминавшие и тревожившие душу его на протяжении всего этого дня, — и хотя разум его понимал всю безмерность, бездонность падения, отчаяния и безысходности не было в нем. Да, думал староста, пробираясь вором вдоль чужих огорож, я остался живым — и это важнее власти и богатства сейчас. Были бы дни впереди, а власть мы обрящем и богатство тоже еще наживем, — все верну я сторицею, — только бы жить...

Пан Тадеуш Ковальчук приютил по добру и по памятованию прежних их дней пана Ежи-Юрася, ужаснувшись виду его и рассказу его о понесенных муках-тортурах. От него спустя невеликое время староста Струсь узнал, что малая часть шляхты успела выйти из города, — с ними ушли и его близкие — Марыся-жена и дочь Элжабета. По слухам, шляхетский обоз отправился в Винницу, под защиту Стефана Стемпковского, тамошнего каштеляна. Пан Тадеуш по велению опального старосты стал единственной ниточкой, что связывала пана Ежи-Юрася со внешним миром, в котором он уже был не властен ни в чем. Через него он и узнал, что козаки, выступившие против короля и существующего порядка вещей — за порушенную веру свою, потребовали от городской и окрестной шляхты брацлавской *стаций*, то есть лошадей для подвод, волов и коров для пропитания, — через пана Тадеуша староста отправил письмо к шляхте, собиравшейся в некоем отдалении на судовые рочки этого года, дабы отказали мятежникам в стациях, и просил прислать в город кого-нибудь из достойных панов, дабы словом совета отвратить мешан от козаков. Пан Ковальчук время спустя поведал томящемуся, аки Иов на гноище, пану Ежи-Юрасю, что, исполняя его пожелание, окрестная шляхта прислала в город пана Цурковского с ответом козакам и увещанием таковым: *мы не станем давать стации вам, чтобы нас не причли к вашим пособникам*. Но с самим паном Григором Цурковским старосте встретиться не удалось: посланец был схвачен козаками и заточен под ратушей.

Так и влек свои смутные дни староста Струсь в крохотной каморке у пана Тадеуша, провонявшей прогорклым духом перекаленного, жженого железа, близ кузни, под звонкий бой молотков и уханье молота, — жил и дней не считал, ибо время без власти остановилось.

Не различая ночи и дня в предвечном мраке темницы, пан Цурковский не мог уже точно определить, когда спал он, а когда бодрствовал, напряженно всматриваясь во тьму. Густая чернота отнюдь не была пустой и безвидной, подобной первозданному хаосу, описанному в первых главах библейской книги Бытия, — временами в ней воссоздавались очертания бледных, призрачных картин, виденных в детстве и забытых накрепко после, — и пан Цурковский пристально всматривался в пылающие по стени брочки, несущиеся на него, в размытые лица седоков — веселые, беззвучно смеющиеся, — и узнавал в содрогании свою мать, молодую и стройную, шляхетно статечную, и себя у нее на руках, закутанного во что-то серое и мохнатое, видел и узнавал лик отца своего, тоже молодого, задорного, правящего горячими гнедыми лошадьми на кучерском седалище-месте. Рядом в этом беззвучном гоне из прошлого скакали верхом по обоим сторонам русские гайдуки Грицько и Левко, — он помнил даже их имена, — перешедшие вскоре на сторону царя Ивана IV в Московской войне короля Стефана Батория. Но куда и зачем скакали они в этом видении?.. Когда тьма

опять затопляла темничный мешок, он понимал, смутно чувствовал, что виденное в сокровенной сути своей есть зов, — или знак, — обращенный к нему из не знаемой запредельности, но осознать это в полных мере и смысле не мог. Сидел, сторбившись на клочке гнилой соломы, в углу смердела бадья с извергаемым содержимым его никчемного тела, — он был почти безучастен ко всему, что происходило наверху, в захваченном козаками Брацлаве, — да он и не знал ни о чем, но, вероятно, ему было бы лучше и проще, если бы козаки, бросившие его под ратушу, сотрясли перед тем его голову так, чтобы не думать ему ни о чем и не видеть этих безмолвных, бледных призраков из его прошлого, — дожить бы до провала во смерть и в ничто, подобно жертвенному животному — чтобы ничего не было нужно, кроме как *есть-пить-и-спать*, чтобы не думать, не знать, не предчувствовать, не любить и не ненавидеть, — ибо нет во всем этом никакого смысла уже, ибо впереди нет ничего, — а он все еще думает, знает, предчувствует, любит и ненавидит...

Открывалась однажды в день дверца, кованная паном Ковальчуком некогда во время строительства ратуши этой, и кто-то ставил пред ним оловянную миску с хлебкой, клал рядом ломоть черного хлеба, кружку воды. Пан Григор зажмурился от света и вошедшего не успевал рассмотреть. Да если бы и рассмотрел? Что с того? Они — чужаки, они уйдут из Брацлава так же, как и пришли, — этот город — просто пожива, одна из печальных остановок на их страшном и обреченном пути. Он ничего не говорил входящему с хлебом насущным, ни о чем не просил, ибо слышал голос крови своей, ровесницы Пястов, и кровь не давала ему встать вровень с ними и тем более ниже — *просящим* о чем-то. А о чем и просить? О второй миске похлебки? И, после ухода приходящего в подземелье, с неким болезненным сладострастием и нетерпением он ожидал, когда вновь соткнутся из непроглядного мрака эти бледные, ломкие сновидения или просто видения, — он так и не мог до конца определить их природу, — и размышлял о том, что же теперь суждено увидеть ему в глубине собственных памяти и души, — но в преднамеренном ожидании тьма становилась бесплодной и нерушимой, и только слышался где-то отдаленный пристук... Он помнил и знал этот особый, застрявший в памяти звук — так падали яблоки, крупные краснобокие яблоки на пересохшую без дождей землю хлебного месяца *sierpień*'я, — и звук этот тоже был родом из прошлого. Только не слышал он ныне ойков и плача сельских хлопчаков, его, считай, ровесников, не слышал приглушенного шороха дедовского нагая над склоненными головами их отцов, — но что оттого? Ведь он снова был в прошлом, в детстве своем, огромном и светлом, как поднебесная, которое так долго тогда не кончалось... Он не знал, не мог в точности определить в этом своем одиночестве заточения, где была тусклая явь и где начинался его неверный и призрачный сон, — да это было и неважно теперь для пана Григора Цурковского, ибо — он ощущал — жизнь его приближалась к своему завершению. Разве что-то могло еще быть, если все уже — было и было? Капсула его жизни, мгновение его времени — прожиты, пережиты и изжиты. Может быть, это убогое мрачное заточение и дано ему Провидением, чтобы он вспомнил все, подбил неутешительные итоги, со всем дорогим попрощался? Звуки, тени людей, размытые лица, подрагивающие в невнятном свете воспоминания, обрывки текстов читанных книг и неспешных вечерних бесед подле камина возникали из ссохшихся, как старый бурдюк, в котором долгие годы не было ни капли вина, вместилищ его памяти, и в этом не было боли лишения и расставания, но был некий довременный и сугубый покой. Может быть, это являлось неким вознаграждением, искупающим его прошлые невеликие муки, — этот покой, неспешное, медленное погружение в небытие. Пани Кристина... Да, была еще пани Кристина... Любовь, которой пришлось расплатиться за поле, чтобы охотиться на нем в остатке своих лет на земле — без нее...

Те, ко обнаружил тела их в лесу, рассказали, что гайдуки-изменники отрубили ей пальцы, снимая драгоценные кольца. Изумрудные серьги вырывали с ключьями мяса из нежных ее мочек ушных. Но гайдуки не тронули чести ее, — всего-навсего пробрили пикой ее насквозь со спины, вынуд на острие ее внутренности. Она ушла в мир иной юной, прекрасной и чистой, вечной девой, невестой Христовой — ведь она только позволяла себя целовать, ласкать свою грудь, щекотать усами ушки ее, трогать выпуклости девичьего тела, она только дышала порывисто, страстно, — о, в ней таился огонь, который так никогда и не вышел наружу, — пан Григор и мысли не мог допустить пойти далее этих юношеских опаляющих, изнурительных для них обоих ласк.

Пани Кристина... Какой ты была в той давней далечине?.. И какой бы ты стала, если бы тебе дожить до этого 1594 года? И я — каким бы стал я?..

Звуки пропали, поглотились тьмой, и глухая тишина вновь пеленала пана Цурковского в непроницаемую свою оболочку. Заболело лицо, и пан Григор потрогал засохшие струпы. Но ним текли теплые, не видимые никому слезы.

Пани Кристина... Он не смог даже отомстить тем гайдукам. Староста Струсь рыскал целую зиму по окрестной земле в розыске их, но старый Цурковский, обиженный до

зела на старого Светожицкого, не позволил сыну присоединиться к старосте и его малому посполитому рушенью и сказал пану Григору:

«Мы молились, просили Деву Марию — *и были услышаны*. Да, были услышаны! Кто знал, что Господь так страшно покарает старого Лешека?.. И Кристину...»

Пан Цурковский закрывал глаза или, может быть, ему казалось, что он их закрывал, и ему чудилось, что ежели протянуть руку перед собой, то пальцы уткнутся в холодные, осклизлые кости остова, — смерть стоит так близко к нему, безмолвно ощерив страшный оскал, — не протягивай, не протягивай руку, поживи-подыши спертым духом узилища со зловонной бадейкой, куда извергается из тебя эта похлебка, — вспомни то, чего не вспомнил еще, в чем ты прегрешил: *но имею против тебя то, что оставил первую любовь свою*; и исткалось во тьме внешней, а может, в самом пане Григоре, который стал этой тьмой, растворился в ней без остатка, слабым светом как бы от звезд поднебесья высеялось неотчетливо нечто, и ему следовало напрячь до боли зрение, чтобы увидеть и ощутить снова ветви деревьев, колко бьющие по лицу, низкорослый цепкий кустарник, оплетший одичалую землю, сорные жесткие травы, их светло-зеленые мясистые стебли, широкие пыльные листья, — и увидеть затем молодое искривленное деревцо, проросшее сквозь просевшую крышу шляхетского дома, гнезда запустелого, — серый, свалывшийся пух под ногами, слежавшийся в корку, — пух из пышных в былом господских подушек и тюфяков, раздавленная чужим воровским сапогом икона Девы Марии с облупившейся краской, венчик из проволоки и бумажных цветов почернел от снегов и дождей... Вспоротые брюха диванов, выпятившие гроздя выцветших тряпичных кишков... Раскопанная земля в поисках денежных кладов... Рассевшиеся и вздыбленные полы гостиной, стены которой сохранили отзвуки давней *hurdy-gurdy*, или славянской колесной лиры, отблеск забытых мелодий и невинных забав великой и славной эпохи первых королей Речи Посполитой... Но разве все это исчезает бесследно?.. Он снова шел по этому разоренному гнездовищу, переступая через коровьи лепехи, не замечая кустов, растущих в почернелых просевших углах, не глядя в отверстия потолочные дыры, откуда струился мягкий, особый свет месяца *wzrosien*'я и где стояла высокая и густая синева равнодушного неба... Старый Лешек прожил здесь всю свою жизнь — с тех самых пор, как появился в брацлавской округе. В этой спальне с проломленной в густую зелень стеной родилась пани Кристина... Родилась — для чего?.. И в срок свой вспомнилось прочитанное им в книге пророка Исаяи:

«На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе; ибо чертоги будут оставлены; шумный город будет покинут; Офел и башня навсегда будут служить, вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стаг, доколе не излиется на нас Дух свыше...»

Что было в нем кроме такого же опустошения? Зачем он пришел на это стылое пепелище чужой жизни и смерти, которые воплотились столь бессмысленно-страшно? Он чувствовал какую-то непонятную связь между собой и пани Кристиной, между отцом и старым Лешекком Светожицким, связь между их смертью и тем полем, что осталось за ними, между Кристиной, пребывавшей нетленною в памяти, и своей ничемной, маленькой жизнью, случившейся и продолжившейся до сих пор после того страшного и невероятного дня. Да и жизнь-то была и прошла как один день, — что он делал в тот день, чем занимался в день, что прошел, завершился и увенчался по достоинству своему этой непроглядной ночью узилища? Нечего вспомнить, не о чем пожалеть... Бродил привидением, без цели, без смысла по полям, перелескам и рощам, считая травы, стволы и комья холодной земли, бездумно, ничего не понимая, читал старые книги, припавшие пылью, и почти не заметил, как тихо умер отец, ополоумевший за несколько лет до того, остекленевший в каком-то ему одному ведомом ожидании. Пан Григор был его сыном, наследником, — и преобразенная тень отцовского ожидания отразилась и в нем, ибо подспудно он тоже всю жизнь прождал обреченно чего-то — сказать ли по-детски? — может быть, чуда воскресения пани Кристины или поворота времени вспять, чтобы застыла недвижно эпоха короля Стефана, чтобы достиг слуха из-за непроницаемой грани слома времен звук единого победного клича тех среброкованных и златогорящих, мертвых уже легионов великой польской Короны, крылатых гусаров, похожих на воинство архангела Михаила, от которого в смятении и в восторге осталась навеки душа у него... И в этом чудесном, пронзительном воссоздании остаться ему молодым, сжимая в руке мягкую ладошку любимой...

Остаться, пребыть навсегда...

За ожиданием, схожим с отцовским бессмыслием и безмыслием, он не заметил, как вовсе остался один, — память, сознание обретали в его одинокой озде в унылых, распахнутых всем ветрам пространствах, — какой счет осени, года?.. — было ли это важно ему, если изо всех сил следовало жить и проживать то, что давно было изжито?..

Оставалась одна крошечная мечта, если можно ее так назвать, державшая его на плаву: хотя бы душу свою положить на войне, умереть, как подобает воину и наследнику древнего рода — с оружием в руках, во имя державы, за Речь Посполитую и короля Сизигмунда... За годы безмыслия и бессилия, истекшие с тех незабытых смертей, трижды исходил клич из Варшавы на посполитое рушенье¹, и пан Григор галопом несся в Брацлав, к старосте Струсю, с полным боевым снаряжением, с парой добрых сменных лошадей, с несколькими вооруженными слугами-гайдуками, и нес ночные дозоры в черных и непроглядных полях милой сердцу *ojczyznie*, с отцовским мушкетом стоял на брацлавской стене, вглядываясь в туманную далечину, откуда должны были наехать на Брацлав то татары, то волохи, то опять взбунтовавшиеся казаки. Но разноликий сей враг так ни разу и не дошел до Брацлава, разве что довольно давно, в детстве еще пана Григора, в 1551 году сильное разорение потерпел Брацлав от татар; хан татарский, говорил летописец о времени том, «люди в полон побрал и, в неделю (воскресенье) спаливши замок и город, пошел назад». Все забылось быстро довольно, град отстроился и еще паче украсился каменными крепкими зданиями, — военные волны гасли где-то там, вдалеке, в Каменце-Подольском, под волынскими замками и крепостями, — с помощью кварцаного войска во главе со славными коронными и польными гетманами. И посполитое рушенье здесь заканчивалось беспробудным дружеским бражничаньем в орендарских шинках или на поле в виду стен, где ежегодно проходили судовые рочки, — шляхтичи праздновали очередную победу. И после пан Григор возвращался в свой пустой дом.

Только теперь, без всякой оповестки на рушенье, он попал в козацкие руки. Ну что же, — смерть, если он все же дождался ее, не постыдна будет теперь, ибо добровольно вызвался он на соборе шляхты Брацлавщины дать достойный ответ мятежному русскому гетману и исполнил, как мог, дело отлучения горожан от этого бунта, — и будет с него. Если бы еще казнили его принародно на городском майдане, под белокаменным новым костелом, — то лучшей смерти он и не желал бы.

В это время, когда пан Григор Цурковский лихорадочно и горячо шептал в темноте узилища своего молитвы к Деве Марии, генеральный судья Петро Тимошенко, глядя на сникшего под его взглядом упитанного униата-священника, мучительно старался припомнить, где и когда он видел этого человека.

«А ну, отче, — хмуро сказал судья, — заспывай пятидесятый покаянный псалом...»

«Зачем, пан превелебный?» — робко спросил подпанок Хайло, не поднимая глаз на судью.

«Как — зачем? — сказал Тимошенко. — Кому же, если не тебе, знать о том, что заповедал Господь каяться нам во грехах своих ежечасно... Починай!»

«У меня нет грехов...» — промырлил подпанок Хайло.

«Вот как? — немало удивился судья. — Так ты, значит, янгол, а не человек во плоти! Так тем паче заспывай мне янгольским гласом, — когда еще вне церкви мне янгола доведется услышать?..»

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей... — зачастил фальцетом расстрига, — и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое...»

В глазах Тимошенко нынешнее облачение униата совлеклось и будто рассыпалось гнилыми кусками, — и он снова увидел того забытого за истекшим множеством дней человечка с запекшейся кровью на месте выдранный бороды, с обрывком цепи на грязной шее, который скребся по трупам из могилища в сердце степен, богомерзко в животном страхе волая... Блеснул во внутреннем зрении у него отчаянный свет и жар того дня, первого дня новой войны. И он сказал, будто бы отрицаясь от этого тяжелого, смутного воспоминания-видения, и произнесенное слово его было пресно и не властно над уже свершившимся, но не свершенным:

«Хватит, — и добавил, оземляя чудо жизни казненного по его приговору расстриги: — Вижу, жив сей псалом в твоей памяти дрянной, хотя и не хочешь раскаяться...»

«Хочу, пан судья!» — зачастил пьяно опознанный, добавляя к свидетельству памяти и строй своей речи.

Не слушая больше его, Тимошенко приказал вартовым призвать по особому делу гетмана, и когда тот пришел, мельком глянув в сторону перепуганного насмерть подпанка Хайла, сказал:

«Вот, Павло, крестник твой, — полюбуйся...»

Павло обернулся к стоящему в стороне, и, признав того видом, лицом побледнел.

Расстрига прижал к груди кулаки и упал на колени.

«Да, — выдохнул гетман, — узнаю этого человека... Но теперь...»

«Теперь?.. — не дал ему продолжить Тимошенко. — Разве ты не хочешь снова

¹ Посполитое рушенье — всенародное ополчение, преимущественно дворянское, во время военной опасности, как внешней, так и внутренней.

даровать ему его подлую жизнь?!..»

«Я не должен, судья, оправдываться перед тобой, — сказал глухо Павло, — но хочу только сказать, что этот человек ныне — твой, суди как знаешь о нем, но знай, что сейчас он достоин большего наказания, нежели смерть...»

«Панове... — бухнул лбом в пол подпанок Хайло. — Панове... Ну за что же меня — еще раз...»

«Пой пятидесятый псалом, — сказал Тимошенко, — а как споешь, отправишься под Струсеву ратушу на свиданку со шляхетским лазутчиком...»

«Помилуй мя, Боже, — недолго думая завопил расстрига, — по велицей милости Твоей!..»

«И кто из вас двоих останется жив до утра — останется жив и потом и будет отпущен на четыре ветра земных», — сказал Тимошенко.

«И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!..»

Открылась дверца со скрипом, прорезалась в который раз тьма серым и неживым светом, — пан Григор зажмурился, — значит, не спал, — но ток мыслей, чувств и наплывающих разрозненных воспоминаний нарушился отчего-то, словно нечто должно было произойти, и его жизнь здесь, в подземелье, на клочке соломы, закончится. Он расширил веки глазные в светлый проем, где кто-то стоял, разглядывая во мраке его, и прошептал пересохшими отчего-то губами:

«Что?»

И стоявший, а это был вартовой козак, сказал, как порешил о нем генеральный судья мятежного войска.

Ничего не дрогнуло в пане Цурковском, словно душа его давно уже омертвела и осталось одно только тело — жалкая и ненужная оболочка из мяса, кожи, сухожилий, костей, — но как же ему жить без души — и зачем?.. Вот, значит, какой будет она, его смерть, — сжалось сердце и трепыхнулось в глухом, кромешном отчаянии, — никакого майдана тебе, никакого прилюдного последнего подвига, что украсил бы отечественные хроники исторические, никакого доброго слова вслед уходящей к Богу душе, — а подлая, тайная смерть в этом адовом мраке кромешном... Боже мой... Но почему, — что-то сопротивлялось в нем, не до конца еще умершее и смирившееся, не до конца побежденное этой безрадостной жизнью без пани Кристины, без смысла и без любви, — почему должен он умереть?

Может быть — тот супротивный ему и неведомый поп-униат?..

И он — пан Григор Цурковский — разорвет на куски жизнь и душу неведомого ему человека? Вот этими пальцами — разорвет в кровавые клочья чью-то теплую, пред ним ни в чем не виновную плоть?.. Он — Григор Цурковский, наследник древней крови, ровесницы славных Пястов, — вот этими тонкими, благородными пальцами... Ведь таково условие, поставленное ему этими живодерами, нелюдями... И он должен воткнуть большой палец правой руки в живой глаз человека, добираясь до мозга, чтобы — убить?..

Боже... Боже...

Вот этот палец, извлекавший когда-то неземные звуки из *hurdy-gurdy* — колесной лиры, — в средоточие жизни, божественной и неповторимой...

Нет...

Для чего? Чтобы жить...

А жить — для чего?.. Чтобы снова вернуться в свой старый, холодный дом, налиться угорским и все позабыть...

Полноте — да возможно ли это?.. Возможно ли будет подобное позабыть?..

Для чего — ему выжить?..

Нет... Незачем это...

Пани Кристина, — чем моя смерть будет лучше и краше твоей?.. О, жестокий наш век, — ее, столь прекрасную и совершенную, — проткнули копьем со спины, — и меня — еще неведомо как, но тоже — по-варварски... И зачем, для чего судьба даровала мне эти долгие годы — после тебя, без тебя, — для чего?..

Чтобы так умереть...

А может, выжить сейчас, поправ кровь, честь и закон, — и после...

Что — после? Примкнуть к жолнерам, вступить в кварцяное войско, чтобы воевать с этими проклятыми козаками, с этой козацкой гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастают сразу две новые?.. Нет, не будет потом ничего... Не будет... Ибо отрицается жизнь у сотворившего подобное зло...

О, *przekletu*, проклятые!!! Почему!!! За кои грехи?!!

Может, все-таки...

Нет, — но тогда: *меня-на-куски-мой-глаз-пальцем-и-мозг-Боже-Боже...*

Нет!!! Нет!!! — корчилося в нем его существо, как бы уже отделившееся от косного естества, приутовоившись к истечению прочь, вместе с кровью, теплом, из

тела-узилища — прочь — к потаенно и неразлично для глаза светящейся вечной жизни, к ее полноте и самодостаточности, к освобождению от бредовых сатанинских химер этого мира, называющегося жизнью текучей, чем неразумно дорожит человек, пребывающий до времени здесь...

Снова отворилась железная дверь — и тот, другой человек, который ни в чем не был пред ним виноват, вошел в темноту пана Цурковского.

«Я все знаю, — пан Григор с трудом вытолкнул из горла человечьи слова, — и готов...»

Еще удивился тому, что сказал: он — готов? Да какой внутренней силой и каковым духом надо обладать для готовности так умереть?..

И осекся: звуки были безжизненны и пусты.

Дверца закрылась уже, и узников объяла непроглядная тьма, в которой ничего было уже не рассмотреть.

Подпанок Хайло вытянул вперед сжатый до хруста кулак и ступил вкрадчивым мягким шагом на голос, подавившийся словом. Когда достиг подразумеваемой цели, ударил изо всех сил, утяжеля удар разворотом массивного тулова, — но кулак, пронизав черную пустоту, на излете врезался в стену. Хайло крикнул от боли и раздражения, но тут другой человек, которого Хайло обязан был убить ради того, чтобы жить самому, снова подал голос:

«Осторожно, добродеею, — в сей темноте можно шею сломать...»

Добро делающий? — изумленный Хайло развернулся на голос и рухнул всем телом на пол, настигая вздрогнувшее слабое дело. Да, именно так: он призван делать добро. И для того ему необходима победа.

* * *

В этот день под стены Брацлава с ближнего поля, где обычно проходили судовые рочки, подтянулись шляхтичи известных и славных брацлавских родов. Еще многие из них почисляемы были русинами, удержавшими маентности в Брацлавщине с незапамятных времен еще Великого княжества Литовского. Это были славные князья Юрий Капуста, Михаил Вишневецкий, Василий Загоровский, братья Семашки, Григорий Сангушко... Также с оными были и другие знатные русские люди — хорунжие, стольники, мечники, подсудки и писари, наследовавшие свои должности от предков своих: Дешковский, Шатко, Корнивицкий, Микулинский, был здесь и значный богатый землянин Винницкого повета Иван Черленковский. Но поляки, в избытке наехавшие после заключения Люблинской унии при короле Сигизмунде II Августе, когда два государства слились в династическом и политическом браке и возникла единая громадная Речь Посполитая, начинали уже преобладать, тихой сапой подминая под свое влияние православную шляхту: сыновья местных магнатов женились на прекрасных польках-шляхтянках, православное исповедание веры год от году размывалось, дрябло, и уже дети русинов не только становились католиками по завету своих матерей, но и вовсе забывали свой природный русский язык.

Съехавшее панство своего посланца Григора Цурковского не дождалось, а вести, приносимые выходящими из города по ночам, были весьма неверными и разноречивыми. Никто из шляхтичей не думал, что мятежников много. Напротив, один из дворян, живший поблизости, утверждал, что бунтовщиков не более сотни. В этом подержал его и городской писарь Байбуз, имевший вроде бы достоверные сведения о том, что Наливайко вовсе бессилен, потому что во время последнего похода своего в Молдавию он потерял много людей убитыми, а по прибытии в Брацлав еще более того обессилел, вследствие отхода от него многих козаков по домам. Эти слухи шляхта приняла за действительность и решила подойти к стенам Брацлава, чтобы оружно расправиться с Наливайком и открыть в конце концов свои затянувшиеся судебные рочки. Паны рассуждали просто и незатейливо, что стоит только им подойти под городские стены и обнажить родовые клинки, как засевавшая внутри горсть козаков пылью рассеется в страхе и ужасе пред неминуемой карой. Да и что они? — кто они? — перед ними, наследниками исчисленных знатных брацлавских родов, владельцами богатств и земель устремленной к славе могучей Речи Посполитой?.. Храбрясь и подзадоривая друг друга, дворянская молодежь гарцевала в воинственных игрищах в виду города; старики, прознавшие жизнь до края ее, цедили вино из походных дубовых бочонков в серебряные братины и вспоминали прежние великие времена и победы, когда вся эта чернь с Запорожья знала свое место и предназначение, и не слышать было подобного своевольтства, — но ничего, мы еще разомнем старые кости свои в сабельной сшибке, — на углях кострища, истекая душистым жиром, подсмаживался цельный барашек на вертеле на вечерю в подкрепление сил.

Холодно синели снега.

Панство уже вволю насиделось и нагулялось по-холостяцки на земле брацлавского

хорунжего, подступавшей под городские валы, и некоторые уже разошлись почивать по шатрам.

«Завтра, когда возьмем приступом город, — сказал пан Микулашский, зевая во всю широкую пасть, — стребуем с пана старосты бочку мальвазии за вызволение. Тот уьемся, панове!..»

Но и смеяться на набившие оскомину шарты, и потешаться над незадачливым, опозоренным старостой, проспавшим свой город, было уже лень шляхтичам. Кто-то равнодушно ответил:

«А козаков, кто не успеет унести ноги свои, набьем на пали¹, — кто там в городе кат-малодобрый²?»

«Малодоброго недолго найти, — ответил пан Микулашский, — а еще лучше — заставить исполнить сице какого-нибудь ихнего попа, — вот будет наука как мирским, так и духовным...»

«Да, тако и сотворим!..»

Костер дотлевал в оттаявшем круге черной земли.

От заката осталась багровая, неприметно сужающаяся и сходящая на нет полоса, — будто где-то там, на краю земли и человеческого бытия приоткрылось ненадолго вместилище грешных и нераскаянных душ, и отблеск этого прикровенного тайнозримого мира озарил розово бесформенные груды зимних уже облаков, идущих высоко над затаившимся городом, тронул усталые лица вооруженных людей, стоящих друг против друга со своим толкованием правды и справедливости. Сырой, тяжёлый ветер, принесший неверную зимнюю оттепель, в открытом поле под городом пробирал до костей, и потому те, кто не успел еще скрыться в шатрах, спешили туда, под теплые меховые походные одеяла. На страже остался пан Микулашский с горстью чужих гайдуков, — они кружком сидели у затухающих углей и переговаривались о чем-то мелком, далеком... Какие-то пасеки в Калитницах, что-то еще столь незначительное...

В надвинувшейся темноте пан Микулашский вдруг ощутил, как отчего-то усилилась в нем смутная какая-то тоска, которой не было прежде, — открытый простор, затянувшийся ночью без звезд, дышал враждебно и угрожающе. Он думал о доме, оставшемся в отдаленном углу брацлавских земель, у Кучманского шляха, по которому время от времени прокатывались в Червонную Русь чамбулы татар, о тепле, напоенном запахах только его жизни, о любимой жене и подрастающих сыновьях и о дочери Агнешке, отразившей зеркально в себе материнскую красоту, — отсюда, из этого неуютя и холода ночи его неудержимо тянуло к ним, в ту тихую, прочную вроде бы жизнь, которой жили они все эти годы после Московской войны, — да, хороши судовые рочки для шляхтича, — ждешь их с нетерпением, как холостяцкого праздника, что длится около месяца, — встречи с друзьями, с ровесниками, знакомство с соседями из другого угла Брацлавщины, бражничанье и гульба, охоты на русаков и потешные сражения, — когда не столько решались дела (ну и они, конечно же, разбирались и разрешались, как же без этого), сколько все они душой отдыхали от круга привычных и насущных забот. Но вот — как все изменилось, хотя все они по видимости остались прежними, разве что на год чуть-чуть постарели, — и вместо заслуженного редкого наслаждения мужским воинственным братством и разговорами непринужденного свойства, они сидели в открытой степи под своим городом, куда почему-то не смели вступить. Но ничего, — нахолившись и задрогши, бодрился пан Микулашский, отгоняя сонную одурь, и ему казалось, что и в этом их злострадании есть своя особая прелесть, — ведь сколько лет уже не приходилось им вынимать сабель из ножен, и отвыкли они от мужского занятия, стали как бабы: конюшни, семейный уют, свет и тепло родового гнезда на границе Червонной Руси... И теперь — такое приятное, можно сказать, приключение... Да, пора уже кости размять, душу проветрить... Благое ведь дело — освободить бедного старосту из мятежных когтей. Верно, мало будет стребовать с этого индюка единой бочки вина, — уныло и пустопорожне забавлял себя пан Микулашский, — надобно две...

Шляхтич встал и с хрустом в суставах потянулся, глядя во тьму. Он сделал несколько шагов от костра по малой нужде и в темноте различил несколько светящихся точек, медленно движущихся к ним, к дворянскому табору. Пан Микулашский, отряхнув сон, подобрался и решительным гласом распорядился разузнать, кто и зачем направляется к табору. Конный гайдук растворился в ночи.

Пан Микулашский, положа ладонь на крыж сабли, рассуждал про себя достаточно логично и связно: по его выходило, что противник, если бы то был именно он, не стал бы обнаруживать себя огнями во тьме, если бы вздумал внезапно напасть, и это, по всему вероятию, не вылазка... Следовательно, мятежники тайно оставили город, убоявшись завтрашнего приступа и последующей неминуемой расправы, и се, знать, радостные

¹ Пали — кол; набить на пали — посадить на кол.

² Кат, малодобрый — прозвище палачей в Речи Посполитой.

горожане спешат сообщить эту новость... Ну, что же, он вполне готов первым принять знаки признательности и благодарности от спасенных ими людей!.. Верно, там и староста Струсь шествует к ним...

Пока пан Микулашский проворачивал в голове эти мысли, воротился посланный им верховой и вполне подтвердил догадки пана Микулашского: к табору приближались выборные городские чины: войт, бурмистр и райцы с толпою мещан.

«А староста Струсь?» — спросил пан Микулашский.

«Его нет среди них, мосце пане», — ответил гайдук.

Вот что такое опыт житейский и войсковой, — удовлетворенно подумал пан Микулашский, — и без посланца я все это знал... А с чего бы?.. Может, по неведомому мне промыслу Господь открывает мне свои прикровенные тайны?..

Тем временем вартовые гайдуки отправились по шатрам будить значных дворян. Кто-то спросонья ругался, кляня почему-то несчастного старосту Струсю с его приключением и толикой бездарностью. Взлохмаченные головы там и сям уже высовывались из походных шатров.

Пан Микулашский готов был шутить и произносить некие легкие словеса и далее, подтрунивая над незадачливым старостой, но внезапно в самом себе вспомнил-увидел нечто необычайное: свою Агнешку, отразившую в лике своем юную мать, его жену Молгажату, какой он любил ее еще в юности, — увидел Агнешку и рослого пожилого полковника-запорожца, — полковник это вроде как был атаманом каких-то козаков, — и он почему-то знал о том доточно и верно, хотя впервые видел этого человека, — так снова ему что-то приоткрылось таинственное и еще не произошедшее, обдавшее холодом, ужасом: в неких стенах, росписью схожих с церковными, дочь его и полковника венчал какой-то православный священник — и вооруженные люди в красных козацких жупанах держали над их головами венцы...

Горечь и ужас поднимались в душе у пана Микулашского, а вокруг длилось то, чему суждено было вскоре закончиться, и наступить этому, что нежданно-негаданно увидел в себе... Хотя, — спасительно и облегчающе забились мыслишка, — это фантазия некая... Мало ли что привидится ночью без сна... Что из нее?.. Не следует быть столь суеверным, — да и как, если размыслить, дочь моя, сохраняемая крепко в семье, возможет соединиться с каким-то полковником-стариканом, или кто там он есть... Да и есть ли, — беда какая со мной — привидевшееся мною сущим...

И уже весело, забыв почти обо всем, вытолкнул из себя некие сутубые и ненужные словеса, обращенные к шляхтичам:

«Что, панове, добре повоевали во сне?.. Сворачивайте шатры и собирайте приладье свое, — досыпать будем в городе, а старостину бочку мальвазии почнем распивать прямо с утра!»

«Что случилось, пан Микулашский? — спросил некто. — Ты столько слов говоришь, что не пойму: враг, что ли, движется или староста Струсь бочку вина катит к нам для сугрева?..»

Горожане, пришедшие из Брацлава, двигались уже между шатрами. В их руках помигивали свечные закрытые фонари. Никто из них не произнес ни слова, — это показалось странным пану Микулашскому, и он открыл было рот спросить их о городской справе, как из темноты негромко хлопнул выстрел семипядного самопапа, и в остаточном движении мысли, воспоминания и предчувствия, невесть как соединившихся в нечто единое, пан Микулашский обреченно вдруг понял, что сей выстрел был предназначен ему, и теперь всему тому предначертано сбыться, что увидел в себе он нечаянно, будто бы близкое и неотвратимое будущее коснулось его прежде свершения...

Пуля вошла глубоко в его горло, предварив и прервав звук последнего слова, обсыпав полость рта горячими осколками раскрошенных ударом зубов.

Венец, серебряный венчальный венец над русыми волосами Агнешки... Быть по сему...

Руки пана Микулашского взлетели к лицу, и в мертвых уже блестящих глазах, устремленных во тьму его будущины, застыла даже не боль, ибо она не успела захлестнуть его естество прежде смерти, а некое оглуленное изумление, — и он грузно осел прямо в угли кострища, подняв облако легкого серого пепла и искр.

В ту же минуту в круг света вступил высокий и видный собой черноусый козак в богатом жупане, покрытом парчой, подбитом московскими соболями, в собольей же шапке, с богатой домахой, ножны которой были уставлены смарагдами и кроваво взблеснувшими рубинами. Он тяжело посмотрел на онемевшую шляхту и сказал за спину, в темноту, слегка обернувшись:

«Хорошо бьешь огненным боем, Саула...»

«Обычное дело, гетмане...» — ответил из темноты атаман одного из запорожских куреней.

Павло Наливайко, окинув еще раз взором полуодетых дворян, сказал тому же Сауле:

«А этих стрелять не надо... Пусть останутся жить... Пусть погуляют с голыми жопами...»

Тем временем табор наполнился шумом, треском и криками. Кое-где хлопали выстрелы, звенела сталь сабель. Однако дворяне не сопротивлялись наезду нисколько, ибо пребывали в состоянии некоей оглушенности, оцепенения. Шум исходил от брацлавских мещан, которые подбадривали себя воинственными криками на разгром и грабёж. Один из горожан тузил кулаками животастого шляхтича, — тузил без ненависти, но в каком-то холодном осатанении, — ведь шляхтич из Кобыленского имения Збигнев Кронковский не сделал ему ничего, да и знакомцем был давним, ибо в Брацлавщине не так уж и много было значных людей, если не считать посполитое *быдло*, и все знали друг друга довольно-таки хорошо. Верно, встречались на ярмарках, обсуждали цены на лошадей, на воск и пшеницу, — и вот, в годовину несчастного бунта все человеческое отменялось и вменялось в якобы не бывшее... Другие уже грабили шатры, тащили со столов драгоценную утварь, серебряную посуду, дорогое оружие. Один из шатров подожгли, ибо фонарного света едва хватало для опознания своей законной добычи — по праву войны и нежданной победы. В подожженном шатре оказался не успевший проснуться шляхтич, который едва не погиб в огненных муках. Мещане-расправщики сжалились над ним, вытряхнув голышом из мягкой перины прямо в снежный сугроб.

«Ничего, — смеялись они, — после жара не замерзнуть тебе!..»

Козаки же, исполняя наказ гетмана, освобождали от гнета мягких одежд других шляхтичей. Паны покорно сбрасывали свои медвежьи шубы. Но один из юношей все-таки пытался не даться, — его жестоко выпороли нагаем, помяли кулаками и выбросили в темноту.

«Что делать с этим баннным народом? — спросил у Павла куренной Матвей Саула, — Отпустить ли с миром отсель?»

«Да, пусть идут, — сказал на это Павло. — До усадьбы хорунжего Корновицкого здесь недалече... Не успеют замерзнуть...»

Но никто из отпущенных не поклонился в благодарности запорожскому гетману, — голые шляхтичи, прикрывая срам свой ладонями, оставались в душах своих непреклонными, — гетман знал, что даже смертью не сломить эту шляхетскую гордыню. Ну, пусть им... Такими они уродились — и сего не исправить.

«Прочь!» — махнул он рукой. И шляхтичи, пятась и озираясь, растворились в темноте.

Павла не удивляло здесь ничего, — ни легкая кара оставшимся жить, ни смерть застреленного от руки атамана Саулы, — все это было привычно, обыденно. Он не чувствовал даже ненависти к этим голым, дрожащим от холода людям, по естественному и понятному праву вооружившимся на него и на козаков, — и разве могло быть иначе? — ведь он начал эту войну не так просто, ради добычи или ради обиды, — хотя, конечно же, и таковыми отчасти были причины: нужна и добыча для прокорма толикого количества восставшего люда, есть и обиды — куда же без них, — ведь они живут в жестоком, безжалостном мире, исполненном разнообразного произвола от сильных и значных, — да и потом, так устроен земной человек, что осыпь его дукатами золотыми, все равно найдется место в душе его для черной зависти, для обиды, для гнева, — но ныне, — думал Павло, — в преобладании даже не понятные обиды людские, не жажда дукатов и дорогого оружия, но нечто гораздо более существенное: покушение на сами основы их праотеческой веры — через бесовской сговор русских епископов против безгласного и мало что понимающего посполитого русского люда. И эти опозоренные голые шляхтичи из дьящейся сегодняшней ночи были обычными и известными людьми, и каждый из них имел свое собственное лицо, свою жизнь, — и как их было этой жизни лишать? — и он, превозмогая себя, преодолевая простую логику преобладания и превосходства силою и удачей, обошелся с ними по-человечески, хотя, вероятно, должен был их казнить смертью. Но... В том-то и суть, что и они, как и он со своим войском, — они совокупно-едино — подданные государства Речи Посполитой, самого крупного государства современной Европы, «державы без огнищ», как называли Речь Посполитую европейские хроникеры. Он усмехнулся: где она ныне, эта *держава без огнищ*, в каком сне золотом о былом мире между народами, ее населяющими, осталась она? Европа погибает уже целый век в огне религиозной войны между католиками и протестантами, эмигранты тысячами переходят границы, спасаясь в Польше и в Литве от слепой ненависти «воинов Святого Креста», — но теперь, похоже, пробил час и самой Речи Посполитой, — запоздало, странно, с этими благими намерениями о «соединении» по завету евангельскому, — но известно, что намерениями таковыми вымощена дорога в ад. И разве то, что сплетают сетью наши епископы в Белзе и в Бре-

сте, не сатанинская усмешка над нашей *гержавой без вогниц?*.. Но как остановишь это сползание в бездну гражданской войны? Силой? Сила ничего не решит, но только усугубит и умножит взаимные неудовольствия и даст новые поводы к бесконечному мщению. Приползти на брюхе к папской туфле — и что? Будет мир и покой?.. Ну, конечно... Вон что творится в Европе, в Париже, в Швейцарии, на землях цесаря Рудольфа... Потому — пусть бредут голые шляхтичи по землям хорунжего Корнивицкого, — синие, жалкие, обливающиеся соплями, опозоренные, — но пока что живые. Пусть живут до своего срока. Потому что неведомо, что ждет нас завтра. Смущало Павла то, как мешане брацлавские, еще вчера бывшие столь законопослушными старосте Струсы, сегодня самозабвенно и безоглядно грабили табор шляхты, — и это было как сон, — войт, бурмистр, райцы, Роман Тикович-Тищенко тот же, возглавивший горожан и открывший войску городские ворота, — статечные, уважаемые в Брацлаве люди... Они всю жизнь знали тех, кого грабили ныне, жили бок о бок многие годы, — неужели можно вот так просто отнять у дворян эти чаши, тарели и прочую дрянь, и неужели эта добыча останется им навсегда?.. Что происходит с людьми — в смуте, в мятеже, — когда на время отменяются простые общественные законы?.. Люди будто бы сходят с ума... Да, они были законопослушны, — думал Павло, — соблюдали по мере своей заповеди жизни во Христе, оказывали почет городскому главе, гетманам Короны и самому королю, тяжко и насадно работали, достигая земного благополучия и земного устройства для себя и для близких своих, — и вот возникшая смута и начавшаяся в смуте война преобразили на краткое время их внутреннее устройство, и тяжко добытые, вышестованные добродетели по соблюдению заповедей осыпались пожухлой листвой в кровавом безвластии и несправедливой вседозволенности, — и лица их ныне во все не похожи на человеческие... Что это? Месть? Прорыв затаившейся долговременной боли? Расплата за многие десятилетия и века унижения? Гнев за попранные святыни? Если это, допустим, и так — то какое отношение имеют к этому шляхетские кубки-тарели?.. Или непостоянное существо человека, втянутого в водоворот выпавшей на долю его государственной смуты, преобразается в корне — и так забывается Бог?.. Да. Добыча... Как без нее?.. И у него самого есть заветный бочонок, закопанный на Мушиной горе близ Терехтемирова, над Днестром. Но добыча добыче рознь, — и разве добыча в бою отменяет хоть в чем-то божественное мироустройство сущего?.. Или жители града Брацлава полагают, что козаки останутся здесь навсегда, устроят свое малое государство или повет и он сядет на место старосты Струсы, а на Брацлавщине или в целом на всем Подольи, согнав прежних владетелей — всех этих Дешковских, Шатко, Корнивицких, Микулинских и прочих, насадит своих полковников и куренных атаманов? Тут бы улыбнуться ему, но где-то в потаенном месте души засквозила холодная тихая боль, и с непреложностью встало то, о чем думать ему не хотелось: да, взят этот город, столица Подолья, — и жгли книги они в изразцовых печах замка, разбивали и драли с треском массивные переплеты, отрывали верхние доски фолиантов, обтянутые гладкой коричневой кожей, отодрав прежде серебряные украшения книжные, — эти доски от книг тоже летели в очаг; козаки рассматривали невиданные затейливые печати на грамотах, вертели их в заскорузлых пальцах своих, бурых от османского табачного зелья и пороха, кто-то брал эти восковые пустяки для подарка своим подкозачатам на хуторах близ Полтавы и Градижска — когда завершится война и они вернуться домой, — грамоты и владельческие бумаги тоже летели в огонь следом за книгами, — и так исполнялся вековой запорожский обычай уничтожать все без остатка *писаные права*; собор, захваченный униатами, снова стал православным, — прежний клир был бит батогами и изгнан из города; Тимошенко производил дознания и поиски монахов-иезуитов, которые исчезли из города еще даже до подхода козаков под стены Брацлава, будто их и вовсе здесь не было, — да, все это было уже и минуло, — думал Павло, сидя среди разоряемого мешанами и козаками табора шляхты, — но что же дальше? Идти в другие города родины и так же изгонять прочь униатов и шляхту, жечь писаное, дабы не оставалось следа на земле от несправедливых купчих и жалованных королями грамот, ибо одно есть право на свете — право родины, рода, живущих по божественному устройению... Но и это — только досужие словеса, трактуемые вольно в любую сторону — и вправо, и влево... Но дальше, — возвращался мыслью к насущному, — что дальше?.. Будут еще города, исправят козаки на свой лад и обычай еще несколько сотен заблудших и разуверившихся на лад православный, наберут еще бранных надбанков, заруют добычу в потаенных байраках и схронах, и от того, что довезут через смятенные земли до Сечи, треть «*от всякого меча и весла*», по обычаю войсковому, дошедшему до них от времен самого равноапостольного князя Владимира, пожертвуют на церковь Покровы Сичевой и на самарские монастырьки, где покоят давние раны свои столетние, зажившие век свой на сем белом свете запорожские стариканы... Дело это как бы сдавалось обычным. Может, и было оно таковым — но не теперь. Ибо война, которую он начал, — он ощущал непреложно,

— была не простой домовою войной, не просто походом за легкой поживой и не простым воинским бахвальством и похвальбой неумемностью запорожской, но чем-то отличным, другим, безвозвратным по току грядущих событий, — было началом осуществления чего-то такого, что не вмещалось в его разумение и в его понимание окружающего мира и устройства его. Но разум-хитрец изыскивал привычное и понятное: да, после кровавой гульбы и пожаров надобно будет притечь к королю Сигизмунду с покаянным листом, отречься от вин, на него возводимых, и обвинить в сем вооруженном движении по Руси-Украине мятежных епископов, ладящих стговор с костелом, наипаче же обвинить Кирилла Терлецкого и Ипатия Поцея, этих верных слуг короля Сигизмунда и папы Климента, и не только обвинить лжеепископов сих, но истребовать полного и всецелого уничтожения в Речи Посполитой скверны сей, унии, — и примириться, конечно же, с сеймом, с панями и с королем, — отойти к Днепру, сесть в Чигирине, в Терехтемирове или на Хортице и привычно выходить оттуда с козаками по зову из Варшавы в войсковые походы на турок, на волохов или на московитов... Все вернется на круги своя... И будет мир и покой и в человецех же благоволение...

Да... Хорошо бы... Но сему никак не бывать...

Все понималось отчетливо, с некоей бесконечной печалью, и он был бессилен уже что-то исправить и отменить, — некая мощная и всевластная сила влекла его и множество вооруженного люда в свершение неведомых им до поры обетований, в сотворение того, что уже позже гораздо назовется историей. И он мог только покориться сей силе, раствориться в ней без остатка, стать одним из зонов ее...

Он вздохнул, встал натруженно и тяжело, — усталость давила надбровья, больная кровь тупо толкалась в виски, — длилась эта война, смешанная с его бессонницей, болью и высоким, недостижимым в осуществлении устремлением к милосердию, — поднялся и пошел по скрипящему снегу во тьму, к стенам Брацлава, оставляя за спиной гомон и разгром шляхетского табора, отсветы горящих костров и дотлевающего остова сгоревшего шатра, переключку голосов, всхрапы и ржание стреноженных лошадей.

Длилась глухая полночь и до света было еще далеко.

Когда был подкозачонком, зимними вечерами дед Наливай рассказывал ему, что в полночь такую великое сонмище бесов собирается на свой подлый шабаш, — и ежели в пути полуночным попадется им бодрствующая душа человека, они набрасываются на нее, искушая блеском видений, призраками мечтаний, — помни, внуче, о сем и, бодрствуя — бодрствуй...

Господи! Господи!.. — воскликнулось немо в душе. — Доколе же быть сему странному раздвоению, когда я, в стремлении к деланию добра, делаю зло, — и вот, сидя в сем городе старосты Струся, у меня уже зудят руки все это сжечь к бесовой матери и уйти с войском в открытую степь и забыть обо всем, отдавшись новому промыслу...

Шел, изредка спотыкаясь о припорошенные снегом мерзлые кочки, и за ним следовал в отдалении, поскрипывая в шагах, кто-то из гайдуков, и он кратко подумал еще, что как неразрывно, до налета пули шальной или взблеска сабли врага, сопряжен он с каждым, идущим в следе его, здесь и сейчас и в завтрашнем дне, и возвратился мыслью к городу, к странному желанию своему все здесь предать огню — и бежать...

Бежать?..

Но разве беглец он в своей кровной земле?.. Бессмыслица какая-то, Господи... И что-то дремучее, черно-лохматое, древнее, неистребленное до конца шестью последними столетиями жизни народа, выпрастывалось в душе у него, и вокруг лежала ночная безвидная тьма, скрипел снег ранней зимы, или поздней осени, мерцали огни за спиной и скрипел в следе гайдук, воздух холодил губы и щеки, пробирался сквозь мех жупана к груди, к сердцу его, где вздымался другой человек — черный, осклизлый от древности, жуткий, чьими глазами он смотрел иногда на огонь, в котором корчились обугленные фигуры врагов, — часто, о, часто, как ни прискорбно, были они единокровными его, козаками и даже былыми друзьями, — но ничего не изменишь теперь, — ничего... То же древнее, изначальное, дикое было в нем, когда по наказу его воздавалась достойная смерть крымчакам за наезды, — и в разоренном горящем ауле козаки отрывали от матерей татарчат, бросали меж досок на землю и прыгали что было мочи на верхнюю доску, давя... Из-под доски, на коей каблучился дюжий детина, слышался слабый костяной хруст, — у расплющенных трупов лиловые черви кишок вылезали меж ребер... Да, таков был их век — простой и жестокий, — и в нем надобно было выжить и выстоять, ибо не они выбирали его, но век — избирал их, призывая из вневременной бездны и тьмы, наделая земною судьбой. Жил, стремясь сохранить нерушимые заповеди, преподанные мятущемуся человечеству в божественной книге, — и что же?.. Ныне душа его отягчена не только сегодняшним, но и тем, что сотворил он в неправде вчера. И вот, пока скрипел по снегу к Брацлаву, вспомнил и вину свою давнюю пред Запорожьем, и особливо же пред покойным гетманом Кшиштофом-

Федором, — вспомнил ту вологую и теплую зиму 1592 года, сырые ветра в открытом поле под Пятком, пористый снег, в который по брюхо проваливались кони тогдашних мятежников-запорожцев, — и он, нынешний предводитель козаков, тогда стоял призыву них, на стороне владетельного князя Острожского, своего господина, — целую неделю продолжалась та битва, о которой бы ему хотелось сегодня забыть, — и ныне он малодушно старался подавить в себе эти тягостные и постыдные воспоминания, но память, как туго слежавшийся пергаментный свиток, разворачивала перед мысленным взором его: пористый снег той зимы и наплывающие в движении серые, мертвые отчаянием лица, — его рука легко сжимала тогда крыж сабли — перед взмахом, пред тем, как развалить ей крепкой своей полосой голову запорожца, чьего имени ему никогда не узнать... А если бы и узнал его имя? Что из того? Молился бы о нем в заупокойной молитве?.. И он пытался припомнить из этого недавнего, но, по сути, уже такого далекого прошлого хотя бы тень ощущения несправедности своей или неправоты, но ничего, кажется, не было в нем, кроме всегашнего задора, кроме щекочущего азарта, — как всегда, когда он играл в эти смертельные игры. Он лишь-то диким и страшным, и он не усматривал в этом никакого противоречия, ибо, наверное, многого не понимал и не чувствовал, пребывая в духовной слепоте и видя лишь то, что лежало вблизи и не простиралось в завтрашний день. И разве это было единожды?.. О, если бы случилась в судьбе его только та битва под Пятком... Как ему теперь — хотя бы перед самим собою — искупить эту провину?.. Но год, а тем более два, минувшие с той поры, равны целой жизни на этой земле, и ощущение мира, какое пребывало в душе и сознании, изменилось, — словно отверзлись духовные очи, — и те, с кем стоял он под Пятком в войске молодого князя Януша Острожского, ныне пребывали в лучшем случае сторонними наблюдателями или же супротивными. А другие, кого он рубил без пощады и гнал в домовой Острожской войне 1592 года, стали ныне сподвижниками. Да, такова реальность жизни под этими небесами и в этом вот времени. Но прежде — ему пришлось принести покаяние за Пяток и не только церковное, но и войсковое — перед Великим Кругом на Хортице вкупе с огромным табуном из 1600 отборных лошадей, подаренных Кошу в знак искупления вины перед Запорожьем, в знак своей дружбы и искреннего расположения. Это произошло после первого похода в Молдавию, когда он огнем и мечом прошел по тылам турецкого войска, помогая в Угорской войне австрийскому императору Рудольфу II. На это дело благословил его тогдашний патрон Павла старый князь Василий-Константин Острожский, а также — тайно, во избежание открытого противления — и коронный гетман Речи Посполитой Ян Замоиский, с коим он письменно снесся, предложив ему действовать против крымских татар, которые должны были пройти через земли Короны для соединения в Уграх с несметным войском Амурата-султана.

С двумя тысячами собранной вольницы, среди которой было множество разношерстного темного люда: порой смертоубийц и насильников в прошлом своем, отпетых разбойников и сплошь беглецов от закона, баннитов¹, Павло задумал уже отложиться от старого князя, используя воинское приключение — татар, прошедших в июне через Покутье, — как достойный предлог. Но татары благополучно обманули его драное тогдашнее войско, пройдя путями иными, но и вольница не осталась в накладе, добравшись до Требовля по татарским следам и безжалостно грабя земли волошские. Этот поход принес добычу ему в четыре тысячи лошадей, половину которых он отдал Запорожскому Кошу по своей прошлой вине 1592-го года.

Еще до похода того Павло чувствовал нечто значительное и судьбоносное в грядущих вскорости днях, — потому и смирился внутренне с вольницей черной и гольтьбой, прибывшей в войско, которые собрались не столько воевать, сколько грабить. Но и грабежи умирили бы вольницу только до поры, — и если ты, предводитель толикого числа подобных непотребных людей, в чем-то обнажишь слабину, эти люди без зазрения совести разорвут тебя в клочья. И он знал, как рисковал...

И после, предложив козацкому Кругу, черной раде Запорожского стана сложить на радном майдане свою саблю и оправдаться от возводимых на него обвинений за дело под Пятком, где он возглавлял шесть сотен конных копейщиков, решивших исход затянувшейся на неделю битвы в пользу молодого Острожского, когда по попушению Божию и произволению Его погубило до трех тысяч мятежных козаков Косинского, Павло тоже знал, чем рисковал. Посол императора Рудольфа II Эрих Лясота, ведший переговоры с запорожцами об их участии в Угорской войне, в своих записках свидетельствовал следующее: посланцы Павла, пригнавшие в Запорожье огромный табун лошадей, передали низовым его лист, в коем он предлагал отрубить

¹ Банниция, банниты — изгой Речи Посполитой, лишенные гражданства и всех прав по приговору судов. Вечная банниция позволяла каждому старосте, в юрисдикции которого найдется баннит, задерживать его и карать смертью.

ему голову его же собственной саблей, ежели честное рыцарство низовое найдет его оправдания недостаточными. Однако он надеется, что козаки низовые удовлетворятся его объяснениями и признают их основательными и навсегда будут считать его своим другом и братом, ибо, что касается прошлого, то он состоял на службе у киевского воеводы еще раньше, чем запорожцы вступили в конфликт с Острожским; когда же возникшие между ними недоразумения окончились домовою войной, то уже собственная честь не позволила ему оставить воеводу, своего господина, которого хлеб он ел задолго пред тем и в службе которого состоял с давнего времени, почему и принужден был сражаться за его интересы против его врагов. А брат его Дамиан, как всем известно, священник и настоятель церкви в Остроге во имя святителя Николая, до сих пор духовник старого князя и питает от хлебов княжеских их старую мать и сестру... Что же делать теперь?..

Но воистину, единый год равен здесь жизни, думал Павло, а тем более — два, — и свершилось чудо прощения, или забвения, морок и ненависть козаков за дело под Пятком рассеялись, — мертвых запорожцев было уже не воскресить из братской могилы и следовало жить дальше, — и никто не потребовал моей головы, никто не захотел отомстить мне за Острожскую домовую войну или, может быть, за те два года никого из участников ее уже не осталось? И все выбиты были или от ран умерли за эти два года, в которые я изменялся, становился другим? Да, это скорее всего... И с тех пор я тоже старался забыть и не вспоминать, как стоял в копейных рядах молодого Острожского, изготавившись к смертному бою, а потом — колот и рубил, рубил и колот... Как врагов — запорожцев...

Снег под копытами пенился кровью тогда...

Мне кажется иногда, что это всеми забыто, и мною тоже — крепко забыто, потому что невозможно все это помнить и принимать в свою душу, — ведь столько дыма вознеслось уже в небо над нами, и сонмы безвинно загубленных душ, озера крови пролились понапрасну, и не поминаемы мертвые, ибо некому их помянуть по церквам, — и как, как запомнить тот злосчастный Пяток?.. Но знаю, — холодно, равнодушно чеканилось в нем, — знаю, что заблуждаюсь и обманываю себя, ибо, ступив шаг из тьмы безвестности в пятно света хроники, или истории, все мне будет припомнено, и не забудется мне, и не простится, даже когда я умру, — какой бы ни была моя смерть... И все-таки — какими светлыми, почти что счастливыми были те воистину судьбоносные дни, когда после первого похода молдавского он примирился с запорожцами и был вскоре избран генеральным осавулом над влившейся в запорожское войнство своей волошской вольницей... Кошевым атаманом в тот год был Григорий Лобода — с ним вместе и продолжили они походы против татар...

Понемногу светало: подсинилась небесная тьма, отразившись в снежном просторе. Далеко позади остался гомон разгромленного и подожженного дворянского табора, и вокруг снова стыла морозная тишина. Перед ним темнела и дыбилась в небеса крепостная стена, и за ней досыпал захваченный, отобранный у старосты Струся город. Он войдет в дом, построенный старостой, отогреется у изразцовой печи ему не принадлежащим теплом, может быть, выпьет чарку вина из не ему принадлежащих запасов, — ляжет в чужую постель... Все чужое... Жизнь его словно и не его, но взятая взаймы, — как тут не помянуть святого апостола Павла с этим его: *«Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие»*... И нет радости в нем... И неоткуда ей взяться... Должно быть, он начал стареть...

В верхних покоях дворца королевского старосты Струся, не снимая одежды, он прилег на высокое пышное ложе. Сквозь разноцветные стеклышки оконного плетива просвечивал тусклый свет утра, — минула, как и все прочее, ушла в прошлое бессонная ночь, но при всей усталости его и душевной опустошенности спать Павлу не хотелось, и память, разбуженная и ослепленная миготливыми огнями войны, теперь мучительно прозревала в истекших видениях, — и отчего-то припоминался теперь второй его поход в Молдавию: даже ноздри его, казалось, вновь уловили тонкий, страшный запах горелого человеческого мяса, — да, чего там не было только после того, как он взял приступом и обратил в пепел Тягин... Тимошенко, нынешний генеральный судья, присоветовал ему распустить козаков небольшими загонами по нижнему Бугу и Пруту, — тогда и началась гульба во всю ширь запорожского войскового обычая... Дым, замешанный на запекшейся крови, стелился над грядью воды Буга и Прута, першил в горле, замутился взвесью кровавой разум его... И это было так страшно, так дико — даже ему, повывавшему много всего на веку. Жестокость, свирепость и беспощадность тогда были таковы, что у хронистов и самовидцев похода того не находилось слов подходящих, чтобы все это описать. Уже много спустя, в других временах, досужие справщики подсчитали, что его козаками было сожжено и разграблено свыше полутысячи татарских и турецких селений на берегах этих двух рек и взято в полон до четырех тысяч «обоего пола турецкого и татарского ясыря».

Но в оконечности войсковой этой затее удача (или все-таки это было им наказанием за жестокость?) отвернулась от них, и на переправе через Днестр козаки встречены были молдавским господарем Аароном с семитысячным войском, который и отгромил у Павла всю добычу. Множество козаков были убиты или утонули в Днестре.

«Смотрите! — кричали молдаванам разгневанные козаки, дышавшие еще убийствами на берегах Буга и Прута. — Мы сделаем вам еще пакость! Даем вам рыцарское слово!»

В отваге и злости премногой, в Брацлавщине, он, не распуская войско свое, снесся с Григорием Лободой и с его «чистой породы низовцами», — и к осени, в числе двенадцати тысяч вооруженного люда, с сорока хоругвями войсковыми, две из которых украшены были наградными за прошлое дело серебряными орлами цесаря Рудольфа II, они снова переправились через Днестр под городишком Сорокой и ступили на молдавскую землю. Толикой навалой учинен был промысел над молдаванами и сдержано было козацкое слово: они разрушили и сожгли крепость Цецору и у Сучавы настигли господаря Аарона, — господарь едва спасся с малым отрядом в Волощину, тем самым как бы отдав им страну свою на потраву и конечное разорение.

Как оправдать меру войны?.. Где отыскать предел мести?.. Когда следует остановиться разящей руке, творящей возмездие?.. Он думал о сем иногда, в редкие тихие дни, когда глаза видели чистое и ясное небо, — предвечное небо, предвечное светило, стремящееся с востока на запад, видел землю, на которой тяжело работали посолитые, — и в этой видимой жизни ощущал как бы высшую правду, замешенную на кротком смирении и нестяжании, и он думал тогда о детях своих, о жене, пребывающих на украинских землях в сердце Волыни, — в этой обманчивой тишине, после похода и перед походом другим... И завтра — тоже будет другое, отличное от полевого труда, от теплого солнца, неспешно катящегося по извечному пути своему, озаряя сей яростный мир, в котором им суждено провидением и судьбой лететь на добрых конях, переправляться через могучие реки, заседать в потаенных засадах в чужих неизведанных и враждебных пределах, испытывая на собственной шкуре холод, голод и ненависть, и сражаться с супротивными вооруженными толпами, и предавать чужие жилища огню, отлавливая и арканя разбегающихся иноязычных людей...

Да, тешат сердце серебряные орлы, жалованные императором Рудольфом II за отвагу и храбрость, тешится и душа этой славой о козаках, что гудит по сопредельным отрядам, — и гнутся бескостно спины послов от европейских властителей в просьбах о помощи, о войне, о защите на рубежах от Амурата-султана, от Крыма, от волохов... По обычаю своему войсковому и по особливому складу соборного характера своего, козаки редко отказывались от участия в сражах, превыше полумесяца поставляя крест византийский, — и вот, после того как они с Лободой взяли приступом новым оружно земли господаря Аарона и большие опустошения людам и маетностям тамошним причинили, замки и города волошские сожгли, а самые Яссы, где молдавские господари обыкновенно резиденцию имели, в пепел обратили и после этого благополучно назад воротились, имея в виду после похода в Волощину предпринять поход и против собственных мятежных епископов, и — «на Польшу»...

И в этой странности, на которой уловил он себя, замерло его сердце: что с ним случилось? Что происходит? Ведь без особой нужды он никогда не вспоминал изжитое время, ставшее безвидной тьмой за плечами его, — и не поминал никаким словом походы, — а сколько он их совершил под разными гетманами, под разными войсковыми хоругвями, в разных полках и даже в тайных разбойничьих шайках-ватагах?.. Зачем ему память об этом?.. Разве что к старости кратко оповестить сыновьям, — но они ко времени немощи и бессилия его давно станут воинами, и им хватит с лихвой своих приключений, побед и невзгод... Значит — внукам... Эко куда нелегкая тебя занесла!.. Он даже усмехнулся, лежа с прикрытыми веками на пышном ложе старосты Струся, — какие там внуки!.. *Ведь это он сейчас чувствует смерть*, — всего-навсего смерть, — тень ее бродит за стенами города, в открытых полях, куда он завтра стронет козацкое войско, — но и здесь, в этом опостылевшем граде если остаться, — и здесь не дожидаться внуков тебе... Ведь памятование сегодня этих молдавских походов, которые утвердили имя его и значение в соборе рыцарей низовых, — вроде высокой тени летучей под солнцем, предвестницы тяжелых низкобрюхих туч грозových... Он распознал сию предвестницу бури, — что же теперь?.. Ведь не в его силах остановить время, и день, и грозу... Но усталому мозгу его не хотелось уже разворачивать этот памятный свиток — и он, озаренный преломленными в цвете утренними лучами, уже спал посреди тягостных своих размышлений, и будто эхо звучало глубоко в теле его и в душе, обмирающей забытjem сна, нечто остаточное и недорасторженное, что ныне он, черный и страшный внутри, каковым знает себя, но в то и мало ведь верит, по промыслу и по поущению свыше, внешне одаян светом и наречен Церковью —

сыном ее и защитником, — и все прощено будет ему, *прощено...* И больше ничего он не слышал, не знал и не видел до тех пор, пока не проснулся под высоким солнцем зрелого дня.

Стоя на молитвенном правиле перед походным складнем-иконой, Павло вдруг ощутил, что место сие, исправленное по козацкому разумению, стало как бы опустошенным, изжитым, и во вспугнутой памяти больше не было ничего — ни прошлого, отдаленного временем, ни того, что произошло этой ночью. Выскверкнуло дальним огнем, слабо, почти что неощутимо, что громили и пожгли табор шляхетский и кого-то Саула застрелил там из семипядного самопала, — отблеск огня поглощен глубиной открытого неба. Следы пролитой крови затоптаны в месиве снега. Дым снесен тугим ветром и развеян бесследно. И он чист и спокоен...

«Доброе утро, гетмане!.. — сказал ему пришедший генеральный судья Петро Тимошенко. — Хорошо ли спалось после ратных трудов?..»

Павло только рукою махнул:

«Это ли трудами наречь?..»

Тимошенко вздохнул:

«Да, Павло, без настоящих трудов зреет бездельное нечто, — люди не знают уже, чем заняться. Не ровен час — пойдут громить шинки жидовинов и заливаются дармовой чикидухой, — а ведь всегда, сколько помню и знаю, в походах смертью карался тот, кто прикладывался к орендарской красауле с вином».

«Да, брат, это так».

«Ныне же — от толикого здесь пребывания, когда все уже совершили, что надо было нам совершить, нам нечем больше заняться...»

«Стронемся скоро, Петро. Не торопи рассуждения...»

«Нашли, гетмане, близ кузни старосту Струся — хочешь ли с ним говорить еще?..»

«Нет», — ответил Павло.

«Так зачем я столько трудился?» — засмеялся судья.

«Да всем же было известно, что он здесь. Ну и что? Пусть бы и жил себе там, возле кузни...»

«Да, — почесал затылок судья. — Но дело сделано, и он обнаружен. И мы не можем его оставить на том же месте, как ни в чем не бывало. Он — администратор короля Сигизмунда, официал, как ни крути. И потому дело требует какого-то окончания, завершения... Может, повесить?..»

«Зачем? — сказал Павло. — Выгони его просто из города вон — и дело с концом. Пусть добирается до польских земель и доживает свой век как герой...»

«Как герой?.. — задумался Тимошенко. — В этом есть некий мной неуловимый до времени смысл... Но да пусть будет по-твоему... Хотя я бы повесил его...»

«Петро, повесить официала королевского все едино что расписаться в том, что мы подняли оружную руку на сам державный строй Речи Посполитой».

«А это — разве не так?..»

«Не так. Мы — не изменники сейму и королю. Мы восстали против того, что наши епископы втайне решили предать нас костелу и папе, — и они будут за это покараны. Король благословит нас другими епископами, нашего дворянского русского рода, и все возвратится к миру, которого мы и желаем...»

Тимошенко только улыбнулся криво на это и сказал:

«Да, вот еще что, гетмане: крестник твой, здешний подпанок Хайло, униат чина Василия Великого, как сам себя нарек, жив остался под ратушей...»

«Значит...»

«Да, — кивнул судья. — Да, брат, и мы обещали...»

«И что же он... как?..»

«Лучше тебе не ведать о том... — и, помедлив, все же сказал: — Он перегрыз горло тому шляхтичу... И до утра откручивал ему голову, чтобы сделать приятное тем, кто пришел его миловать утром по праву...»

Павло молчал. Да и что на это мог он сказать?..

«Да, Павло, да... Теперь ты видишь, как высока цена милосердию...»

«И не только ему — но и слову судьи о том, кто останется жить...»

Тимошенко вздохнул и оборотился к затейливому цветному окну. Смотрел долго на майдан, на храмы, на ратушу, светлые и немые пред лицом зимнего неба, и сказал затем тихо:

«Кажется, Бог отвернулся от нас, ежели от этого чиряка мы не можем избавиться... Но слово есть слово...»

«Но слово может быть и другим, — сказал Павло. — Ты говорил о старосте Струсе. Вот и отпусти вместе их с Хайлом в открытое поле, — слово о Хайле сдержано, а Струс — милован...»

«Так и поступим».

«А Струсю скажи, что Хайло загрыз шляхтича того Григора Цурковского. Покажи ему голову... А затем вместе и отпусти».

«Верно, Павло, — и этого слизняка зарубит первый же вооруженный шляхтич, кто встретится им на пути...»

«А если и не зарубят его, то многомудрый Струсь найдет на него по закону управу. Что там еще у тебя?»

«Вот, посмотри, — сказал генеральный судья и вынул из-за пазухи тугой свиток желтой плотной бумаги со свисающим с краю обрывком красной навощенной веревочки, на которой когда-то висела печать, и протянул ее Павлу. — Мы много такого сожгли. Но этот свиток я решил почитать, что тут записано, вот — встретил знакомое имя...»

«И чье же?» — спросил Павло, разворачивая бумажную трубку.

«Гетмана Кшиштофа-Федора», — ответил судья.

Некий холодный огонь бледным заревом отразился в его сознании, и теперь, когда Петро Тимошенко назвал имя его предшественника на атаманстве и уряде и положил в его ладонь шершавую бумагу старой грамоты, все сошлось воедино: ночное памятование о стоянии противу запорожцев под Пятком в ряду конных копейщиков, смешавших повстанческие порядки Косинского, и эта вот грамота, раскопанная козаками в гродском архиве старосты Струся и только по неисповедимому случаю не погибшая в огне и как бы переданная откуда-то кем-то посредством генерального судьи прямо в руки ему.

Что за всем этим стоит?.. Как понять сложную вязь этого знака промыслительного о нем?..

Павло остро и пронзительно, как никогда, ощутил ничтожество свое перед этим Всеблагим и Всевидящим Оком, с таким обманным равнодушием взирающим на человечье копошение на пылинке-земле, но с глубокой любовью, — конечно, с любовью, ибо зрит и мыслит о каждом существе Оно, — и его убогому разуму как это понять, охватить?.. И вот — эта грамота из его прошлого, — переданное Богом его недостойнству, — грамота и предначертание о будущем, что и его самого ожидает... Благ Господь!..

Павло поднялся и подошел к походному складню. Взял теплую медь на ладонь, осенил себя крестным знаменем и поцеловал. Затем вернулся к судье и сказал:

«Зачем ты развернул этот свиток?»

«Не знаю. Просто развернул, ибо любопытствовал».

«А до того — не любопытствовал?»

«Нет. Просто все жгли. Без разбора и рассуждения. По обычаю нашему...»

«Да, по обычаю... Ты никогда не задумывался о тех, кто заступит когда-нибудь наше место здесь, на нашей земле? Не о детях, а о тех, кто родится здесь от наших русских женщин через сто-двести лет?»

Тимошенко с удивлением смотрел на Павла.

«Те, о которых сказал я, назовут наше время молчанием, исторической немотой, ибо от нас не останется и следа, — все сожжем в походных кострах, а то, чего не сожжем о себе, пустят по ветру пеплом супротивные наши — ляхи, татары и иншие, какие еще выпадут на нашу долю. Впрочем, по-земному я рассуждаю...»

Тимошенко молчал.

Когда он ушел, Павло развернул свиток и погрузился в выцветший славянский полуустав:

«...Я, Крыштоф Косинский, на тот час гетман, а мы сотники, атаманья, все рыцарство войска запорожскаго визнаваемо тым листом нашим, ижемсы, мимо великие добродейства и ласки ясновельможного пана Константина кнежати Острозского, воеводы Киевского маршалка земли Вольнское, старосты Володимерского, которые его милость нам всему войску и каждому з нас з особна по все часы веку своего, з милостивое ласки своей панской показовати, и веде доброго для нас чинити рачили; а мы, запомневши того всего, немалосмы прикростей и шког его милости самому и деткам его милости, слугам и подданным его милости поделали, и завинили; ласки его милости себе нарушили, которые-то все выступки наши, за униженными а пилными прозбами и за причиною веде людей зацных, будучи их милость под Пятком, что все з милостивое ласки своей, яко панове хрестиянские, не прагнуци пролится крѣви нашей, нам отпустить рачили; для чого мы, все рыцарство войска, вышей менованого, тые все кондыцье, нам от их милости кнежат подганые, и тут в том листе нашом менование, выполнимы, наперед обещуем, и присегую своєю утверждаем: иж от тых часов пана Косинского за атамана не меть, и овшем на Украине заразом иншаго, на тое месте надалей за недель чотыри наставити, а потом в послушенстве Королю Его милости, не чинечи жадного розмерья з суседми посторонними панств Его Королевской мило-

сти, нашего милостивого пана, на званых местцах, за пороги быть, леж жадных, ани приставств, шкод, ани кривд жадных в державах кнежат их милости и в маетностях приетел их милости: его милости кнежати Александра Вишневецкого, старосты Черкасского и иных, на тот час при их милости бугучих, и теж в маетностях и державах слуг его милости не мевать и не чинить; збегч, зграйце кнежат их милости и слуг их милости, до нас збеглых, выдавать, и оных у себе не переховывать, стрелбу где колвек взятую на замках, местах, яко и в державах их милости окром Триполских вернуть, также и хорогве, кони, быдла и речи рухомые, теперь в маетностях кнежат их милости побранные, вернуть маемо, также челядь обое плъти, которая есть при нас, от себе отправить, и вечне у кнежат их милости в стародавней милости мешкать, и николи против их милости з жадным человеком не преставать, и овшем их милости служить, которые то все кондыцие, выш менованые, как от их милости поганые, мы, все войско их милости поприсеглисмы вечне, цале и ненарушене, ненайдучи жадных причин, здержать, ведле их захавать вечными часы; а тоя присега наша в тые слова есть: я, Крыштоф Косинский. Мы, сотники, атаманья и все рыцтерство войска запорозского один за другого, и каждый з нас за себе присегаем Пану Богу в Тройце Единому, который створил небо и землю на том, иж мы все и каждый з нас зособно, маем и винни будем ти все кондыцие, на том листе нам поганые, и помененые, их милости кнежатом Осрозским, цале и ненарушене, не найдучи жадных причин ку розрушению, здержати и водле них против их милости, также напротивко их милости панов и приятель слуг и подданных их милости вечными часы захавать, так нам Пана Боже помож! а если бысмы несправедливе присегали, Пана Боже нас скарь каждым неприятелем нашим! и скарь нас Пана Боже на душах и на телах, в тым и в пришлым веку! а гдя лепшое певности и утверженья нашего вечного, тот лист я, Косинский, рукою власною своею подписал, и печать свою прикладаю, также и мы все войсковую печать до того листу приложити розказали, и, которые з нас писать умели, на то есмо руки свои подписали; просилисмы теж их милость велможных панов, которые на тот час, при том были: его милости пана Якуба Претвица з Кгаворон, кашталяна Галицкого, Трёмбовелского старосты, его милости пана Александра кнежати Вишневецкого, Черкасского, Каневского, Корсуньского, Любецкого, Лоевского старосты; его милости пана Яна Кгуского, войского Трёмбовелского; его милости пана Вацлава Боговитуна, хоружего земли Волинской; его милости пана Василя Гулевича, войского Володимерского, што их милость, на прозбу нашу уделати рачили, и печати свои до того листу нашего приложивши, руки свои подписать рачили. Деялося под Пятком, року Божого тисеча пятьсот деветдесять третьего, месяца Февраля десятого дня: Krzysztof Kosinsky rekaswa, Иван Кречкевич писарь войсовый, именем всего войска запорожского...»

(Книга гродская Луцкая, 1593 г., №31, лист 976)

По обнаружении его схрона старосту Струся даже не стронули с места, принадлежавшего по владетельному праву пану Ковальчуку, — только подле хлипких дверей вместилища поставлен был генеральным судьей дюжий козак-вартовой, который заметно маялся возложенной на него бездельной обязанностью.

«Может, ему следует ноги переломить, абы не убеж никуда, а мне бы выпало другим чем заняться?..» — предложил он нерешительно генеральному судье Петру Тимошенко.

«А чем бы это ты заняться хотел бы? — въедливо поинтересовался судья. — Все совершено уже здесь, делать нечего. Разве что пьянствовать?..»

«Та нет, пан судья генеральный!.. По правде сказать, поджениться хотелось на вдовичке одной...»

«Чешется?»

«А шо делать? — козак стыдливо поник буйной главой. — Естество превозмочь не могу. Так шо — сокрушить этому кости ножные?..»

«Или голову его многомудрую оторвать ввиду твоей маеты? — продолжил как бы в размышлении Тимошенко. — И пойти с чистой совестью затем свое причинное место чесать о припухлость вдовичкину... Добре службу знаешь, Слика! — хлопнул козака по плечу. — Да только не бывать тебе осавулом!..»

Пан Ежи-Юрась слышал все достеменно, и когда вартовой высказал судье столь неожиданное предложение о его ногах, староста внутренне затрепетал. Скорым наплывом вспомнились муки его, когда висел на стене вниз головой, уже прощаясь с жизнью своей, — и он понял отчетливо и непреложно, что готов даже и умереть за целостность и славу отчизны, но только бы не быть изувеченным навсегда даже в открытом сражении, не говоря уж о досужей прихоти жеребца-козака с его похотливым разжжением плоти. Староста даже досадливо хмыкнул про себя: вояки, vudlo, psia krew!.. И как это при своевольстве подобно они умудряются являть собой грозную

силу, столько лет мутящую Речь Посполитую?.. Эхе-е... Все так, только вот он, староста Струсь, а не это vudlo, яко Йов на гноище, претерпевает позор и униженность...

Но утешил себя пан Ежи-Юрась быстро, ибо припомнил из читанного, что воздалось-таки Йову после невиданных его лишений и мук вдвое: *«И благословил Бог последние дни Йова более, нежели прежние...»* И кратко зналось невесть откуда ему, сидящему в гнилом тряпье пана Тадеуша Ковальчука, что переживет в целости он свое падение беспримерное, переживет и этих двоих, бубнящих за дверью и рассуждающих о жизни его и о смерти, и еще ударит он огненным боем по смертным козацким рубашам, и увидит, увидит еще: валяются они, как снопы, облитые собачьей поганой кровью своей — на некоем белом, жарком поле, в спелой пшенице... Пусть пока говорят и злословят его, — пусть... Еще предстоит набить ему на пали и судью, и вартового этого Слимака, или как там, к бесу, кличут его, уж не покажется мало им, когда все это закончится... И сидел на жестком ложе своем спокойно уже, глядел в мутное от пыли оконце, мир за которым был сер и невнятен до времени.

Наконец, простучали поблизости копыта коня (будто судьба), некто спешился, — к двум голосам добавилась третий. Дверь отворилась, и к старосте ступил генеральный судья. Некоторое время они безмолвно друг на друга смотрели. Затем судья вытряхнул из мешка, который держал в правой руке, что-то круглое и тяжелое, с глухим стуком упавшее на земляной пол узилища и в два оборота перекатившееся под ноги старосты Струся. Взгляд старосты, до сего, можно сказать, почти спокойный и почти непреклонный, малодушно метнулся на подкатившееся и лежащее теперь у его ног, и во мгновенье, каком-то нутряном и животном, но отнюдь не разумном и человеческом узнавании, он опознал то, чему до конца так и не мог поверить, — человеческую голову, отделенную от тулова.

И уже не мог ясно и твердо взглянуть в холодные, безжалостные глаза генерального судьи Запорогов, — помимо воли взгляд его заметался по стенам, по полу, по потолку, — хотелось вскочить и вылететь пробкой за дверь и бежать, спасаясь от этой стены жути и безумия, надвигающейся на его душу, — пальцы рук, заледневшие разом, сцепились, сплелись меж собою, и ему было неважно теперь — чья это голова с отекившим кровоподтеками бледным лицом, с отверстыми кровавыми дырами на месте яблок глазных, с надорванным на сторону ртом, с голубоватой, торчащей из присохшего уже багрового месива перерванной трубкой гортани и будто срезанными стеблями вен, — его сердце остановилось, зависло, помутилось сознание, — и только прежняя мысль о том, что он этими вот своими руками — если суждено ему будет то Богом, — будет загонять заостренные трехаршинные пали в афедроны¹ этих животных в человеческом облике, — только эта мысль давала некое облегчение и утешение старосте Струсю, — и пусть была она в чем-то химерой, фантазией и самообманом, но только она держала на плаву его сознание.

Он посмотрел на судью, который не проронил и слова, и сказал изменившимся голосом:

«Зачем — это?..»

Судья ответил ему:

«Этого человека звали Григор Цурковский...»

«Пан Григор?..»

«Он послан был в город, к тебе, собором дворянским...»

«И что же... И что это все значит?..»

«Мы намеревались его отпустить, — но получилось так, что под ратушу, где он пребывал под замком, мы посадили остыть от священнодействия неканонического приятеля вашего, священноподпанка Хайла, — и он, по присущему ему рвению, дабы расположение наше заслужить, такое вот и сотворил с паном Цурковским...»

«Но как он... смог голову оторвать?..»

«Всю ночь старался. Грыз, должно быть, зубами, пальцами да когтями рвал... Ныне же произволением гетмана Запорогов и рыцарской вольницы Павла Наливайка и соборным постановлением старшины козацкой решено отпустить твою милость из города этого прочь в целости и нерушимости чести твоей. Отпущен будет с тобою и подпанок Хайло... — судья сказал все это ровным, безжизненным голосом, затем бросил на пол мешок, потемневший от крови, и добавил: — А главу эту честную — прими...»

Когда дверь за судьей затворилась, пан Ежи-Юрась еще раз со страхом и ужасом воззрился на обезображенную голову человека. На своем веку он видел много смертей — Господь судил такое время жизни ему, жестокое, воинственное, безжалостное. Со всех сторон Речи Посполитой горели войсковые огни, затевались походы, производились захваты, чинились неправды. И временами он вполне привыкал к

¹ Афедрон — задний проход.

убийству живого и истязанию плоти в казнях за грехи человеческие, — ибо войны, усабицы, наезды, осады, походы, расправы и разорения, в которых он воевал и участвовал, стирали рельефное восприятие видимого насилия над жертвами этих расправ и походов, ибо и размышления подобного свойства у воина быть не могло. Он призывался особливими универсалами от коронного или польного гетманов или грамотами от самого короля в вооруженное посполитое рушение для защиты Речи Посполитой от бед, ей угрожающих, или, говоря словами иными, чтобы колоть, рубить, стрелять из пищали и жечь супротивных, кто осмелился поднять вооруженную руку на великую Польшу. А таковых безумцев всегда находилось в достатке как по кордонам, так и внутри самого государства. И он — колот, рубил и стрелял... И потому внутреннее смятение, в которое он пришел от вида оторванной головы несчастного пана Цурковского, было совсем не обычным и выходящим из ряда. Душа старосты была отнюдь не из слабых, и причиной смущения и даже смятения некоего была по всей видимости не эта изуродованная, отчлененная от тела голова шляхтича, а нечто другое... Но что?..

Староста поднял с полу мешок и с горестным вздохом прикрыл им безглазую голову... Но от этого не стало иначе в душе и мире его, где он до поры обитал, ибо накрытая голова, горбом возвышающаяся на полу, будто бы ожила, приобрела свойства таинственного, потустороннего и угрожающего, — словно выпала из того невидимого очами плоти пространства, где обитают в борьбе за души людей бесы и ангелы. Староста, ощутив душой сей неуют, вскочил со своих тряпок и вновь обнажил открытые раны головы пана Цурковского. Рухнул снова на узкое, жесткое ложе свое и пытался развлечься мыслью и с натугой подумал отчего-то о том виршеслагателе-пиворезе, который разбередил память его щемящими воспоминаниями давнего, — но развлечения не воспоследовало, ибо мертвая голова будто бы притягивала мысли его. Отчего-то — наплывом кратким и судорожным — подумалось старосте Струсю о пани Кристине, — о том, как она умерла и как тела их обрели проезжие поселяне на дороге лесной... Голова, лежащая под сапогами, безглазо смотрела на пана Ежи-Юрася, — и воспоминание смерти пани Кристины, и эта голова на полу каким-то непостижимым образом сопрягались в разуме старосты, сливались в нечто единое и немислимое друг без друга, — но он, ощущая в этом некую странность, объяснил сам себе, припомнив обстоятельства давнего их бытия, что старый пан Лешек Свентожицкий отсуживал в свой последний день жизни некую землю, какое-то поле у отца того, чья голова лежит теперь перед ним... Юридические и привычные державному разуму старосты положения Литовского статута 1588 года, владельческие детали и определяющие порядок статьи и параграфы привели дух пана Ежи-Юрася в чаемое расположение, и смущение более не поминалось, — да, — стучало в старосте как бы некими молоточками, — да, они ведь были добрыми соседями, почти что друзьями, и этот Цурковский, кажется, ровесником был пани Кристине... Подавал какие-то надежды, — правда, не вспомнить теперь — насколько большие и по какой части, — вроде и вояк он был недурной и упражнялся в риторике по-латыни в рассуждении бытия...

Да, где теперь эти рассуждения? Где и в чем — бытие?..

Он наклонился над мертвой головой и долго смотрел в ее раны и паче же в черные дыры глазниц, где запеклись кровавые сгустки: и это — ты?

В старосте снова содрогнулось и замерло сердце и защемила душа в какой-то унылой тоске. И он, припоминая бывшего владельца и носителя сей головы, отметил теперь давнюю, почти не примеченную собором шляхты брацлавской странность жизни его после гибели старого Свентожицкого с дочерью, — пан Григор сей будто сбрендил с ума, потерял всю статечность свою и достоинство, не наезжал больше в гости к окрестным дворянам-соседям и вообще перестал быть шляхтичем... В чем заключалась потеря шляхетности, старосте трудно было бы объяснить на словах, но он чувствовал это непреложно и не обманно, видя за прежним лицом глубокое изменение, — как бы от плоти пана Григора отнялась благодать и надломлен духовный остов его, — а тело осталось, — да только что есть тело без животворящего духа, изошедшего во своя си?.. Прахом пошла вся блестящая будущность юноши этого. Признаться, пан Ежи-Юрась не особенно тревожился этим, ибо вспоминал о существовании пана Григора только тогда, когда видел вживе его, а не виделись они порою годами, потому до слуха его доходило то малое и неважное, что рассказывали в обильных застольях брацлавские шляхтичи, обсуждая повадки, странности и нравы соседей. Да и мало это весьма удивляло. Староста понимал, что подобное изменение жизни связано было с чем-то тайным и прикровенным, к чему какое-то не совсем понятное касательство имела почившая в принятых муках прекрасная пани Кристина, — но как он мог рассуждать о подобном, если редкое воспоминание того, что произошло в давнюю осеннюю пору, причиняло ему такую острую боль?.. Староста чувствовал, что ему ничего не понять в сплетении общей их жизни, смерти, войны, ибо истина пребывала, как, впрочем,

всегда, где-то за пределами его разумения. Старосте было легче ненавидеть русинок-козаков и русина же подпанка Хайла, ибо произволением их гибла и позорилась польская шляхта, помрачались рассудком последние сыновья знатных в прошлом семейств, расшатывалась великая и столь особливая державность Речи Посполитой, гармонично и редко для современной Европы сочетавшая в себе королевскую власть и сеймовую конституционность. Да, легче бы, проще бы было ему возненавидеть их всех — сволочных бунтовцов и духовных смутьянов польских религиозных свобод, где даже презренный иудаизм не преследовался законом, но покрывался сенью его. Что же иезуиты с православием этим проклятым так намудрили, что поднялась смута такая?.. Да, легче ему было возненавидеть их всех до кровавой пены в глазах, чем понять глубинные причины и извечную предопределенность как смерти пана Григора Цурковского, так и в давние времена смертей его можновладных соседей — старого Свентожицкого с дочерью. Возненавидеть, — но ведь он и не любил их никогда, даром что из общего корня поднялся к высотам служения государственного.

Староста встал и горячим лбом прислонился к камню стены. Черная тьма злобы и ненависти, клубившаяся в нем подобно дыму, застывала нынче непрозрачным стеклом, черным камнем искристым, приобретала невиданную твердость и несокрушимость.

И больше вроде бы не было ничего, ибо все неизменным осталось в душе, — даже когда его выволакивал козак по прозвищу Слика из околкузнечной клетушки и тащил за шиворот к дубовым воротам брацлавским, где уже поджидали их проводники обтерханного подпанка Хайла, оттирающего пригоршней снега засохший окровавленный рот. Врата со скрипом разошлись перед ними, и в глаза пана Ежи-Юрася ударила снежная нестерпимая белизна открытых полей. Исхудавшие и почерневшие лицами узники зажмурились, привыкая к свету и снегу земли. Их пихнули в спины, как в преисподнюю, в эту блистательную свободу, в эти холодные поля, — следом выбросили черный мешок с головой пана Григора, и ворота закрылись.

То ли от резкого света, то ли от морозца, то ли от легкого ветреца на глаза старосты навернулась слезина, размытая на какое-то время окружающий мир, и он, согнав ладонью ее, будто бы впервые смотрел и видел глубокое и безразличное ко всему происходящему небо подольской зимы, прихваченную уже тонким льдом излучину Буга, кромку черных далеких лесов, соединяющую синее с белым на крае земли, и снова ощущал эту величественную и невыразимую красоту. Всю жизнь он прожил в этих местах, но только теперь, после того как он заглянул в глаза чужой смерти и собственного несчастья, открылось ему новыми гранями то, что он мог потерять. Вдохнул сладкий воздух — колкий, холодный, прозрачный, — обернулся к воротам и тронул серое многолетнее дерево ладонью, прощаясь со своим городом. Он верил и знал: он вернется сюда, и тогда все здесь будет исправлено, все устроится по-другому. Еще будет написана виршеслагателями его «Струсиада»... Он вернется, — ибо все в этом мире возвращается на круги своя.

Староста сделал первый шаг по снежному целику. Снег захрустел под стопой. Не оборачиваясь, он сказал своему спутнику:

«Мешок... Представим польному гетману... Как свидетельство злое и не прощаемое...»

Следом за паном Ежи-Юрасем, не оглядываясь на город, потопал и подпанок Хайло в изорванной рясе, лишенной уже мехового испода. Староста не думал о нем, и, как ни странно, душу его не тревожил подпанок. Ибо не было уже сил ни на что из державного, справедливого делания, — только бы идти, переставлять ноги в шагах до бесконечности, продвигаться в пространстве в достижении королевских земель... И староста шел.

Вслед уходящим запоздало и одиноко бомкнул колокол с ратуши, и звук потревоженной меди растаял, погас в зимнем пространстве. Пан Ежи-Юрась вздрогнул и обернулся, как жена Лота, на оставляемый город, и промельком вспомнилось снова ему, как он возвращался сюда молодым после целого дня разъезда по рощам и долам брацлавской округи, когда его жизнь должна была измениться, — в горении тихого счастья, еще не потеряв ничего, но уже обрета, — и вартовые о чем-то нелепом и страшном кричали со стен.

Продолжение следует